АЗБУКА ВЕРЫ

Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович

# Золото

Художественная литература · azbyka.ru

**Золото** – электронная книга православного портала «Азбука веры».

Читайте эту и тысячи других книг бесплатно: azbyka.ru/fiction/zoloto

«Азбука веры» – некоммерческий просветительский проект. Мы бесплатно открываем людям сокровищницу православной веры и лучшие книги русской и мировой литературы. Если книга оказалась для вас полезной, поддержите портал: azbyka.ru/kak-pomoch

# Золото

*Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович*

## Часть первая

*Посвящается Марусе*

### I

Кишкин сильно торопился и смешно шагал своими короткими ножками. Зимнее серое утро застало его уже за Балчуговским заводом, на дороге к Фотьянке. Легкий морозец бодрил старческую кровь, а падавший мягкий снежок устилал изъезженную дорогу точно ковром. Быстроту хода много умаляли разносившиеся за зиму валенки, на которые Кишкин несколько раз поглядывал с презрением и громко говорил в назидание самому себе:

– Эх, вся кошемная музыка развалилась… да. А было времечко, Андрон, как ты с завода на Фотьянку на собственной парочке закатывал, а то верхом на иноходце. Лихо…

Это были совсем легкомысленные слова для убеленного сединами старца и его сморщенного лица, если бы не оправдывали их маленькие, любопытные, вороватые глаза, не хотевшие стариться. За маленький рост на золотых промыслах Кишкин был известен под именем Шишки, как прежде его называли только за глаза, а теперь прямо в лицо.

– Только бы застать Родьку… – думал Кишкин вслух, прибавляя ходу.

Дорога от Балчуговского завода шла сначала по берегу реки Балчуговки, а затем круто забирала на лесистый Краюхин увал, с которого открывался великолепный вид на завод, на течение Балчуговки и на окружавшие селение работы. Кишкин остановился на вершине увала и оглянулся назад, где в серой зимней мгле тонули заводские постройки. Кругом все было покрыто белой снежной пеленой, исчерченной вдоль и поперек желтыми промысловыми дорожками. На Краюхином увале снежная пелена там и сям была покрыта какими-то подозрительными красновато-бурыми пятнами, точно самая земля здесь вспухла болячками: это были старательские работы. Большинство их было заброшено, как невыгодные или выработавшиеся, а около некоторых курились огоньки, – эти, следовательно, находились на полном ходу.

– Ишь, подлецы, как землю-то изрыли, – проговорил вслух Кишкин, опытным глазом окидывая земляные опухоли. – Тоже, называется, золото ищут… ха-ха!.. Не положил – не ищи… Золото моем, а сами голосом воем.

Кишкин подтянул опояской свою старенькую шубенку, крытую серым вытершимся сукном, и с новой быстротой засеменил с увала, точно кто его толкал в спину.

По ту сторону Краюхина увала начинались шахты: Первинка, Угловая, Шишкаревская, Подаруевская, Рублиха и Спасо-Колчеданская. Кругом шахт тянулись высокие отвалы пустой породы, кучи ржавого кварца, штабели заготовленного леса и всевозможные постройки: сараи, казармы, сторожки и целые корпуса. Из всех этих шахт работала одна Спасо-Колчеданская, над которой дымилась громадная кирпичная труба. Где-то отпыхивала невидимая паровая машина. Заброшенные шахты имели самый жалкий вид, – трубы покосились, всякая постройка гнила и разваливалась. Кишкин оглянул эту египетскую работу прищуренными глазками и

улыбнулся.

– Одна парадная дыра осталась… – проговорил он, направляясь к работавшей шахте. – Эй, кто есть жив человек: Родион Потапыч здесь?

Из сторожки выглянула кудластая голова, посмотрела удивленно на Кишкина и, не торопясь, ответила:

– Был, да весь вышел…

– Ах, чтоб ему ни дна ни покрышки! – обругался Кишкин.

– Ступай на Фотьянку, там его застанешь, – посоветовала голова.

– Легкое место сказать: Фотьянка… Три версты надо отмерить до Фотьянки. Ах, старый черт… Не сидится ему на одном месте.

– На брезгу Родион Потапыч спущался в шахту и четыре взрыва диомидом сделал, а потом на Фотьянку ушел. Там старатели борта домывают, так он их зорит…

Кишкин достал берестяную тавлинку, сделал жестокую понюшку и еще раз оглядел шахты. Ах, много тут денежек компания закопала, – тысяч триста, а то и побольше. Тепленькое местечко досталось: за триста-то тысяч и десяти фунтов золота со всех шахт не взяли. Да, веселенькая игрушка, нечего сказать… Впрочем, у денег глаз нет: закапывай, если лишних много.

Дорога от шахт опять пошла берегом Балчуговки, едва опушенной голым ивняком. По всему течению тянулись еще «казенные работы» – громадные разрезы, громадные свалки, громадные запруды. Дарового труда не жалели, и вся земля на десять верст была изрыта, точно прошел какой-нибудь гигантский крот. Кишкин даже вздохнул, припомнив золотое казенное время, когда вот здесь кипела горячая работа, а он катался на собственных лошадях. Теперь было все пусто кругом, как у него в карманах… Кое-где только старатели подбирали крохи, оставшиеся от казенной работы.

Сделав три версты, Кишкин почувствовал усталость. Он даже вспотел, как хорошая-ттристяжка. Лес точно расступался, открыв громадное снежное поле, заканчивавшееся земляным валом казенной плотины. Это и была знаменитая Фотьяновская россыпь, открытая им, Андроном Кишкиным, и давшая казне больше сотни пудов золота. Вдали пестрело на мысу селение Фотьянка. Но ему дорога была не туда, а к плотине. Сейчас за плотиной по обоим берегам Балчуговки были поставлены старательские работы. Старатели промывали борта, то есть невыработанные края россыпи, которые можно было взять только зимой, когда вода в забоях не так «долила». Наблюдал за этими работами Родион Потапыч Зыков, старейший штейгер на всех Балчуговских золотых промыслах. Он иногда и ночевал здесь, в землянке, которая была выкопана в насыпи плотины, – с этой высоты старику видно было все на целую версту. В Балчуговском заводе у старика Зыкова был собственный дом, но он почти никогда не жил в нем, предпочитая лесные избушки, землянки и балаганы.

– Эге, дома лесной черт! – обругался Кишкин, завидя синенький дымок около землянки.

Он издали узнал высокую сгорбленную фигуру Зыкова, который ходил около разведенного огонька. Старик был без шапки, в одном полушубке, запачканном желтой приисковой глиной. Окладистая седая борода покрывала всю грудь. Завидев подходившего Кишкина, старик сморщил свой громадный лоб. Над огнем в железном котелке у него варился картофель. Крохотная закопченная дымом дверь землянки была приотворена, чтобы проветрить эту

кротовую нору.

– Мир на стану! – крикнул весело Кишкин, подходя к огоньку.

– Милости просим, – ответил Зыков, не особенно дружелюбно оглядывая нежданного гостя. – Куда поволокся спозаранку? Садись, так гость будешь…

– А дело есть, Родион Потапыч. И не маленькое дельце. Да… А ты тут старателей зоришь? За ними, за подлецами, только не посмотри…

– Все хороши, – угрюмо ответил Зыков. – Картошки хошь?

– В золке бы ее испечь, так она вкуснее, чем вареная.

– Ишь, лакомый какой… Привык к баловству-то, когда на казенных харчах жир нагуливал.

– Ох, не осталось этого казенного жиру ни капельки. Родион Потапыч!.. Весь тут, а дома ничего не оставил…

– Не ври. Не люблю… Рассказывай сказки-то другим, а не мне.

Кишкин как-то укоризненно посмотрел на сурового старика и поник головой. Да, хорошо ему теперь бахвалиться над ним, потому что и место имеет, и жалованье, и дом – полная чаша. Зыков молча взял деревянной спицей горячую картошку и передал ее гостю. Незавидное кушанье дома, а в лесу первый сорт: картошка так аппетитно дымилась, и Кишкин порядком-таки промялся. Облупив картошку и круто посолив, он проглотил ее почти разом. Зыков так же молча подал вторую.

– А ведь отлично у тебя здесь, Родион Потапыч, – восторгался Кишкин, оглядывая расстилавшуюся перед ним картину. – Много старателей-то?

– Десятка с три наберется…

Работы начинались саженях в пятидесяти от землянки. Берег Балчуговки точно проржавел от разрытой глины и песков. Работа происходила в двух ямах, в которых, пользуясь зимним временем, золотоносный пласт добывался забоем. Над каждой ямой стоял небольшой деревянный ворот, которым «выхаживали» деревянную бадью с песком или пустой породой двое «воротников» или «вертелов». Тут же откатчики наваливали добытые пески в ручные тачки и по деревянным доскам, уложенным в дорожку, свозили на лед, где стоял ряд деревянных вашгердов. Мужики работали на забое, у воротов и на откатке, а бабы и девки промывали пески. Издали картина была пестрая и для зимнего времени оригинальная.

– Ишь, ледяной водой моют, – заметил Кишкин тоном опытного приискового человека. – Что бы казарму поставить да тепленькой водицей промывку сделать, а то пески теперь смерзлись…

– Ничего ты не понимаешь! – оборвал его Зыков. – Первое дело, пески на второй сажени берут, а там земля талая; а второе дело – по Фотьянке пески не мясниковатые, а разрушистые… На него плесни водой – он и рассыпался, как крупа. И пески здесь крупные, чуть их сполосни… Ничего ты не понимаешь, Шишка!..

– Да ведь я к слову сказал, а ты сейчас на стену полез.

– А не болтай глупостев, особливо чего не знаешь. Ну, зачем пришел-то? Говори, а то мне

некогда с тобой балясы точить…

– Есть дельце, Родион Потапыч. Слышал, поди, как толковали про казенную Кедровскую дачу?

– Ну?

– Вырешили ее вконец… Первого мая срок: всем она будет открыта. Кто хочет, тот и работает. Конечно, нужно заявки сделать и протчее. Я сам был в горном правлении и читал бумагу.

В первое мгновение Зыков не поверил и только посмотрел удивленными глазами на Кишкина, не врет ли старая конторская крыса, но тот говорил с такой уверенностью, что сомнений не могло быть. Эта весть поразила старика, и он смущенно пробормотал:

– Как же это так… гм… А Балчуговские промысла при чем останутся?

– Балчуговские сами по себе: ведь у них площадь в пятьдесят квадратных верст. На сто лет хватит… Жирно будет, ежели бы им еще и Кедровскую дачу захватить: там четыреста тысяч десятин… А какие места: по Суходойке-реке, по Ипатихе, по Малиновке – везде золото. Все россыпи от Каленой горы пошли, значит, в ней жилы объявляются… Там еще казенные разведки были под Маяковой сланью, на Филькиной гари, на Колпаковом поле, у Кедрового ключика. Одним словом, Палестина необъятная…

– Известно, золота в Кедровской даче неочерпаемо, а только ты опять зря болтаешь: кедровское золото мудреное, – кругом болота, вода долит, а внизу камень. Надо еще взять кедровское-то золото. Не об этом речь. А дело такое, что в Кедровскую дачу кинутся промышленники из города и с Балчуговских промыслов народ будут сбивать. Теперь у нас весь народ, как в чашке каша, а тогда и расползутся… Их только помани. Народ отпетый.

– Я-то и хотел поговорить с тобой, Родион Потапыч, – заговорил Кишкин искательным тоном. – Дело видишь в чем. Я ведь тогда на казенных ширфовках был, так одно местечко заприметил: Пронькина вышка называется. Хорошие знаки оказывались… Вот бы заявку там хлопотнуть!

– Ну?

– Так я насчет компании… Может, и ты согласишься. За этим и шел к тебе… Верное золото.

Зыков даже поднялся и посмотрел на соблазнителя уничтожающим взором.

– Да ты в уме ли, Шишка? Я пойду искать золото, чтобы сбивать народ с Балчуговских промыслов?.. Да еще с тобой?.. Ха-ха…

– Не ты, так другие пойдут… Я тебе же добра желал, Родион Потапыч. А что касается Балчуговских промыслов, так они о нас с тобой плакать не будут… Ты вот говоришь, что я ничего не понимаю, а я, может, побольше твоего-то смыслю в этом деле. Балчуговская-то дача рядом прошла с Кедровской, – ну, назаявляют приисков на самой грани, да и будут скупать ваше балчуговское золото, а запишут в свои книги. Тут не разбери-бери… Вот это какое дело!

– А ведь ты верно, – уныло согласился Зыков. – Потащат наше золото старателишки. Это уж как пить дадут. Ты их только помани… Теперь за ними не уследишь днем с огнем, а тогда и подавно! Только, я думаю, – прибавил он, – врешь ты все…

– А вот увидишь, как я вру.

Наступила неловкая пауза. Котелок с картофелем был пуст. Кишкин несколько раз взглядывал на Зыкова своими рысьими глазками, точно что хотел сказать, и только жевал губами.

– Прежде-то что было, Родион Потапыч! – как-то особенно угнетенно проговорил он наконец, втягивая в себя воздух. – Иногда раздумаешься про себя, так точно во сне… Разве нынче промысла? Разве работы?

– Что старое-то вспоминать, как баба о прошлогоднем молоке.

– Нет, всегда вспомню!.. Кто Фотьяновскую россыпь открыл?.. Я… да. На полтора миллиона рублей золота в ней добыто, а вот я наг и сир…

Кишкин ударил себя кулаком в грудь, и мелкие старческие слезинки покатились у него по лицу. Это было так неожиданно, что Зыков как-то смущенно пробормотал:

– Ну, будет тебе… Эк, что вздумал вспоминать!

– Да!.. – уже со слезами в голосе повторял Кишкин. – Да… Легко это говорить: перестань!.. А никто не спросит, как мне живется… да. Может, я кулаком слезы-то вытираю, а другие радуются… Тех же горных инженеров взять: свои дома имеют, на рысаках катаются, а я вот на своих на двоих вышагиваю. А отчего, Родион Потапыч? Воровать я вовремя не умел… да.

– Было и твое дело, что тут греха таить!

– Да что было-то? Дадут три сторублевых бумажки, а сами десять тысяч украдут. Я же их и покрывал: моих рук дело… В те поры отсечь бы мне руки, да и то мало. Дурак я был… В глаза мне надо за это самое наплевать, в воде утопить, потому кругом дурак. Когда я Фотьяновскую россыпь открыл, содержание в песках полтора золотника на сто пудов, значит, с работой обошелся он казне много-много шесть гривен, а управитель Фролов по три рубля золотник ставил. Это от каждого золотника по два рубля сорок копеек за здорово живешь в карман к себе клали. А фальши-то что было… Ведь я разносил по книгам-то все расходы: где десять рабочих – писал сто, где сто кубических сажен земли вынуто – писал тысячу… Жалованье я же сочинял таким служащим, каких и на свете не бывало. А Фролов мне все твердит: «Погоди, Андрон Евстратыч, поделимся потом: рука, слышь, руку моет…» Умыл он меня. Сам-то сахаром теперь поживает, а я вон в каком образе щеголяю. Только-только копеечку не подают…

– А дом где? А всякое обзаведенье? А деньги? – накинулся на него Зыков с ожесточением. – Тебе руки-то отрубить надо было, когда ты в карты стал играть, да мадеру стал лакать, да пустяками стал заниматься… В чьем дому сейчас Ермошка-кабатчик как клоп раздулся? Ну-ка, скажи, а?..

– Было и это, – согласился Кишкин. – Тысяч с пять в карты проиграл и мадеру пил… Было, А Фролов-то по двадцати тысяч в один вечер проигрывал. Помнишь старый разрез в Выломках, его еще рекрута работали, – так мы его за новый списали, а ведь за это, говорят, голеньких сорок тысяч рубликов казна заплатила. Ревизор приехал, а мы дно раскопали да старые свалки сверху песочком посыпали – и сошло все. Положим, ревизор-то тоже уехал от нас, как мышь из ларя с мукой, – и к лапкам пристало, и к хвостику, и к усам. Эх, да что тут говорить…

– Кто старое помянет – тому глаз вон. Было, да сплыло…

**II**

Зыков чувствовал, что недаром Кишкин распинается перед ним и про старину болтает

«неподобное», а поэтому молчал, плотно сжав губы. Крепкий старик не любил пустых разговоров.

– Ну, брат, мне некогда, – остановил он гостя, поднимаясь. – У нас сейчас смывка… Вот объездной с кружкой едет.

На правом берегу Балчуговки тянулся каменистый увал, известный под именем Ульянова кряжа. Через него змейкой вилась дорога в Балчуговскую дачу. Сейчас за Ульяновым кряжем шли тоже старательские работы. По этой дороге и ехал верхом объездной с кружкой, в которую ссыпали старательское золото. Зыков расстегнул свой полушубок, чтобы перепоясаться, и Кишкин заметил, что у него за ситцевой рубахой что-то отдувается.

– Это у тебя что за рубахой-то покладено, Родион Потапыч?

– А диомид… Я его по зимам на себе ношу, потому как холоду этот самый диомид не любит.

– А ежели грешным делом да того…

– Взорвет? Божья воля… Только ведь наше дело привычное. Я когда и сплю, так диомид под постель к себе кладу.

Кишкин все-таки посторонился от начиненного динамитом старика. «Этакой безголовый черт», – подумал он, глядя на отдувавшуюся пазуху.

– Так ты как насчет Пронькиной вышки скажешь? – спрашивал Кишкин, когда они от землянки пошли к старательским работам.

– Не нашего ума дело, вот и весь сказ, – сурово ответил старик, шагая по размятому грязному снегу. – Без нас найдутся охотники до твоего золота… Ступай к Ермошке.

– Ермошке будет и того, что он в моем собственном доме сейчас живет.

Приближение сурового штейгера заставило старателей подтянуться, хотя они и были вольными людьми, работавшими в свою голову.

– Эх вы, свинорои! – ворчал Зыков, заглядывая на первую дудку. – Еще задавит кого: наотвечаешься за вас.

По горному уставу каждая шахта должна укрепляться в предупреждение несчастных случаев деревянным срубом, вроде того, какой спускают в колодцы; но зимой, когда земля мерзлая, на промыслах почти везде допускаются круглые шахты, без крепи, – это и есть «дудки». Рабочие, конечно, рискуют, но таков уж русский человек, что везде подставляет голову, только бы не сделать лишнего шага. Так было и здесь. Собственно Зыков мог заставить рабочих сделать крепи, но все они были такие оборванные и голодные, что даже у него рука не поднималась. Старик ограничился только ворчанием. Зимнее время на промыслах всех подтягивает: работ нет, а есть нужно, как и летом.

От забоев Зыков перешел к вашгердам и велел сделать промывку. Вашгерды были заперты на замок и, кроме того, запечатаны восковыми печатями, – все это делалось в тех видах, чтобы старатели не воровали компанейского золота. Бабы кончили промывку, а мужики принялись за доводку. Продолжали работать только бабы, накачивавшие насосом воду на вашгерды. Зыков стоял и зорко следил за доводчиками, которые на деревянных шлюзах сначала споласкивали пески деревянными лопатками, а потом начали отделять пустой песок от «шлихов»

небольшими щетками. Шлихи – черный песок, образовавшийся из железняка; при промывке он осаждается в «головке» вашгерда вместе с золотом.

Кишкин смотрел на оборванную кучку старателей с невольным сожалением: совсем заморился народ. Рвань какая-то, особенно бабы, которые точно сделаны были из тряпиц. У мужиков лица испитые, озлобленные. Непокрытая приисковая голь глядела из каждой прорехи. Пока Зыков был занят доводкой, Кишкин подошел к рябому старику с большим горбатым носом.

– Здорово, Турка… Аль не узнал?

Турка посмотрел на Кишкина слезившимися потухшими глазами и равнодушно пожевал сухими губами.

– Кто тебя не знает, Андрон Евстратыч… Прежде-то шапку ломали перед тобой, как перед барином. Светленько, говорю, прежде-то жил…

– Турка, ты ходил в штегерях при Фролове, когда старый разрез работали в Выломках? – спрашивал Кишкин, понижая голос.

– Запамятовал как будто, Андрон Евстратыч… На Фотьянке ходил в штегерях, это точно, а на старом разрезе как будто и не упомню.

– Ну, а других помнишь, кто там работал?

– Как не помнить… И наши фотьяновские и балчуговские. Бывало дело, Андрон Евстратыч…

Старый Турка сразу повеселел, припомнив старинку, но Кишкин глазами указал ему на Зыкова: дескать, не в пору язык развязываешь, старина… Старый штейгер собрал промытое золото на железную лопаточку, взвесил на руке и заметил:

– Золотник с четью будет…

Затем он ссыпал золото в железную кружку, привезенную объездным, и, обругав старателей еще раз, побрел к себе в землянку. С Кишкиным старик или забыл проститься, или не захотел.

– Сиротское ваше золото, – заметил Кишкин, когда Зыков отошел сажен десять. – Из-за хлеба на воду робите…

Все разом загалдели. Особенно волновались бабы, успевшие высчитать, что на три артели придется получить из конторы меньше двух рублей, – это на двадцать-то душ!.. По гривеннику не заработали.

– Почем в контору сдаете? – спрашивал Кишкин.

– По рублю шести гривен, Андрон Евстратыч. Обидная наша работа. На харчи не заробишь, а что одежи износим, что обуя, это уж свое. Прямо – крохи…

Объездной спешился и, свертывая цигарку из серой бумаги, болтал с рябой и курносой девкой, которая при артели стеснялась любезничать с чужим человеком, а только лукаво скалила белые зубы. Когда объездной хотел ее обнять, от забоя послышался резкий окрик:

– Ты, компанейский пес, не балуй, а то медали все оборву…

– А ты что лаешься? – огрызнулся объездной. – Чужое жалеешь…

Ругавшийся с объездным мужик в красной рубахе только что вылез из дудки. Он был в одной красной рубахе, запачканной свежей ярко-желтой глиной, и в заплатанных плисовых шароварах. Сдвинутая на затылок кожаная фуражка придавала ему вызывающий вид.

– А, это ты, Матюшка… – вступился Кишкин. – Что больно сердит?

– Псов не люблю, Андрон Евстратыч… Мало стало в Балчуговском заводе девок, – ну, и пусть жирует с ними, а наших, фотьянских, не тронь.

– И в самом-то деле, чего привязался! – пристали бабы. – Ступай к своим балчуговским девкам: они у вас просты… Строгаль!..

– Ах вы, варнаки! – ругался объездной, усаживаясь в седле. – Плачет об вас острог-то, клейменые… Право, клейменые!.. Ужо вот я скажу в конторе, как вы дудки-то крепите.

– Скажи, а мы вот такими строгалями, как ты, и будем дудки крепить, – ответил за всех Матюшка. – Отваливай, Михей Павлыч, да кланяйся своим, как наших увидишь.

Между балчуговскими строгалями и Фотьянкой была старинная вражда, переходившая из поколения в поколение. Затем поводом к размолвке служила органическая ненависть вольных рабочих ко всякому начальству вообще, а к компании – в частности. Когда объездной уехал, Кишкин укоризненно заметил:

– Чего ты зубы-то показываешь прежде времени, Матюшка? Не больно велик в перьях-то…

– Скоро вода тронется, Андрон Евстратыч, так не больно страшно, – ответил Матюшка. – Сказывают, Кедровская дача на волю выходит… Вот делай заявку, а я местечко тебе укажу.

– Молоко на губах не обсохло учить-то меня, – ответил Кишкин. – Не сказывай, а спрашивай…

– Это верно, – подтвердил Турка. – У Андрона Евстратыча на золото рука легкая. Про Кедровскую-то ничего не слыхать, Андрон Евстратыч?

– Не знаю ничего… А что?

– Да так… Мало ли что здря болтают. Намедни в кабаке городские хвалились…

Кишкин подсел на свалку и с час наблюдал, как работали старатели. Жаль было смотреть, как даром время убивали… Какое это золото, когда и пятнадцать долей со ста пудов песку не падает. Так, бьется народ, потому что деваться некуда, а пить-есть надо. Выждав минутку, Кишкин поманил старого Турку и сделал ему таинственный знак. Старик отвернулся, для видимости покопался и пошабашил.

– Ты куда наклался? – спрашивал его Кишкин самым невинным образом.

– А в Фотьянку, домой… Поясницу разломило, да и дело по домашности тоже есть, а здесь и без меня управятся.

– Ну, так возьми меня с собой: мне тоже надо на Фотьянку, – проговорил Кишкин, поднимаясь. – Прощайте, братцы…

Дорога шла сначала бортом россыпи, а потом мелким лесом. Фотьянка залегла двумя сотнями своих почерневших избенок на низменном левом берегу Балчуговки, прижатой здесь Ульяновым кряжем. Кругом деревни рос сплошной лес, – ни пашен, ни выгона. Издали

Фотьянка производила невеселое впечатление, которое усиливалось вблизи. Старинная постройка сказывалась тем, что дома были расставлены как попало, как строились по лесным дебрям. К реке выдвигался песчаный мысок, и на нем красовался, конечно, кабак. Турка и Кишкин, по молчаливому соглашению, повернули прямо к нему. У кабацкого крыльца сидели те особенные люди, которые лучше кабака не находят места. Двое или трое узнали Кишкина и сняли рваные шапки.

– Кабак подпираете, молодцы, чтобы не упал грешным делом? – пошутил Кишкин.

Сидельцем на Фотьянке был молодой румяный парень Фрол. Кабак держал балчуговский Ермошка, а Фрол был уже от него. Кишкин присел на окно и спросил косушку водки. Турка как-то сразу ослабел при одном виде заветной посудины и взял налитый стакан дрожавшей рукой.

– Будь здоров на сто годов, Евстратыч, – проговорил Турка, с жадностью опрокидывая стакан водки.

– Давненько я здесь не бывал… – задумчиво ответил Кишкин, поглядывая на румяного сидельца. – Каково торгуешь, Фрол?

– У нас не торговля, а кот наплакал, Андрон Евстратыч. Кому здесь и пить-то… Вот вода тронется, так тогда поправляться будем. С голого, что со святого, – немного возьмешь.

– Дай-ка нам пожевать что-нибудь…

Как политичный человек, Фрол подал закуску и отошел к другому концу стойки: он понимал, что Кишкину о чем-то нужно переговорить с Туркой.

– Вот что, друг, – заговорил Кишкин, положив руку на плечо Турке, – кто из фотьянских стариков жив, которые работали при казне?.. Значит, сейчас после воли?

– Есть живые, как же… – старался припомнить Турка. – Много перемерло, а есть и живые.

– Мне штейгеров нужно, главное, а потом, кто в сторожах ходил.

– Есть и такие: Никифор Лужоный, Петр Васильич, Головешка, потом Лучок, Лекандра…

– Вот и отлично! – обрадовался Кишкин. – Мне бы с ними надо со всеми переговорить.

– Можно и это… А на что тебе, Андрон Евстратыч?

– Дело есть… С первого тебя начну. Ежели, например, тебя будут допрашивать, покажешь все, как работал?

– Да что показывать-то?

– А что следователь будет спрашивать…

Корявая рука Турки, тянувшаяся к налитому стакану, точно оборвалась. Одно имя следователя нагнало на него оторопь.

– Да ты что испугался-то? – смеялся Кишкин. – Ведь не под суд отдаю тебя, а только в свидетели…

– А ежели, например, следователь гумагу заставит подписывать?! Нет, неладное ты удумал, Андрон Евстратыч… Меня ровно кто под коленки ударил.

– Ах, дура-голова!.. Вот и толкуй с тобой…

Как ни бился Кишкин, но так ничего и не мог добиться: Турка точно одеревянел и только отрицательно качал головой. В промысловом отпетом населении еще сохранился какой-то органический страх ко всякой форменной пуговице: это было тяжелое наследство, оставленное еще «казенным временем».

– Нет, с тобой, видно, не сговоришь! – решил огорченный Кишкин.

– Ты уж лучше с Петром Васильичем поговори! Он у нас грамотный. А мы – темные люди, каждого пня боимся…

Из кабака Кишкин отправился к Петру Васильичу, который сегодня случился дома. Это был испитой мужик, кривой на один глаз. На сходках он был первый крикун. На Фотьянке у него был лучший дом, единственный новый дом и даже с новыми воротами. Он принял гостя честь честью и все поглядывал на него своим уцелевшим оком. Когда Кишкин объяснил, что ему было нужно, Петр Васильевич сразу смекнул, в чем дело.

– Да сделай милость, хоша сейчас к следователю! – повторял он с азартом. – Все покажу, как было дело. И все другие покажут. Я ведь смекаю, для чего тебе это надобно… Ох, смекаю!..

– А смекаешь, так молчи. Наболело у меня… ох, как наболело!..

– Сердце хочешь сорвать, Андрон Евстратыч?

– А уж это, как Бог пошлет: либо сена клок, либо вилы в бок.

Петр Васильич выдержал характер до конца и особенно не расспрашивал Кишкина: его воз – его и песенки. Чтобы задобрить политичного мужика, Кишкин рассказал ему новость относительно Кедровской дачи. Это известие заставило Петра Васильича перекреститься.

– Неужто правда, андел мой? А? Ах, Божже мой… да, кажется, только бы вот дыхануть одинова дали, а то ведь эта наша канпания – могила. Заживо все помираем… Ах, друг ты мой, какое ты словечко выговорил! Сам, говоришь, и гумагу читал? Правильная совсем гумага? С орлом?..

– Да уж правильнее не бывает…

– И что только будет? В том роде, как огромадный пожар… Верно тебе говорю… Изморился народ под канпанией-то, а тут на, работай, где хошь.

– Только смотри: секрет.

– Да я… как гвоздь в стену заколотил: вот я какой человек. А что касаемо казенных работ, Андрон Евстратыч, так будь без сумления: хоша к самому министру веди, – все, как на ладонке, покажем. Уж это верно… У меня двух слов не бывает. И других сговорю. Кажется, глупый народ, всего боится и своей пользы не понимает, а я всех подобью: и Лужоного, и Лучка, и Турку. Ах, какое ты слово сказал… Вот наш-то змей Родивон узнает, то-то на стену полезет.

– Да уж он знает! Я к нему заходил по пути.

– Ну, что он? Поди, из лица весь выступил? А? Ведь ему это без смерти смерть. Как другая

цепная собака: ни во двор, ни со двора не пущает. Не поглянулось ему? А?.. Еще сродни мне приходится по мамыньке, – ну, да мне-то это все едино. Это уж мамынькино дело: она с ним дружит. Ха-ха… Ах, андел ты мой, Андрон Евстратыч! Пряменько тебе скажу: вдругорядь нашу Фотьянку с праздником делаешь, – впервой, когда россыпь открыл, а теперь – словечком своим озолотил.

Они расстались большими друзьями. Петр Васильич выскочил провожать дорогого гостя на улицу и долго стоял за воротами, – стоял и крестился, охваченный радостным чувством. Что же, в самом-то деле, достаточно всякого горя та же Фотьянка напринималась: пора и отдохнуть. Одна казенная работа чего стоит, а тут компания насела и всем дух заперла. Подшибся народ вконец…

В свою очередь Кишкин возвращался домой тоже радостный и счастливый, хотя переживал совершенно другой порядок чувств.

**III**

Течением реки Балчуговки завод Балчуговский делился на две неравные части, – правая Нагорная и левая Низменная – Низы. Название завода сохранилось здесь от стародавних времен, когда в Нагорной стоял казенный винокуренный завод, на котором все работы производились каторжными. Впоследствии, когда открылось золото, Балчуговка была запружена, а при запруде поставлена так называемая золотопромывальная мельница, в течение времени превратившаяся в фабрику. Другая золотопромывальная мельница была устроена в Фотьянке – месте поселения отбывших каторжные работы. Самое селение поэтому долгое время было известно под именем Фотьянской мельницы.

Нагорная сторона Балчуговского завода служила настоящим каторжным гнездом и всегда сторонилась Низов, где с открытием золота были посажены три рекрутских набора. Промысловые работы, как и каторжное винокурение, велись военной рукой – с выслугой лет, палочьем и солдатской муштрой. Тогда все горное ведомство было поставлено на военную ногу. Поселившиеся в Нагорной каторжане, согнанные сюда со всех концов крепостной России, долго чуждались «некрутов», набранных из трех уральских губерний. Эта рознь сохранилась главным образом в кличках: нагорные «варнаки», а низовые «строгали» и «швали». От прежних времен на месте бывшей каторги остались еще «пьяный двор», где был завод, развалины каменного острога, «пьяная контора» и каменная церковь, выстроенная каторжными во вкусе Растрелли. Нагорные особенно гордились этой церковью, так как на Низах своей не было и швали должны были ходить молиться в Нагорную. Населения в Балчуговском заводе считалось за десять тысяч.

Зыковский дом стоял недалеко от церкви. Это была большая деревянная изба с высоким коньком, тремя небольшими оконцами, до которых от земли не достанешь рукой, и старинными шатровыми воротами с вычурной резьбой. Ставилась эта изба на расейскую руку, потому что и сам старик Зыков был расейский выходец. Когда и за что попал он на каторгу – никто не знал, а сам старик не любил разговаривать о прошлом, как и другие старики-каторжане. Да и всего-то их оставалось в Балчуговском заводе человек двадцать, да на Фотьянке около того же. Гораздо живучее оказывались женщины-каторжанки, которых насчитывалось в Нагорной до полусотни, – все это были, конечно, уже старухи и все до одной семейные женщины. Мужчинам каторга давалась тяжелее, да и попадали они в нее редко молодыми, – а бабы главным образом были молодые. Первая жена Зыкова тоже была каторжанка. Она умерла рано, оставив после себя сына Якова, которому сейчас было уже под шестьдесят. Свою избу Зыков ставил при первой жене, которую вспоминал с особенным уважением.

Вторая жена была взята в своей же Нагорной стороне; она была уже дочерью каторжанки. Зыков лет на двадцать был старше ее, но она сейчас уже выглядела развалиной, а он все еще был молодцом. Старик почему-то недолюбливал этой второй жены и при каждом удобном случае вспоминал про первую: «это еще при Марфе Тимофеевне было», или «покойница Марфа Тимофеевна была большая охотница до заказных блинов». В первое время вторая жена, Устинья Марковна, очень обижалась этими воспоминаниями и раз отрезала мужу:

– А не сказывала тебе твоя-то Марфа Тимофеевна, как из острога ее водили в пьяную контору к смотрителю Антону Лазаричу?

Зыков весь побелел, затрясся и чуть не убил жену, – да и убил бы, если бы не помешали. Этого он никогда не мог простить Устинье Марковне и обращался с ней довольно сурово. Отношения с жениной родней тоже были довольно натянуты, и Зыков делал исключение только для одной тещи, в которой, кажется, уважал подругу своей жены по каторге. Дома старик бывал редко, как мы уже говорили. Он выходил домой в субботу вечером, когда шабашили все работы и когда нужно было идти в баню. Он ночевал на воскресенье дома, а затем в воскресенье же вечером уходил на свой пост, потому что утро понедельника для него было самым боевым временем: нужно было все работы пускать в ход на целую неделю, а рабочие не все выходили, справляя «узенькое воскресенье», как на промыслах называли понедельник.

Вечер субботы в зыковском доме всегда был временем самого тяжелого ожидания. Вся семья подтягивалась, а семья была не маленькая: сын Яков с женой и детьми, две незамужних дочери и зять, взятый в дом. Сам старик жил в передней избе, обставленной с известным комфортом: на полу домотканые половики из ветоши, стены оклеены дешевенькими обоями, русская печь завешена ситцевой занавеской, у одной стены своей, балчуговской, работы березовый диван и такие же стулья, а на стене лубочные картины. В уголке стоял таинственный деревянный шкаф, всегда запертый на замок. В нем, по глубокому убеждению всей семьи и всех соседей, заключались несметные сокровища, потому что Родион Потапыч «ходил в штейгерах близко сорок лет», а другие наживали на таких местах состояние в два-три года.

Собственно ответственными лицами в семье являлись Устинья Марковна и старший сын Яков. Еще поднимаясь по лесенке на крыльцо, Зыков обыкновенно спрашивал:

– А где малый?

Яков Родионыч под этой кличкой успел поседеть, облысеть и нажить внучат. Весь завод называл его Яшей Малым. Это был безобидный человек и вместе упрямый, как резина. Жена у него давно умерла, оставив девочку Наташу и мальчика Петю. У себя дома Яша Малый не мог распорядиться даже собственными детьми, потому что все зависело от дедушки, а дедушка относился к сыну с большим подозрением, как и к Устинье Марковне. Из всей семьи Родион Потапыч любил только младшую дочь Федосью, которой уже было под двадцать, что по-балчуговски считалось уже девичьей старостью: как стукнет двадцать годков, так и перестарок. С первой дочерью Марьей, которая была на пять лет старше Федосьи, так и случилось: до двадцати лет все женихи сватались, а Родион Потапыч все разбирал женихов, – этот нехорош, другой нехорош, третий и совсем плох. Сама Марья уже записала себя в незамужницы.

Была еще одна дочь, самая старшая, Татьяна, которая в счет не клалась, потому что ушла замуж убегом за строгаля в Низах по фамилии Мыльникова. Это был настоящий mesalliance,[1] навсегда выкинувший непокорную дочь из родной семьи. Вот уже прошло целых двадцать лет, а Родион Потапыч еще ни разу не вспомнил про нее, да и никто в доме не смел при нем слова

пикнуть про Татьяну. Болело за непокорную дочь только материнское сердце. Устинья Марковна под строжайшим секретом от мужа раза два в год навещала Татьяну, хотя это и самой ей было в тягость, потому что плохо жилось непокорной дочери, – муж попался «карахтерный», под пьяную руку совсем буян, да и зашибал он водкой все чаще и чаще. У Татьяны почти каждый год рождался ребенок, но, на ее счастье, дети больше умирали, и в живых оставалось всего шесть человек, причем дочь старшая, Окся, заневестилась давно. Выпивши, Мыльников не упускал случая потравить «дорогого тестюшку» и систематически устраивал скандалы Родиону Потапычу раз десять в год. Взятый в дом зять Прокопий был смирный и работящий мужик, который умел оставаться в тестевом доме совершенно незаметным. Его связывала быстро прибывавшая семья, – детей было уже трое. Работал Прокопий на золотопромывальной фабрике в доводчиках и получал всего двенадцать рублей. Родион Потапыч почему-то делал такой вид, что совсем не замечает этого покорного зятя, а тот в свою очередь всячески старался не попадаться старику на глаза. Собственно, вся семья Родиона Потапыча жалась в одной задней избе, походившей на муравьище. Преобладание женского элемента придавало семье особенный характер: сестры вечно вздорили между собой, а Устинья Марковна вечно их мирила, плакалась на свою несчастную судьбу и в крайних случаях грозилась, что пожалуется «самому». До последнего, положим, дело не доходило, но эта угроза производила желанное действие. Главным несчастьем всей своей жизни Устинья Марковна считала то, что у нее родились все девки и ни одного сына. Этим она объясняла и нелюбовь мужа. Вон «варначка» Марфа Тимофеевна родила всего одного, да и тот сын…

В последнюю неделю в зыковской семье случилось такое событие, которое сделало субботу роковым днем. Дело в том, что любимая дочь Федосья бежала из дому, как это сделала в свое время Татьяна, – с той разницей, что Татьяна венчалась, а Федосья ушла в раскольничью семью сводом. Верстах в шести от Балчуговского завода разлилось довольно большое озеро Тайбола, а на нем осело раскольничье селение, одноименное с озером. По соседству балчуговцы и тайболовцы хотя и дружили, но в более близкие отношения не вступали, а число браков было наперечет. Замечательной особенностью тайболовцев было еще и то, что, живя в золотоносной полосе, они совсем не «занимались золотом». С последним для раскольников органически связывалось понятие о каторге, «некрутчине» и вообще неволе.

Федосья убежала в зажиточную сравнительно семью; но, кроме самовольства, здесь было еще уклонение в раскол, потому что брак был сводный. Все это так поразило Устинью Марковну, что она вместо того, чтобы дать сейчас же знать мужу на Фотьянку, задумала вернуть Федосью домашними средствами, чтобы не делать лишней огласки и чтобы не огорчить старика вконец. Устинья Марковна сама отправилась в Тайболу, но ее даже не допустили к дочери, несмотря ни на ее слезы, ни на угрозы.

Это обстоятельство точно оглушило Устинью Марковну. Она ходила по дому и повторяла:

– Вот ужо воротится отец с промыслов и голову снимет!.. Разразит он всех… Ох, смертынька пришла!..

Да и все остальные растерялись. Дело выходило самое скверное, главное, потому, что вовремя не оповестили старика. А суббота быстро близилась… В пятницу был собран экстренный семейный совет. Зять Прокопий даже не вышел на работу по этому случаю.

– Что уж, матушка, убиваться-то без пути, – утешала замужняя дочь Анна. – Наше с тобой дело бабье. Много ли с бабы возьмешь? А пусть мужики отвечают…

– Ишь, выискалась?! – ругался Яша. – Бабы должны за девками глядеть, чтобы все сохранно было… Так ведь, Прокопий?

Прокопий по обыкновению больше отмалчивался. У него всегда выходило как-то так, что и да и нет. Это поведение взорвало Яшу. Что, в самом-то деле, за все про все отдувайся он один, а сами, чуть что, и в кусты. Он напал на зятя с особенной энергией.

– Вот вы все такие, зятья! – ругался Яша. – Вам хоть трава не расти в дому, лишь бы самих не трогали…

– Я, что же я?.. – удивлялся Прокопий. – Мое дело самое маленькое в дому: пока держит Родион Потапыч, и спасибо. Ты – сын, Яков Родионыч: тебе много поближее… Конечно, не всякий подступится к Родиону Потапычу, ежели он в сердцах…

Это была хитрая уловка со стороны тишайшего зятя, знавшего самое слабое место Яши. Он, конечно, сейчас же вскипел, обругал всех и довольно откровенно заявил:

– Дураки вы все, вот что… Небось, прижали хвосты, а я вот нисколько не боюсь родителя… На волос не боюсь и все приму на себя. И Федосьино дело тоже надо рассудить: один жених не жених, другой жених не жених, – ну, и не стерпела девка. По человечеству надо рассудить… Вон Марья из-за родителя в перестарки попала, а Феня это и обмозговала: живой человек о живом и думает. Так прямо и объясню родителю… Мне что, я его вот на эстолько не боюсь!..

– Ты бы сперва съездил еще в Тайболу-то, – нерешительно советовала Устинья Марковна. – Может, и уговоришь… Не чужая тебе Феня-то: родная сестра по отцу-то.

– И в Тайболу съезжу! – горячился Яша, размахивая руками. – Я этих кержаков в бараний рог согну… «Отдавайте Федосью назад!» Вот и весь сказ… У меня, брат, не отвертишься.

Напустив на себя храбрости, Яша к вечеру заметно остыл и только почесывал затылок. Он сходил в кабак, потолкался на народе и пришел домой только к ужину. Храбрости оставалось совсем немного, так что и ночь Яша спал очень скверно и проснулся чуть свет. Устинья Марковна поднималась в доме раньше всех и видела, как Яша начинает трусить. Роковой день наступал. Она ничего не говорила, а только тяжело вздыхала. Напившись чаю, Яша объявил:

– Ну, мамушка, Устинья Марковна, благословляй… Сейчас еду в Тайболу выручать Феню.

– Дай тебе Бог, Яша… Смотри, отец выворотится сейчас после свистка.

В критических случаях Яша принимал самый торжественный вид, а сейчас трудность миссии сопряжена была с вопросом о собственной безопасности. Ввиду всего этого Яша заседлал лошадь и отправился на подвиг верхом. Устинья Марковна выскочила за ворота и благословила его вслед.

Дорога в Тайболу проходила Низами, так что Яше пришлось ехать мимо избушки Мыльникова, стоявшей на тракту, как называли дорогу в город. Было еще раннее утро, но Мыльников стоял за воротами и смотрел, как ехал Яша. Это был среднего роста мужик с растрепанными волосами, клочковатой рыжей бороденкой и какими-то «ядовитыми» глазами. Яша не любил встречаться с зятем, который обыкновенно поднимал его на смех, но теперь неловко было проехать мимо.

– Куда такую рань наклался, дорогой деверек? – спрашивал Мыльников, здороваясь.

В окне проваленной избушки мелькнуло испитое лицо Татьяны, а затем показались ребячьи головы.

– Да так… в город по делу надо съездить, – соврал Яша и так неловко, что сам смутился.

– Ну, ну, не ври, коли не умеешь! – оборвал его Мыльников. – Небось, в гости к богоданному зятю поехал?.. Ха-ха… Эх вы, раздуй вас горой: завели зятя. Только родню срамите… А что, дорогой тестюшка каково прыгает?..

– И не говори! Беда… Объявить не знаем как, а сегодня выйдет домой к вечеру. Мамушка уж ездила в Тайболу, да ни с чем выворотилась, а теперь меня заслала… Может, и оборочу Феню.

– Хо-хо!.. Нашел дураков… Девка мак, так ее кержаки и отпустили. Да и тебе не обмозговать этого самого дела… да. Вон у меня дерево стоеросовое растет, Окся; с руками бы и ногами отдал куда-нибудь на мясо, – да никто не берет. А вы плачете, что Феня своим умом устроилась…

– Да это Бог бы с ней, что убегом, Тарас Матвеич, а вот вера-то ихняя стариковская.

Мыльников подумал, почесал в затылке и проговорил:

– А это ты правильно, Яша… Ни баба, ни девка, ни солдатка наша Феня… Ах, раздуй их горой, кержаков!.. Да ты вот что, Яша, подвинься немного в Седле…

Не дожидаясь приглашения, Мыльников сам отодвинул Яшу вместе с седлом к гриве, подскочил, навалился животом на лошадиный круп, а затем уселся за Яшей.

– Да ты куда это? – изумлялся Яша.

– Как куда? Поедем в Тайболу… Тебе одному не управиться, а уж я, брат, из горла добуду. Эй, Окся, волоки мне картуз…

На этот крик показалась среднего роста девка с рябым скуластым лицом. Это и была Окся. Она как-то исподлобья посмотрела на Яшу и подала картуз.

– Ну ты, дерево, смотри у меня! – пригрозил ей отец. – Чтобы к вечеру работа была кончена…

Окся только широко улыбнулась, показав два ряда белых зубов. Чадолюбивый родитель, отъехав шагов двадцать, оглянулся, погрозил Оксе кулаком и проговорил:

– Уродится же этакое дерево… а?..

**V**

До Тайболы считали верст пять, и дорога все время шла столетним сосновым бором, сохранившимся здесь еще от «казенной каторги», как говорил Мыльников, потому что золотые промысла раскинулись по ту сторону Балчуговского завода. Дорога здесь была бойкая, по ней в город и из города шли и ехали «без утыху», а теперь в особенности, потому что зимний путь был на исходе, и в город без конца тянулись транспорты с дровами, сеном и разным деревенским продуктом. Мыльников знал почти всех, кто встречался, и не упускал случая побалагурить.

– Ну, Яшенька, и зададим мы кержакам горячего до слез!.. – хвастливо повторял он, ерзая по лошадиной спине. – Всю ихнюю стариковскую веру вверх дном поставим… Уважим в лучшем виде! Хорошо, что ты на меня натакался, Яша, а то одному-то тебе где бы сладить… Э-э, мотри: ведь это наш Шишка пехтурой в город копотит! Он…

Они нагнали шагавшего по дороге Кишкина уже в виду Тайболы, где сосновый бор точно расступался, открывая широкий вид на озеро. Кишкин остановился и подождал ехавших верхом родственников.

– Андрону Евстратычу! – крикнул Мыльников еще издали, взмахивая своим картузом. – Погляди-ка, как Тарас Мыльников на тестевых лошадях покатывается…

– Али на свадьбу собрались? – пошутил Кишкин, осклабившись. Он уже знал об убеге Фени.

– Горе наше лютое, а не свадьба, Андрон Евстратыч, – пожаловался Яша, качая головой. – Родитель сегодня к вечеру выворотится с Фотьянки и всех нас распатронит…

– Бог не без милости, Яша, – утешал Кишкин. – Уж такое их девичье положенье: сколь девку ни корми, а все чужая… Вот что, други, надо мне с вами переговорить по тайности: большое есть дело. Я тоже до Тайболы, а оттуда домой и к тебе, Тарас, по пути заверну.

– Милости просим, Андрон Евстратыч… Ты это не насчет ли Пронькиной вышки промышляешь?..

– А ты пасть-то свою раствори, Тарас! – огрызнулся Кишкин. – О Пронькиной вышке своя речь… Ах, ботало коровье!.. С тобой пива не сваришь…

– Только припасай денег, Андрон Евстратыч, а уж я тебе богачество предоставлю! – хвастался Мыльников. – Я в третьем году шишковал в Кедровской, так завернул на Пронькину-то вышку… И местечко только!

У самого въезда в Тайболу, на левой стороне дороги, зеленой шапкой виднелся старый раскольничий могильник. Дорога здесь двоилась: тракт отделял влево узенькую дорожку, по которой и нужно было ехать Яше. На росстани они попрощались с Кишкиным, и Мыльников презрительно проговорил ему вслед.

– Шишка и есть: ни конца ни краю не найдешь. Одним словом, двухорловый!.. Туда же, золота захотел!.. Ха-ха… Так я ему и сказал, где оно спрятано. А у меня есть местечко… Ох, какое местечко, Яша!.. Гляди-ка, ведь это кабатчик Ермошка на своем виноходце закопачивает? Он… Ловко. В город погнал с краденым золотом…

Раскольничье «жило» начиналось сейчас за могильником. Третий от края дом принадлежал скорнякам Кожиным. Старая высокая изба, поставленная из кондового леса, выходила огородом на озеро. На самом берегу стояла и скорняжная – каменное низкое здание, распространявшее зловоние на весь квартал. Верст на пять берег озера был обложен раскольничьей стройкой, разорванной в самой середине двумя пустырями: здесь красовались два больших раскольничьих скита, мужской и женский, построенные в тридцатых годах нынешнего столетия. Вид на озеро от могильника летом был очень красив, и тайбольцы ничего лучшего не могли и представить.

– Подворачивай! – крикнул Мыльников, когда они поровнялись с кожинской избой. – Дорогие гости приехали.

Ворота у Кожиных всегда были, по раскольничьему обычаю, на запоре, и гостям пришлось стучаться в окно. Показалось строгое старушечье лицо.

– Летела жар-птица, уронила золотое перо, а мы по следу и приехали к тебе, баушка Маремьяна, – заговорил Мыльников, когда отодвинулось волоковое окно.

– Заходите, гости будете, – пригласила старуха, дергая шнурок, проведенный к воротной щеколде. – Коли с добром, так милости просим…

Двор был крыт наглухо, и здесь царила такая чистота, какой не увидишь у православных в избах. Яша молча привязал лошадь к столбу, оправил шубу и пошел на крыльцо. Мыльников уже был в избе. Яша по привычке хотел перекреститься на образ в переднем углу, но Маремьяна его оговорила:

– У себя дома молись, родимый, я наши образа оставь… Садитесь, гостеньки дорогие.

Изба была оклеена обоями на городскую руку; на полу везде половики; русская печь закрыта ситцевым пологом. Окна и двери были выкрашены, а вместо лавок стояли стулья. Из передней избы небольшая дверка вела в заднюю маленьким теплым коридорчиком.

– Ну, начинай, чего молчишь, как пень? – подталкивал Яшу Мыльников. – За делом приехали…

Яша моргал глазами, гладил свою лысину и не смел взглянуть на стоявшую посреди избы старуху.

– Нам бы сестрицу Федосью Родивоновну повидать… – проговорил наконец Яша, чувствуя, как его начинает пробивать пот.

– Не чужие будем, баушка Маремьяна, – вставил Мыльников.

– А на какую причину она вам понадобилась? – ответила старуха.

Старуха была одета по-старинному, в кубовый косоклинный сарафан и в белую холщевую рубашку. Темный старушечий платок покрывал голову.

– Мы с добром приехали, баушка Маремьяна, – отвечал Мыльников, размахивая рукой. – Одним словом, сродственники… Не съедим сестрицу Федосью Родивоновну.

– Ладно, коли с добром, – согласилась старуха и вышла в маленькую дверку.

– Медведица… – проговорил Мыльников, указывая глазами на дверь, в которую вышла старуха. – Погоди, вот я разговорюсь с ней по-настоящему… Такого холоду напущу, что не обрадуется.

Вошла Феня, высокая и стройная девушка, конфузившаяся теперь своего красного кумачного платка, повязанного по-бабьи. Она заметно похудела за эти дни и пугливо смотрела на брата и на зятя своими большими серыми глазами, опушенными такими длинными ресницами.

– Здравствуйте, братец Яков Родивоныч, – покорным тоном проговорила она, кланяясь. – И вы, Тарас Матвеич, здравствуйте…

– Вот что, Феня, – заговорил Яша, – сегодня родитель с Фотьянки выворотится, и всем нам из-за тебя без смерти смерть… Вот какая оказия, сестрица любезная. Мамушка слезьми изошла… Наказала кланяться.

– Крутенек тестюшка-то Родивон Потапыч, – прибавил Мыльников. – Таку резолюцию наведет…

– Что же я, братец Яков Родивоныч… – прошептала Феня со слезами на глазах. – Один мой грех и тот на виду, а там уж как батюшка рассудит… Муж за меня ответит, Акинфий Назарыч. Жаль мне матушку до смерти…

Она всхлипнула и закрыла лицо руками. В коридоре за дверью слышалось осторожное шушуканье, а потом показался сам Акинфий Назарыч, плотный и красивый молодец, одетый по-городски в суконный пиджак и брюки навыпуск.

– Вот что, господа, – заговорил он, прикрывая жену собой, – не женское дело разговоры разговаривать… У Федосьи Родионовны есть муж, он и в ответе. Так скажите и батюшке Родиону Потапычу… Мы от ответа не прячемся… Наш грех…

– Вот ты поговори с ним, с тестем-то, малиновая голова! – заметил Мыльников и засмеялся. – Он тебе покажет…

– И поговорим и даже очень поговорим, – уверенно ответил Акинфий Назарыч. – Не первая Федосья Родионовна и не последняя.

– Да про убег нет слова, Акинфий Назарыч, – вступился Яша, – дело житейское… А вот как насчет веры? Не стерпит тятенька.

– Что же вера? Все одному Богу молимся, все грешны да Божьи… И опять не первая Федосья Родионовна по древнему благочестию выдалась: у Мятелевых жена православная по городу взята, у Никоновых ваша же балчуговская… Да мало ли!.. А, между прочим, что это мы разговариваем, как на окружном суде… Маменька, Феня, обряжайте закусочку да чего-нибудь потеплее для родственников. Честь лучше бесчестья завсегда!.. Так ведь, Тарас?

– Ах, и хитер ты, Акинфий Назарыч! – блаженно изумлялся Мыльников. – В самое то есть живое место попал… Семь бед – один ответ. Когда я Татьяну свою уволок у Родивона Потапыча, было тоже греха, а только я свою линию строго повел. Нет, брат, шалишь… Не тронь!..

Закуска и выпивка явились как по щучьему веленью: и водка, и настойка, и тенериф, и капуста, и грибочки, и огурчики.

– Господа, пожалуйте! – приглашал Акинфий Назарыч. – Сухая ложка рот дерет… Вкусим по единой, аще же не претит, то и по другой.

Яша тяжело вздохнул, принимая первую рюмку, точно он продавал себя. Эх, и достанется же от родителя… Ну, да все равно: семь бед – один ответ… И Фени жаль и родительской грозы не избежать. Зато Мыльников торжествовал, попав на даровое угощение… Любил он выпить в хорошей компании…

– А где баушка Маремьяна? – пристал он. – Хочу беспременно с ней выпить, потому люблю… Феня, тащи баушку!..

Старуха для приличия поломалась, а потом вышла и даже «пригубила» какой-то настойки.

– Как же теперь нам быть? – спрашивал Яша после третьей рюмки. – Без ножа зарезала нас Феня…

– Чему быть, того не миновать! – весело ответил Акинфий Назарыч. – Ну, пошумит старик, покажет пыль – и весь тут… Не всякое лыко в строку. Мало ли наши кержанки за православных убегом идут? Тут, брат, силой ничего не поделаешь. Не те времена, Яков Родионыч. Рассудите вы сами…

– Оно конечно, – соглашался пьяневший Яша. – Я ведь тоже с родителем на перекосых… Очень уж он канпании нашей подвержен, а я наоборот: до старости у родителя в недоносках состою…

Тоже в другой раз и обидно.

– А ты выдела требуй, Яша, – советовал Мыльников. – Слава Богу, своим умом пора жить… Я бы так давно наплевал: сам большой – сам маленький, и знать ничего не хочу. Вот каков Тарас Мыльников!

– Перестань молоть! – оговаривала его старая Маремьяна. – Не везде в задор да волчьим зубом, а мирком да ладком, пожалуй, лучше… Так ведь я говорю, сват – большая родня?

– Какой я сват, баушка Маремьяна, когда Родивон Потапыч считает меня в том роде, как троюродное наплевать. А мне Бог с ним… Я бы его не обидел. А выпить мы можем завсегда… Ну, Яша, которую не жаль, та и наша.

С каждой новой рюмкой гости делались все разговорчивее. У Яши начали сладко слипаться глаза, и он чувствовал себя уже совсем хорошо.

– Что же, ну, пусть родитель выворачивается с Фотьянки… – рассуждал он, делая соответствующий жест. – Ну, выворотится, я ему напрямки и отрежу: так и так, был у Кожиных, видел сестрицу Федосью Родивоновну и всякое протчее… А там хоть на части режь…

– Он за баб примется, – говорил Мыльников, удушливо хихикая. – И достанется бабам… ах, как достанется! А ты, Яша, ко мне ночевать, к Тарасу Мыльникову. Никто пальцем не смеет тронуть… Вот это какое дело, Яша!

Когда гости нагрузились в достаточной мере, баушка Маремьяна выпроводила их довольно бесцеремонно. Что же, будет, посидели, выпили – надо и честь знать, да и дома ждут. Яша с трудом уселся в седло, а Мыльников занес уже половину своего пьяного тела на лошадиный круп, но вернулся, отвел в сторону Акинфия Назарыча и таинственно проговорил:

– Уж я все устрою, шурин… все!.. У меня, брат, Родивон Потапыч не отвертится… Я его приструню. А ты, Акинфий Назарыч, соблаговоли мне как-нибудь выросточек: у тебя их много, а я сапожки сошью. Ух, у меня ловко моя Окся орудует…

– Хорошо, хорошо… – соглашался «молодой». – Две кожи подарю. Сам привезу.

Гостей едва выпроводили. Феня горько плакала. Что-то там будет, когда воротится домой грозный тятенька?.. А эти пьянчуги только ее срамят… И зачем приезжали, подумаешь: у обоих умок-то ребячий.

– Перестань убиваться-то, – ласково уговаривал жену Акинфий Назарыч. – Москва слезам не верит… Хорошая-то родня по хорошим, а наше уж такое с тобой счастье.

Яша и Мыльников возвращались домой в самом праздничном настроении и, миновав могильник, затянули даже песню:

Как сибирский енерал
Да станового обучал…

На тракту их опять обогнал целовальник Ермошка, возвращавшийся из города. С ним вместе ехал приисковый доводчик Ераков. Оба были немного навеселе.

– Ох, два голубя, два сизых! – крикнул Ермошка, поровнявшись с верховыми. – Откедова Бог несет?.. Подмокли малым делом…

– А тебе завидно? – огрызнулся Мыльников. – Кабацкая затычка и больше ничего.

Ермошка любил, когда его ругали, а чтобы потешиться, подстегнул лошадь веселых родственников, и они чуть не свалились вместе с седлом. Этот маленький эпизод несколько освежил их, и они опять запели во все горло про сибирского генерала. Только подъезжая к Балчуговскому заводу, Яша начал приходить в себя: хмель сразу вышибло. Он все чаще и чаще стал пробовать свой затылок…

– Который теперь час? – спрашивал он.

– А скоро, видно, три… Гляди, уж господа теперь чай пьют. А ты, друг, заедем наперво ко мне, а от меня… Знаешь, я тебя провожу. Боишься родителя-то?

– А ну его… Побьет еще, пожалуй.

– Н-но-о?..

– Верно тебе говорю.

Яшей овладело опять такое малодушие, что он рад был хоть на час отсрочить неизбежную судьбу. У него сохранился к деспоту-отцу какой-то панический страх… А вот и Балчуговский завод и широкая улица, на которой стояла проваленная избенка Тараса.

– Гли-ко, гли, Яша! – крикнул Мыльников, выглядывая из-за его спины. – У моих-то ворот кто сидит?

– И то как будто сидит.

– Да ведь это Шишка… Верное слово!.. Ах, раздуй его горой…

У ворот избы Тараса действительно сидел Кишкин, а рядом с ним Окся. Старик что-то расшутился и довольно галантно подталкивал свою даму локтем в бок. Окся сначала ухмылялась, показывая два ряда белых зубов, а потом, когда Кишкин попал локтем в непоказанное место, с быстротой обезьяны наотмашь ударила его кулаком в живот. Старик громко вскрикнул от этой любезности, схватившись за живот обеими руками, а развеселившаяся Окся треснула его еще раз по затылку и убежала.

– Ох-хо-хо! – заливался Мыльников, подъезжавший в этот трагический момент к своему пепелищу. – Вот так Окся: уважила Андрона Евстратыча… Ишь, разыгралась к ненастью! Ах, курва Окся, ловко она саданула…

**V**

Ожидание возвращения с Фотьянки «самого» в зыковском доме было ужасно. Сама Устинья Марковна чувствовала только одно, что у нее вперед и язык немеет и ноги подкашиваются. Что она будет говорить взбешенному мужу, когда сама кругом виновата и вовремя не досмотрела за дочерью? Понадеялась на девичью совесть… «Вековушка» Марья и замужняя Анна, конечно, останутся в стороне. Последняя, хотя и слабая, надежда у старухи была на мужиков – на пасынка Яшу и на зятя Прокопия. Она все поглядывала в окошко, не едет ли Яша. Вот уже стало и темнеться, значит, близко шести часов, а в семь свисток на фабрике, а к восьми выворотится Родион Потапыч и первым делом хватится своей Фени. Каждый стук на улице заставлял ее вздрагивать.

– Хоть бы Прокопий-то поскорее пришел, – вслух думала старушка, начинавшая сомневаться в благополучном исходе Яшиной засылки.

Вот загудел и свисток на фабрике. Под окнами затопали торопливо шагавшие с фабрики рабочие, – все торопились по домам, чтобы поскорее попасть в баню. Вот и зять Прокопий пришел.

– Нету ведь Яши-то, – шепотом сообщила ему Устинья Марковна. – С самого утра уехал… Что ему делать-то в Тайболе столько время?.. Думаю, не завернул ли Яша в кабак к Ермошке…

Прокопий ничего не ответил. Он закусил у печки вчерашнего пирога с капустой и пошел из избы.

– Ты куда, Прокопий? – окликнула его в ужасе Устинья Марковна.

– Я пойду Яшу искать, – ответил он, глядя в угол. – Куды мы без него? Некуда ему деться, окромя кабака.

И теща и жена отлично понимали, что Прокопий хочет скрыться от греха, пока Родион Потапыч будет производить над бабами суд и расправу, но ничего не сказали: что же, известное дело, зять… Всякому до себя.

– А что же в баню-то сегодня не пойдешь, что ли? – окликнула Прокопия уже на пороге вековушка Марья.

– Успеется и баня, – ответил Прокопий. – Пусть батюшка первым идет…

«Банный день» справлялся у Зыковых по старине: прежде, когда не было зятя, первыми шли в баню старики, чтобы воспользоваться самым дорогим первым паром, за стариками шел Яша с женой, а после всех остальная чадь, то есть девки, которые вообще за людей не считались. С выходом Анны замуж «первый пар» был уступлен зятю, а потом шли старики. Убегавший теперь от первого пара Прокопий показывал свою полную нравственную несостоятельность, что и подчеркнула своим вопросом вековушка Марья. Она горько улыбнулась, когда захлопнулась дверь за Прокопием, и проворчала:

– Тоже, мужик называется… Оставил одних баб. Разве так настоящие-то мужики делают?..

– Молчи, Марья! – окликнула ее мать. – Ты бы вот завела своего мужика да и мудрила над ним… Не больно-то много ноне с зятя возьмешь, а наш Прокопий воды не замутит.

– У тебя нет лучше Прокопья, – ворчала Марья.

– Ты у меня поворчи! – крикнула мать. – Зубы-то долги стали…

За убегом Фени с Марьей точно что сделалось, и она постоянно приставала к матери, чего раньше и в помине не было.

Время летело быстро, и Устинья Марковна совсем упала духом: спасенья не было. В другой бы день, может, кто-нибудь вечером завернул, а на людях Родион Потапыч и укротился бы, но теперь об этом нечего было и думать: кто же пойдет в банный день по чужим дворам. На всякий случай затеплила она лампадку пред скорбящей и положила перед образом три земных поклона.

Родион Потапыч явился на целых полчаса раньше, чем его ожидали. Его подвез какой-то попутний из Фотьянки.

– А где Феня? – спросил он по обыкновению, поднимаясь на крыльцо.

– В соседи увернулась, – ответила Устинья Марковна, ни живая ни мертвая от страху.

– Не нашла время…

Старик вошел в избу, снял с себя шубу, поставил в передний угол железную кружку с золотом, добыл из-за пазухи завернутый в бумагу динамит и потом уже помолился.

– Это на какую причину лампадка теплится? – спросил он.

– А воскресенье завтра, Родивон Потапыч… Банька готова, хоть сейчас можно идти.

– А Прокопий когда успел в баню сходить?

– Да он потом, Родивон Потапыч, он тоже увернулся по делу.

– Порядков не знаете?! – крикнул старик и топнул ногой. – Ты у меня смотри, потатчица…

Он сразу почуял что-то неладное и грозно посмотрел на трепетавшую старуху, потом хотел что-то сказать, но в этот критический момент под самым окном раздалась пьяная песня:

Как сибирский енерал
Да ста-анового о-бучал!..

Устинья Марковна так и обомлела: она сразу узнала голос пьяного Яши… Не успела она опомниться, как пьяные голоса уже послышались во дворе, а потом грузный топот шарашавшихся ног на крыльце.

– Батюшки, да никак и Тарас с ним! – охнула Устинья Марковна, опрометью бросаясь из избы, чтобы прогнать пьяниц.

Но было уже поздно. Тарас и Яша входили в избу, подталкивая друг друга и придерживаясь за косяки.

– Родителю… многая лета… – бормотал Мыльников, как-то сдирая шапку с головы. – А мы вот с Яшей, значит, тово… Да ты говори, Яша!

Родион Потапыч точно онемел: он не ожидал такой отчаянной дерзости ни от Яши, ни от зятя. Пьяные, как стельки, и лезут с мокрым рылом прямо в избу… Предчувствие чего-то дурного остановило Родиона Потапыча от надлежащей меры, хотя он уже и приготовил руки.

– Так мы, значит, из Тайболы… – объяснил Мыльников, тыкая шапкой вперед. – От Федосьи Родивоновны поклончик привезли.

– От какой Федосьи Родивоновны? – повторил старик, чувствуя, как у него волосы поднимаются дыбом. – Да вы сбесились, оглашенные?.. Да я…

– А ты не больно, родитель, тово… – неожиданно заявил насмелившийся Яша. – Не наша причина с Тарасом, ежели Феня тово… убежала, значит, в Тайболу. Мы ее как домой тащили, а она свое… Одним словом, дура.

Тут уже Устинья Марковна не вытерпела и комом повалилась в ноги грозному мужу, причитая:

– Уж и что мы наделали!.. Феня-то сбежала в Тайболу… за кержака, за Акиньку Кожина… Третий день пошел…

Зыков зашатался на месте, рванул себя за седую бороду и рухнул на деревянный диван. Старуха подползла к нему и с причитаньями ухватилась за ногу, но он грубо оттолкнул ее.

– Да вы… вы одурели тут все без меня? – хрипло крикнул он, все еще не веря собственным ушам. – Да я вас… Яшка, вон!.. Чтобы и духу твоего не осталось!

– А ты не больно, родитель, тово… – дерзко ответил Яша.

– Что-о?!.

– А вот это самое… Будет тебе надо мной измываться. Вполне даже достаточно… Пора мне и своим умом жить… Выдели меня, и конец тому делу. Купи мне избу, лошадь, коровенку, ну обзаведение, а там я сам…

– Правильно, Яша! – поощрял Мыльников. – У меня в суседях место продается, первый сорт. Я его сам для себя берег, а тебе, уж так и быть, уступаю…

Старик рванулся с места, схватил Яшу левой рукой, зятя правой и вытолкнул их за дверь.

– Да ты не больно!.. – кричал Мыльников уже в сенях. – Ишь какой выискался… Мы тоже и сами с усами!.. Айда, Яша, со мной…

В этот момент выскочила из задней избы Наташа и ухватила отца за руку, да так и повисла.

– Тятя, родимый!.. Я боюсь!.. Тятя!..

– Ну, вот… – проговорил Яша таким покорным тоном, как человек, который попал в капкан. – Ну что я теперь буду делать, Тарас? Наташка, отцепись, глупая…

– Тятенька, миленький…

Яша сразу обессилел: он совсем забыл про существование Наташки и сынишки Пети. Куда он с ними денется, ежели родитель выгонит на улицу?.. Пока большие бабы судили да рядили, Наташка не принимала в этом никакого участия. Она пестовала своего братишку смирненько где-нибудь в уголке, как и следует сироте, и все ждала, когда вернется отец. Когда в передней избе поднялся крик, у ней тряслись руки и ноги.

– Наташка, перестань… Брось… – уговаривал ее Мыльников. – Не смущай свово родителя… Вишь, как он сразу укротился. Яша, что же это ты в самом-то деле?.. По первому разу и испугался родителей…

– И ты тоже хорош, – корил Яша своего сообщника. – Только языком здря болтаешь… Ступай-ка вот, поговори с тестем-то.

Мыльников презрительно фыркнул на малодушного Яшу и смело отворил дверь в переднюю избу. Там шел суд. Родион Потапыч сидел по-прежнему на диване, а Устинья Марковна, стоя на коленях, во всех подробностях рассказывала, как все вышло. Когда она начинала всхлипывать, старик грозно сдвигал брови и топал на нее ногой. Появление Мыльникова нарушило это супружеское объяснение.

– Ты… ты зачем? – грозно спрашивал его старик.

– А дело есть, Родивон Потапыч… Ты вот Тараса Мыльникова в шею, а Тарас Мыльников к тебе же с добром, с хорошим словом.

– Говори скорее, коли дело есть, а то проваливай, кабацкая затычка…

– И не маленькое дельце, Родивон Потапыч, только пусть любезная наша теща Устинья Марковна как быдто выдет из избы. Женскому полу это не следствует и понимать…

Зыков сделал знак глазами, и любезная теща уплелась из избы, благославляя на этот раз заблудящего и отпетого зятя.

– Дело-то самое короткое, Родивон Потапыч… Шишка-то был у тебя на Фотьянке?

– Ну, был…

– Опрашивал он тебя касаемо допрежних времен и казенной работы?

– Пустой он человек. Болтал разное…

– Ну, так слушай… Ты вот Тараса за дурака считал и на порог не пускал…

– Да не болтай глупостев, шалая голова!.. Не люблю…

– Донос Шишка пишет, вот что! – точно выстрелил Тарас. – О казенной работе, как золото воровали на промыслах. Все пишет. Сегодня меня подговаривал… Значит, как я в те поры на Фотьянке в шорниках состоял, ну, так он и меня записал. Анжинеров Шишка хочет под суд упечь, потому как очень ему теперь обидно, что они живут да радуются, а он дыра в горсти. Слышь, и тебя в главные свидетели запятил, и фотьянских штегеров, и балчуговских, всех в один узел хочет завязать. Вот он каков человек есть, значит, Шишка. Прямо так и говорит: «Всех в Сибирь упеку».

– Не пойму я тебя, Тарас, – сурово проговорил старик. – А ты садись, да и рассказывай толком…

Мыльников с важностью присел к столу и рассказал все по порядку: как они поехали в Тайболу, как по дороге нагнали Кишкина, как потом Кишкин дожидался их у его избушки.

– Сперва-то он издалека речь завел, – рассказывал Мыльников. – Насчет Кедровской казенной дачи, что она выходит на волю и что всякий там может работать… Известно, соблазнял, а потом и подсыпался: «Ты, Тарас Матвеич, ходил в шорниках на Фотьянке? Можешь себя обозначить, ежели я в свидетели поставлю, как анжинеры золото воровали?..» И пошел. Золото, грит, у старателей скупали по одному рублю двадцати копеек за золотник, а в казну его записывали по четыре да по пяти цалковых. И пошел, и пошел… И нынешнюю, грит, кампанию заодно подведу, потому, грит, мне заодно пропадать. Вот он каков человек есть, Шишка этот. Самый зловредный выходит…

– Ну, а еще-то что?

– Да все тут… А ежели относительно сестрицы Федосьи Родивоновны, то могу тоже соответствовать вполне.

– Ну, это не твоего ума дело! Убирайся…

– Только и всего?

– Достаточно по твоему великому уму… И Шишка дурак, что с таким худым решетом, как ты, связывается!..

– Ну и дал Бог родню! – ругался Мыльников, хлопая дверью.

Выгнав из избы дорогого зятя, старик долго ходил из угла в угол, а потом велел позвать Якова. Тот сидел в задней избе рядом с Наташей, которая держала отца за руку.

– Ты это что за модель выдумал… а?! – грозно встретил Родион Потапыч непокорное детище. – Кто в дому хозяин?.. Какие ты слова сейчас выражал отцу? С кем связался-то?.. Ну, чего березовым пнем уставился?

– Из твоей воли, тятенька, я не выхожу, – упрямо заявил Яша, сторонясь, когда отец подходил слишком близко. – А желаю выдел получить…

– Какой тебе выдел, полоумная башка?.. Выгоню на улицу, в чем мать родила, вот и выдел тебе. По миру пойдешь с ребятами…

– А уж что Бог даст… Получше нас с тобой, может, с сумой в другой раз ходят. А что касаемо выдела, так уж как волостные старички рассудят, так тому и быть.

Родион Потапыч с ужасом посмотрел на строптивца, хотел что-то сказать, но только махнул рукой и бессильно опустился на диван.

– Пора мне и свой угол завести, – продолжал Яша. – Вот по весне выйдет на волю Кедровская дача, так надо не упустить случая… Все кинутся туда, ну и мы сговорились.

– Что-о?..

– Сговорились, говорю. Своя у нас канпания: значит, зять Тарас Матвеич, я, Кишкин…

– Вот так канпания! – охнул Родион Потапыч. – Всех вас, дураков, на одно лыко связать да в воду… Ха-ха!..

Старик редко даже улыбался, а как он хохочет – Яша слышал в первый раз. Ему вдруг сделалось так страшно, так страшно, как еще никогда не было, а ноги сами подкашивались. Родион Потапыч смотрел на него и продолжал хохотать. Спрятавшаяся за печь Устинья Марковна торопливо крестилась: трехнулся старик…

– Так канпания? А? – спрашивал Родион Потапыч, делая передышку. – Кедровская дача на волю выйдет? Богачами захотели сделаться… а?..

– Уж это кому какие Бог счастки пошлет…

– Хорошо, я тебе покажу Кедровскую дачу. Ступай, оболокайся…

Когда Яша с привычной покорностью вышел, из-за печи показалось испуганное лицо Устиньи Марковны.

– Как же насчет Фени-то?.. – шептала она побелевшими от страха губами. – Слезьми, слышь, изошла…

Старик посмотрел на жену, повернулся к образу и, подняв руку, проговорил:

– Будь она от меня проклята…

Устинья Марковна так и замерла на месте. Она всего ожидала от рассерженного мужа, но только не проклятия. В первую минуту она даже не сообразила, что случилось, а когда Родион Потапыч надел шубу и пошел из избы, бросилась за ним.

– Родион Потапыч, опомнись!.. Родной…

Но он уже спускался по лесенке, а за ним покорно шел Яша.

**VI**

Родион Потапыч вышел на улицу и повернул вправо, к церкви. Яша покорно следовал за ним на приличном расстоянии. От церкви старик спустился под горку на плотину, под которой горбился деревянный корпус толчеи и промывальни. Сейчас за плотиной направо стоял ярко освещенный господский дом, к которому Родион Потапыч и повернул. Было уже поздно, часов девять вечера, но дело было неотложное, и старик смело вошел в настежь открытые ворота на широкий господский двор.

– Степан Романыч дома? – сурово спросил он стоявшего на крыльце лакея Ганьку.

– У них гости… – с лакейской дерзостью ответил Ганька и даже заслонил дверь своей лакейской особой. – К нам нельзя-с…

– Дурак! – обругал старик, отталкивая Ганьку. – А ты, Яшка, подождешь меня здесь!..

Господский дом на Низах был построен еще в казенное время, по общему типу построек времен Аракчеева: с фронтоном, белыми колоннами, мезонином, галереей и подъездом во дворе. Кругом шли пристройки: кухня, людская, кучерская и т. д. Построек было много, а еще больше неудобств, хотя главный управляющий Балчуговских золотых промыслов Станислав Раймундович Карачунский и жил старым холостяком. Рабочие перекрестили его в Степана Романыча. Он служил на промыслах уже лет двенадцать и давно был своим человеком.

В большой передней всех гостей встречали охотничьи собаки, и Родион Потапыч каждый раз морщился, потому что питал какое-то органическое отвращение к псу вообще. На его счастье вышла смазливая горничная в кокетливом белом переднике и отогнала обнюхивавших гостя собак.

– У них гости… – шепотом заявила она, как и Ганька. – Анжинер Оников да лесничий Штамм…

Доносившийся из кабинета молодой хохот не говорил о серьезных занятиях, и Зыков велел доложить о себе.

– Сурьезное дело есть… Так и скажи, – наказывал он с обычной внушительностью. – Не задержу…

Горничная посмотрела на позднего гостя еще раз и, приподняв плечи, вошла в кабинет. Скоро послышались легкие и быстрые шаги самого хозяина. Это был высокий, бодрый и очень красивый старик, ходивший танцующим шагом, как ходят щеголи-поляки. Волнистые волосы снежной белизны были откинуты назад, а великолепная седая борода, закрывавшая всю грудь, эффектно выделялась на черном бархатном жакете. Карачунский был отчаянный франт,

настоящий идол замужних женщин и необыкновенно веселый человек. Он всегда улыбался, всегда шутил и шутя прожил всю жизнь. Таких счастливцев остается немного.

– Ну что, дедушка? – весело проговорил Карачунский, хлопая Зыкова по плечу. – Шахту, видно, опустил?..

– С нами крестная сила! – охнул Родион Потапыч и даже перекрестился. – Уж только и скажешь словечко, Степан Романыч…

– Что же, этого нужно ждать: на Спасо-Колчеданской шахте красик пошел, значит, и вода близко… Помнишь, как Шишкаревскую шахту опустили? Ну, и с этой то же будет…

– Может, и будет, да говорить-то об этом не след, Степан Романыч, – нравоучительно заметил старик. – Не таковское это дело…

– А что?

– Да так… Не любит она, шахта, когда здря про нее начнут говорить. Уж я замечал… Вот когда приезжают посмотреть работы, да особливо который гость похвалит – нет того хуже.

– Сглазить шахту можно?.. – засмеялся Карачунский. – Ну, Бог с ней…

Зыков переминался с ноги на ногу, косясь на стоявшую в зале горничную. Карачунский сделал ей знак уйти.

– Что, разве чай будем пить, дедушка? – весело проговорил он. – Что мы будем в передней-то стоять… Проходи.

– Ох, не до чаю мне, Степан Романыч…

Оглядевшись еще раз, старик проговорил упавшим голосом, в котором слышались слезы:

– К твоей милости пришел, Степан Романыч… Не откажи, будь отцом родным! На тебя вся надежа…

С последними словами он повалился в ноги. Неожиданность этого маневра заставила растеряться даже Карачунского.

– Дедушка, что ты… Дедушка, нехорошо!.. – бормотал он, стараясь поднять Родиона Потапыча на ноги. – Разве можно так?..

– Парня я к тебе привел, Степан Романыч… Совсем от рук отбился малый: сладу не стало. Так я тово… Будь отцом родным…

– Какого парня, дедушка?

– Да Яшку моего беспутного…

– Ах, да… Ну, так что же я могу сделать?

– Окажи божецкую милость, Степан Романыч, прикажи его, варнака, на конюшне отодрать… Он на дворе ждет.

Карачунский даже отступил, стараясь припомнить, нет ли у Зыкова другого сына.

– Да ведь он уже седой, твой-то парень? Ему уж под шестьдесят?

– Вот то-то и горе, что седой, а дурит… Надо из него вышибить эту самую дурь. Прикажи отправить его на конюшню…

Зыков опять повалился в ноги, а Карачунский не мог удержаться и звонко расхохотался. Что же это такое? «Парнишке» шестьдесят лет, и вдруг его драть… На хохот из кабинета показались горный инженер Оников, бесцветный молодой человек в форменной тужурке, и тощий носатый лесничий Штамм.

– Вот не угодно ли? – обратился к ним Карачунский, делая отчаянное усилие, чтобы не расхохотаться снова. – Парнишку хочет сечь, а парнишке шестьдесят лет… Нет, дедушка, это не годится. А позови его сюда, может быть, я вас помирю как-нибудь.

– Нет, уж это ты оставь, Степан Романыч: не стоит он, поганец, чтобы в чистые комнаты его пущали. Одна гадость. Так нельзя, Степан Романыч?

– Я не имею права, да и никто другой тоже.

– Ну, все равно, я его в волости отдеру. Мочи не стало с ним, совсем от рук отбился.

Гости Карачунского из уважения к знаменитому «приисковому дедушке» только переглядывались, а хохотать не смели, хотя у Оникова уже морщился нос и вздрагивала верхняя губа, покрытая белобрысыми усами.

– Вот что, дедушка, снимай шубу да пойдем чай пить, – заговорил Карачунский. – Мне тоже необходимо с тобой поговорить.

Пить чай в господском доме для Родиона Потапыча составляло всегда настоящую муку, но отказаться он не смел и покорно снял шубу.

Карачунский повел его прямо в столовую. Родион Потапыч ступал своими большими сапогами по налощенному полу с такой осторожностью, точно боялся что-то пролить. Столовая была обставлена с настоящим шиком: стены под дуб, дубовый массивный буфет с резными украшениями, дубовая мебель, поставец и т. д. Чай разливал сам хозяин. Зыков присел на кончик стула и весь вытянулся.

– Расскажи сначала, дедушка, что у тебя с сыном вышло, – заговорил Карачунский, стараясь смягчить давешний неуместный хохот. – Чем он тебя обидел?

– А за его качества… – сурово ответил Родион Потапыч, хмуря седые брови. – Вот за это за самое.

Налив чай на блюдечко, старик не торопясь рассказал про все подвиги Яши, как он приехал пьяный с Мыльниковым, как начал «зубить» и требовать выдела.

– А главная причина – донял он меня Кедровской дачей, – закончил Родион Потапыч свою повесть. – В старатели хочет идти с зятишкой да с Кишкиным.

– Кишкин? Это тот самый, который дело затевает?

– Вот я и хотел рассказать все по порядку, Степан Романыч, потому как Кишкин меня в свидетели хочет выставить… Забегал он ко мне как-то на Фотьянку и все выпытывал про

старое, а я догадался, что он неспроста, и ничего ему не сказал. Увертлив пес.

– А я только сегодня узнал, дедушка: и до глухого вести дошли. Вон Оников слышал на фабрике… Все болтают про Кишкина.

– Пустой человек, – коротко решил Зыков. – Ничего из того не будет, да и дело прошлое… Тоже и в живых немного уж осталось, кто после воли на казну робил. На Фотьянке найдутся двое-трое, да в Балчуговском десяток.

– А если тебя под присягой будут спрашивать?

– Ничего я не знаю, Степан Романыч… Вот хоша и сейчас взять: я и на шахтах, я и на Фотьянке, а конторское дело опричь меня делается. Работы были такие же и раньше, как сейчас. Все одно… А потом пугал еще меня Кишкин вольными работами в Кедровской даче. Обложат, грит, ваши промысла приисками, будут скупать ваше золото, а запишут в свои книги. Это-то он резонно говорит, Степан Романыч. Греха не оберешься.

– Ничего, все это пустяки… – отшучивался Карачурский. – Мелкие золотопромышленники будут скупать наше золото, а мы будем скупать ихнее. Набавим цену – и вся недолга.

– Было бы из чего набавлять, Степан Романыч, – строго заметил Зыков. – Им сколько угодно дай – все возьмут… Я только одному дивлюсь, что это вышнее начальство смотрит?.. Департаменты-то на что налажены? Все дача была казенная и вдруг будет вольная. Какой же это порядок?.. Изроют старатели всю Кедровскую дачу, как свиньи, растащат все золото, а потом и бросят все… Казенного добра жаль.

– Да ты что так о чужом добре плачешься, дедушка? – в шутливом тоне заговорил Карачунский, ласково хлопая Родиона Потапыча по плечу. – У казны еще много останется от нас с тобой…

Эта шутка задела Родиона Потапыча за живое, и он посмотрел с укоризной на веселого хозяина.

– Как же это так, Степан Романыч?.. – бормотал он. – Все мы от казны хлеб едим… Казна – всему голова… Да ежели бы старое-то горное начальство поднялось из земли да посмотрело на нынешние порядки, – господи, да что же это такое делается? Точно во сне… Да недалеко ходить, вот покойничек, родитель Александра Иваныча (старик указал глазами на Оникова), Иван Герасимыч, бывало, только еще выезжает вот из этого самого дома на работы, а уж на Фотьянке все знают… А как приехал – все в струнку, не дышат, а Иван Герасимыч орлом на всех, и пошла работа. По два воза розог перед работой привозили, а без этого и работы не начинали… Вот какие настоящие-то начальники были, Степан Романыч! А инженер Телятников?.. Тот из собственных рук: ка-ак развернется, ка-ак ахнет по скуле… Любимая поговорка у Телятникова была: «Делай мое неладно, а свое ладно забудь!» Телятникова все до смерти боялись… Как-то раз один служащий, – повытчики еще тогда были, – повытчик Мокрушин, седой уж старик, до пенсии ему оставалось две недели, выпил грешным делом на именинах, да пьяненький и попадись Телятникову на глаза. «Зайди, – говорит, – дедушка, ко мне…» Это, значит, Телятников говорит. У Мокрушина, обыкновенно, душа в пятки. Приходит, Телятников и говорит: «Выбирай из любых – или я тебя сейчас со службы прогоню и пенсии ты лишишься, или выпорю». Ну, старик плакать, в ноги, на коленках ползает за Телятниковым. Другой бы и смиловался, а Телятников достиг своего и отодрал служащего… Только пенсии-то Мокрушин все-таки не получил: помер через три дня. Вот какие начальники были, Степан Романыч: отца родного для казны не пожалеют. Отцы были… Да ежели бы они узнали, что

теперь замышляют с Кедровской дачей, – косточки бы ихние в могилках перевернулись.

Карачунский слушал и весело смеялся: его всегда забавлял этот фанатик казенного приискового дела. Старик весь был в прошлом, в том жестоком прошлом, когда казенное золото добывалось шпицрутенами. Оников молчал. Немец Штамм нарушил наступившую паузу хладнокровным замечанием:

– Будем посмотреть, дедушка…

– Что это я сижу-то, – спохватился Родион Потапыч. – Меня ведь парень-то ждет во дворе.

– Оставь, дедушка, – вступился Карачунский. – Мало ли что бывает: не всякое лыко в строку…

– Никак невозможно, Степан Романыч!.. Словечко бы мне с тобой еще надо сказать…

Карачунский проводил старика до передней, и там Родион Потапыч поведал свое домашнее горе относительно сбежавшей Фени.

– Это которая? – припоминал Карачунский. – Одна с серыми глазами была…

– Вот эта самая, Степан Романыч… Самая, значит, младшая она у меня в семье. Души я в ней не чаял.

– Да, действительно, неприятный случай… – тянул Карачунский, закусывая себе бороду.

– Что же я теперь должен делать?

– Гм… да… Что же, в самом деле, делать? – соображал Карачунский, быстро вскидывая глаза: эта романическая история его заинтриговала. – Собственно говоря, теперь уж ничего нельзя поделать… Когда Феня ушла?

– Да уж четвертые сутки… Вот я и хотел попросить тебя, Степан Романыч, яви ты божецкую милость, вороти девку… Парня ежели не хотел отодрать, ну, Бог с тобой, а девку вороти. Служил я на промыслах верой и правдой шестьдесят лет, заслужил же хоть что-нибудь? Цепному псу и то косточку бросают…

– Ах, дедушка, как это ты не поймешь, что я ничего не могу сделать!.. – взмолился Карачунский. – Уж для тебя-то я все бы сделал.

– Парня я выдеру сам в волости, а вот девку-то выворотить… Главная причина – вера у Кожиных другая. Грех великий я на душу приму, ежели оставлю это дело так…

– Ну, хорошо, воротишь, а потом что? Снова девушкой от этого она ведь не сделается и будет ни девка, ни баба.

– У нас есть своя поговорка мужицкая, Степан Романыч: тем море не испоганилось, что пес налакал… Сама виновата, ежели не умела правильной девицей прожить.

– Сколько ей лет?

– Да в спажинки девятнадцатый год пошел.

– Нельзя воротить: совершеннолетняя…

– Как же, значит, я родной отец и вдруг не могу? Совершеннолетняя-то она двадцати одного будет… Нет, это не таковское дело, Степан Романыч, чтобы потакать.

– Что же, пожалуй, я могу съездить в Тайболу, – предложил Карачунский, чтобы хоть чем-нибудь угодить старику. – Только едва ли будет успех… Или приглашу Кожина сюда. Я его знаю немного.

Зыков махнул рукой.

– Ежели бы жив был Иван Герасимыч, – со вздохом проговорил он, – да, кажется, из земли бы вырыли девку. Отошло, видно, времечко… Прости на глупом слове, Степан Романыч. Придется уж; видно, через волость.

– Ничего не могу поделать! – уверял Карачунский.

Старик так и ушел, уверенный, что управляющий не хотел ничего сделать для него. Как же, главный управляющий всех Балчуговских промыслов и вдруг не может отодрать Яшку?.. Своего блудного сына Зыков нашел у подъезда. Яша присел на последнюю ступеньку лестницы, положив голову на руки, и спал самым невинным образом. Отец разбудил его пинком и строго проговорил:

– Вставай, варнак! Ужо, завтра я тебе в волости покажу, какая Кедровская дача бывает…

**VII**

Золотопромышленная компания «Генерал Мансветов и К®» имела громадную силу и совершенно исключительные полномочия. Кто такой этот генерал Мансветов, откуда он взялся, какими путями он вложился в такое громадное дело – едва ли знал и сам главный управляющий Карачунский. Это был генерал-невидимка, хотя его именем и вершились миллионные дела. Самая компания возникла на развалинах упраздненных казенных работ, унаследовав от них всю организацию, штат служащих, рабочих и территорию в пятьдесят квадратных верст. Ограничивающим условием при передаче громадных промыслов в частные руки было только одно, именно, чтобы компания главным образом вела разработку жильного золота, покрывая неизбежные убытки в таком рискованном деле доходами с россыпного золота. Затем существовала какая-то подать в пользу казны с добытого пуда, но какая – этого тоже никто не знал, как и генерала Мансветова, никогда не бывавшего на своих промыслах.

Балчуговская дача была усыпана золотом и давала миллионные дивиденды. Пока разведано было меньше половины всего пространства, а остальное служило резервом. Всего удивительнее было то, что в эту дачу попали, кроме казенных земель, и крестьянские, как принадлежавшие жителям Тайболы. Но главная сила промыслов заключалась в том, что в них было заперто рабочее промысловое население с лишком в десять тысяч человек, именно сам Балчуговский завод и Фотьянка. Рабочие не имели даже собственного выгона, не имели усадеб, – тем и другим они пользовались от компании условно, пока находившаяся под выгоном и усадьбами земля не была надобна для работ. Это совершенно исключительное положение создало натянутые отношения между компанией и местным промысловым населением. Полное безземелье отдавало рабочих в бесконтрольное распоряжение компании, – она могла делать с ними, что хотела, тем более что все население рядом поколений выросло специально на золотом деле, а это клало на всех неизгладимую печать. Промысловый человек – совершенно особенный, и, куда вы его ни суньте, он везде будет бредить золотом и легкой наживой. Это была та узда, которой можно было сдерживать рабочую массу, и этим особенно умел пользоваться Карачунский; он постоянно манил рабочих отрядными работами, которые давали

известную самостоятельность, а главное, открывали вечно недостижимую надежду легкого и быстрого обогащения. С ловкостью настоящего дипломата он умел обходить этим окольным путем самые больные места, хотя и вызывал строгий ропот таких фанатиков компанейских интересов, как старейший на промыслах штейгер Зыков. Правда, что население давно вело упорную тяжбу с компанией из-за земли, посылало жалобы во все щели и дыры административной машины, подавало прошения, засылало ходоков, но шел год за годом, а решения на землю не выходило. Когда поднимался вопрос о недоимках, всплывало и дело о размежевании. Непременный член по крестьянским делам выбивался из сил и ничего не мог поделать: рабочие стояли на своем, компания на своем. А недоимки росли с каждым годом все больше, потому что народ бедствовал серьезно, хотя и привык уже давно ко всяким бедствиям. Кричали на сходках больше молодые, которые выросли уже после воли.

Карачунский явился главным управляющим Балчуговских промыслов с критического момента перехода их от казны в руки компании. Это происходило в начале семидесятых годов. Громадное дело было доведено горными инженерами от казны до полного расстройства, так что новому управляющему пришлось всеми способами и средствами замазывать чужие грехи, чтобы не поднимать скандала. Карачунский в принципе был враг всевозможных репрессий и предпочитал всему те полумеры, уступки и сделки, которыми только и поддерживалось такое сложное дело. По наружному виду, приемам и привычкам это был самый заурядный бонвиван и даже немножко мышиный жеребчик, и никто на промыслах не поверил бы, что Карачунский что-нибудь смыслит в промысловом деле и что он когда-нибудь работал. Но такое мнение было несправедливо: Карачунский отлично знал дело и обладал величайшим секретом работать незаметно. Есть такие особенные люди, которые целую жизнь гору воротят, а их считают чуть не шалопаями. Весь секрет заключался в том, что Карачунский никогда не стонал, что завален работой по горло, как это делают все другие, потом он умел распорядиться своим временем и, главное, всегда имел такой беспечный, улыбающийся вид. Даже сам Родион Потапыч не понимал своего главного начальника и если относился к нему с уважением, то исключительно только по традиции, потому что не мог не уважать начальства. Старик не понял и того, как неприятно было Карачунскому узнать о затеях и кознях какого-то Кишкина, – в глазах Карачунского это дело было гораздо серьезнее, чем полагал тот же Родион Потапыч. Вообще неожиданно заваривалась одна из тех историй, о которых никто не думал сначала как о деле серьезном: бывают такие сложные болезни, которые начинаются с какой-нибудь ничтожной царапины или еще более ничтожного прыща.

Когда вечером старик Зыков ушел, Карачунский долго ходил по столовой, насвистывая какой-то игривый опереточный мотив.

– Вы знаете этого… этого Кишкина? – обратился он неожиданно к Оникову.

– Что-то такое слыхал… – небрежно ответил молодой человек. – Даже, кажется, где-то видал: этакий гнусный сморчок. Да, да… Когда отец служил в Балчуговском заводе, я еще мальчишкой дразнил его Шишкой. У него такая кличка… Вообще что-то такое маленькое, ничтожное и… гнусное…

Карачунский издал неопределенный звук и опять засвистал. Штамм сидел уже битых часа три и молчал самым возмутительным образом. Его присутствие всегда раздражало Карачунского и доводило до молчаливого бешенства. Если бы он мог, то завтра же выгнал бы и Штамма и этого молокососа Оникова, как людей, совершенно ему ненужных, но навязанных сильными покровителями. У Оникова были сильные связи в горном мире, а Штамм явился прямо от Мансветова, которому приходился даже какой-то родней.

– А вы как думаете, Карл Иваныч? – обратился к немцу Карачунский.

– Что я думаю? – ответил немец вопросом. – Я думаю, что будем посмотреть…

«Вот два дурака навязались!» – со злостью думал Карачунский, продолжая шагать.

Утром на другой день Карачунский послал в Тайболу за Кожиным и запиской просил его приехать по важному делу вместе с женой. Кожин поставлял одно время на золотопромывальную фабрику ремни, и Карачунский хорошо его знал. Посланный вернулся, пока Карачунский совершал свой утренний туалет, отнимавший у него по меньшей мере час. Он каждое утро принимал холодную ванну, подстригал бороду, протирался косметиками, чистил ногти и внимательно изучал свое розовое лицо в зеркале.

– Сейчас будут-с, – докладывал Ганька, ездивший в Тайболу нарочным.

Действительно, когда Карачунский пил свой утренний какао, к господскому дому подкатила новенькая кошевка. Кожин правил сам своей бойкой лошадкой, обряженной в наборную сбрую. Феня ужасно смущалась своего первого визита с мужем в Балчуговский завод и надвинула новенький шерстяной платок на самые глаза. Привязав лошадь к столбу на дворе, Кожин пошел с женой на крыльцо, где их уже ждал Ганька. Сам Карачунский встретил их в передней, а потом провел в кабинет. Феня окончательно сконфузилась и не смела поднять глаз.

– Вчера у меня был Родион Потапыч, – заговорил Карачунский без предисловий. – Он ужасно огорчен и просил меня… Одним словом, вам нужно помириться со стариком. Я не впутался бы в это дело, если бы не уважал Родиона Потапыча… Это такой почтенный старик, единственный в своем роде.

– Что же, мы всегда готовы помириться… – бойко ответил Кожин, встряхивая напомаженными волосами. – Только из этого ничего не выйдет, Степан Романыч: характерный старик, ни в какой ступе не утолчешь…

– Все-таки надо помириться… Старик совсем убит.

– И помирились бы в лучшем виде, ежели бы не наша вера, Степан Романыч… Все и горе в этом. Разве бы я стал брать Феню убегом, кабы не наша старая вера.

– Да… это действительно… Как же быть-то Акинфий Назарыч? Старик грозился повести дело судом…

– А уж что Бог даст, – решительно ответил Кожин. – По моему рассуждению так, что, конечно, старику обидно, а судом дело не поправишь… Утихомирится, даст Бог.

Феня все время молчала, а тут не выдержала и зарыдала. Карачунский сам подал ей стакан холодной воды и даже принес флакон с какими-то крепкими духами.

– Ничего, все устроится помаленьку, – утешал Карачунский, невольно любуясь этим молодым, красивым лицом.

Это молодое горе было так искренне, а заплаканные девичьи глаза смотрели на Карачунского с такой умоляющей наивностью, что он не выдержал и проговорил:

– Хорошо, я постараюсь все это устроить… только для вас, Федосья Родионовна.

– Что же ты не благодаришь Степана Романыча? – говорил Кожин, подталкивая растерявшуюся жену локтем. – Они весьма нам могут способствовать…

– Не нужно, не нужно… – отстранил благодарность Карачунский, когда Феня сделала движение поцеловать у него руку. – Для такой красавицы можно и без благодарностей сделать все.

Когда Кожины уезжали, Карачунский стоял у окна и проводил их глазами за ворота. Насвистывая свой опереточный мотив и барабаня пальцами по оконному стеклу, он думал в таком порядке: почему женщина всегда изящнее мужчины, и где тайна этой неотразимой женской прелести? Взять хоть ту же Феню, какая она красавица… Раньше он видел ее мельком у отца, но не обратил внимания. И такая красавица родится у какого-нибудь Родиона Потапыча!.. Удивительно!.. А еще удивительнее то, что такая свежая, благоухающая красота достанется в руки какому-нибудь вахлаку Кожину. Это просто несправедливо. В голове Карачунского зароились ревнивые мысли по адресу Фени, и он даже вздохнул. Вот и седые волосы у него, а сердце все молодо, да еще как молодо… Разве Кожины понимают, как нужно любить хорошенькую женщину? Карачунский сделал даже гримасу и щелкнул пальцами.

Чтобы немного проветриться, Карачунский отправился на золотопромывальную фабрику, работавшую и по праздникам ввиду спешки. За зиму накопилось много работы. Весь двор был завален кучками золотоносного кварца, добытого рабочими. Фабрика не успевала истолочь его и промыть, а рабочим приходилось ждать очереди по месяцам, что вызывало ропот и недовольство. С внешней стороны золотопромывальня представляла собой очень неказистый вид. На месте бывшего каторжного винокуренного завода сейчас стояло всего два деревянных корпуса. В одном работала толчея, а в другом совершалась промывка измельченного кварца на шлюзах, покрытых медными амальгамированными ртутью листами. В первом корпусе работала небольшая паровая машина, так как воды в заводском пруде не хватало и на ползимы. Вообще обстановка самая жалкая, не имевшая в себе ничего импонирующего. Эта несчастная фабрика постоянно возмущала Карачунского своим убожеством, и он мечтал о грандиозном деле. Но что поделаешь, когда и тут приходилось только сводить концы с концами, потому что компания требовала только дивидендов и больше ничего знать не хотела, да и главная сила Балчуговских промыслов заключалась не в жильном золоте, а в россыпном.

На фабрике Карачунский нашел все в порядке. Паровая машина работала, толчея гремела своими пестами, в промывальне шла промывка. Всех рабочих «обращалось» на заводе едва пятьдесят человек в две смены: одна выходила в ночь, другая днем. На «пьяном дворе» Карачунский осмотрел кучки добытого старателями кварца и только покачал головой. Хорошего ничего не оказывалось, за исключением одной кучки из Ульянова кряжа, за Фотьянкой. Здесь Карачунский встретил к своему удивлению Родиона Потапыча. Старик сидел у кучки кварца на корточках и внимательно рассматривал отдельные куски.

– Ну, дедушка, что новенького?

– Да так, из-за хлеба на воду старатели добывают… – угрюмо отвечал Зыков, швыряя куски кварца в кучу.

Карачунский осмотрел эту кучку и понял, что старик не хочет выдать новой находки. Какой-то неизвестный старатель из Фотьянки отыскал в Ульяновском кряже хорошую жилу.

С «пьяного двора» они вместе прошли на толчею. Карачунский велел при себе сейчас же произвести протолчку заинтересовавшей его кучки кварца. Родион Потапыч все время хмурился и молчал. Кварц был доставлен в ручном вагончике и засыпан в толчею. Карачунский присел на верстак и, закурив папиросу, прислушивался к громыхавшим пестам. На других золотых промыслах на Урале везде дробили кварц бегунами, а толчея оставалась только в Балчуговском заводе, – Карачунский почему-то не хотел ставить бегунов.

– Вот что, Родион Потапыч, – заговорил Карачунский после длинной паузы. – Я посылал за Кожиным… Он был сегодня у меня вместе с женой и согласен помириться, то есть просить прощения.

Зыков точно испугался и несколько времени смотрел на Карачунского ничего не понимающими глазами, а потом махнул рукой и проговорил:

– Поздно, Степан Романыч… Я… я проклял Феню.

– А это что значит: проклял?

– А встал перед образом и проклял. Теперь уж, значит, все кончено… Выворотится Феня домой, тогда прощу.

– Ну, это ваше дело, – равнодушно заметил Карачунский. – Я свое слово сдержал… Это мое правило.

Толчея соединялась с промывальной, и измельченный в порошок кварц сейчас же выносился водяной струей на сложный деревянный шлюз. Целая система амальгамированных медных листов была покрыта деревянными ставнями, – это делалось в предупреждение хищничества. Промытый заряд новой руды дал блестящие результаты. Доводчик Ераков, занимавшийся съемкой золота, преподнес на железной лопаточке около золотника амальгамированного золота, имевшего серый оловянный цвет.

– Это с двадцати пудов? – заметил Карачунский. – Недурно… А кто нашел жилу?

– Да их тут целая артель на Ульяновом кряже близко года копалась, – объяснил уклончиво Зыков. – Все фотьянские… Гнездышко выкинулось, вот и золото.

Это открытие обрадовало Карачунского. Можно будет заложить на Ульяновом кряже новую шахту, – это будет очень эффектно и в заводских отчетах и для парадных прогулок приезжающих на промыслы любопытных путешественников. Значит, жильное дело подвигается вперед и прочее.

В этом хорошем настроении Карачунский возвращался домой, но оно было нарушено встречей на мосту целой группы своих служащих. Заводская контора была для него самым больным местом, потому что именно здесь он чувствовал себя окончательно бессильным. Всех служащих насчитывалось около ста человек, а можно было сократить штат наполовину. Но дело в том, что этот штат все увеличивался, потому что каждый год приезжали из Петербурга новые служащие, которым нужно было создавать место и изобретать занятия. Это была настоящая саранча, очень прожорливая, ничего не умевшая и ничего не желавшая делать. Таких господ высылали из Петербурга разные влиятельные особы, стоявшие близко к делам компании. У каждой такой особы находились бедные родственники, подающие надежды молодые люди и целый отдел «пострадавших», которым необходимо было скрыться куда-нибудь подальше. И вот к Карачунскому являлись разных возрастов молодые люди, снабженные самыми трогательными рекомендациями. И с какими фамилиями, чуть не прямые потомки Синеуса и Трувора! Один был даже с фамилией Монморанси. Про себя Карачунский называл свою заводскую контору богадельней и считал ее громадным злом, съедавшим напрасно десятки тысяч рублей.

«Съедят меня эти Монморанси!» – думал Карачунский, напрасно стараясь припомнить что-то приятное, смутно носившееся в его воображении.

**VIII**

Пока в воскресенье Родион Потапыч ходил на золотопромывальную фабрику, дома придумали средство спасения, о котором раньше никому как-то не пришло в голову.

Яша запировал с Мыльниковым, а из мужиков оставался дома один Прокопий. Первую мысль о баушке Лукерье подала Марья.

– Одна она управится с тятенькой, – говорила девушка потерявшей голову матери, – баушка Лукерья строгая и все дело уладит.

– Да ведь проклял он родное детище, Марьюшка, – стонала Устинья Марковна, заливаясь слезами. – Свою кровь не пожалел…

– Уж баушка Лукерья знает, что сделать… Пока тятенька на заводе, Прокопий сгоняет в Фотьянку.

Прокопий верхом отправился в Фотьянку. Он вернулся всего часа через два. Баушка Лукерья приехала тоже верхом, несмотря на свои шестьдесят лет с большим хвостиком. Это была еще крепкая старуха. Она зимой носила мужскую бобровую шапку и штаны, как мужик. Высокая, крепкая, баушка Лукерья еще цвела какой-то старческой красотой. Лицо у нее было такое свежее, а серые глаза смотрели со строгой ласковостью. Она себя называла «расейкой» в отличие от балчуговских баб, некрасивых и скуластых. Сын, Петр Васильевич, нисколько не походил на мать.

– Ну, что у вас тут случилось? – строго спрашивала баушка Лукерья. – Эй, Устинья Марковна, перестань хныкать… Экая беда стряслась с Феней, и девушка была, кажись, не замути воды. Что же, грех-то не по лесу ходит, а по людям.

С появлением баушки Лукерьи все в доме сразу повеселели и только ждали, когда вернется грозный тятенька. Устинья Марковна боялась, как бы он не проехал ночевать на Фотьянку, но Прокопию по дороге кто-то сказал, что старика видели на золотой фабрике. Родион Потапыч пришел домой только в сумерки. Когда его в дверях встретила баушка Лукерья, старик все понял.

– Иди-ка сюда, воевода, – ласково говорила старуха. – Иди… видишь, в гости к тебе приехала…

– Здравствуй, баушка. И то давно не видались.

– Горденек стал, Родион Потапыч… На плотине постоянно толчешься у нас, а нет, чтобы в Фотьянку завернуть да старуху проведать.

– Некогда все… Собирался не одинова, а тут какая-нибудь причина и выйдет…

– У тебя все причина… А вот я не погордилась и сама к тебе приехала. Угощай гостью…

– Не ко времю гоститься вздумала…

– Вот что я тебе скажу, Родион Потапыч, – заговорила старуха серьезно, – я к тебе за делом… Ты это что надумал-то? Не похвалю твою Феню, а тебя-то вдвое. Девичья-то совесть известная: до порога, а ты с чего проклинать вздумал?.. Ну, пожурил, постращал, отвел душу и довольно…

– Что уж теперь говорить, баушка: пролитую воду не соберешь…

– Да ты слушай, умная голова, когда говорят… Ты не для того отец, чтобы проклинать свою кровь. Сам виноват, что раньше замуж не выдавал. Вот Марью-то заморил в девках по своей гордости. Верно тебе говорю. Ты меня послушай, ежели своего ума не хватило. Проклясть-то не мудрено, а ведь ты помрешь, а Феня останется. Ей-то еще жить да жить… Сам, говорю, виноват!.. Ну, что молчишь?..

– Татьяну я не проклинал, хотя она и вышла из моей воли, – оправдывался старик, – зато и расхлебывает теперь горе…

– И тоже тебе нечем похвалиться-то: взял бы и помог той же Татьяне. Баба из последних сил выбилась, а ты свою гордость тешишь. Да что тут толковать с тобой… Эй, Прокопий, ступай к отцу Акакию и веди его сюда, да чтобы крест с собой захватил: разрешительную молитву надо сказать и отчитать проклятие-то. Будет господа гневить… Со своими грехами замаялись, не то что других проклинать.

Родион Потапыч был рад, что подвернулась баушка Лукерья, которую он от души уважал. Самому бы не позвать попа из гордости, хотя старик в течение суток уже успел одуматься и давно понял, что сделал неладно. В ожидании попа баушка Лукерья отчитала Родиона Потапыча вполне, обвинив его во всем.

Батюшка, о. Акакий, был еще совсем молодой человек, которого недавно назначили в Балчуговский приход, так что у него не успели хорошенько даже волосы отрасти. Он был не мало смущен таким редким случаем, когда пришлось разрешать от проклятия. Порывшись в требнике, он велел зажечь свечи перед образом, надел епитрахиль и начал читать по требнику установленные молитвы. Баушка Лукерья поставила Родиона Потапыча на колени и строго следила за ним все время. Устинья Марковна стояла у печки и горько рыдала, точно хоронила Феню.

Когда обряд кончился и все приложились ко кресту, о. Акакий сказал коротенькое слово о любви к ближнему, о прощении обид, о безграничном милосердии Божием.

– Нет, ты ему, отец, епитимию определи, – настаивала баушка Лукерья. – Надо так сделать, чтобы он чувствовал…

Батюшка согласился и на это, назначив по десяти земных поклонов в течение сорока дней.

– А теперь и о деле потолкуем, – решила баушка Лукерья. – Садись, отец Акакий, и образумь нас, темных людей…

О. Акакий уже знал, в чем дело, и опять не знал, что посоветовать. Конечно, воротить Феню можно, но к чему это поведет: сегодня воротили, а завтра она убежит. Не лучше ли пока ее оставить и подействовать на мужа: может, он перейдет из-за жены в православие.

– Нет, это пустое, отец, – решила баушка Лукерья. – Сам-то Акинфий Назарыч, пожалуй бы, и ничего, да старуха Маремьяна не дозволит… Настоящая медведица и крепко своей старой веры держится. Ничего из этого не выйдет, а Феню надо воротить… Главное дело, она из своего православного закону вышла, а наши роды испокон века православные. Жиденький еще умок у Фени, вот она и вверилась…

– Силой нельзя заставить людей быть тем или другим, – заметил о. Акакий. – Мне самому этот случай неприятен, но не сделать бы хуже… Люди молодые, все может быть. В своей семье теперь Федосья Родионовна будет хуже чужой…

– А я ее к себе возьму и выправлю, – решила старуха. – Не погибать же православной душе… Уж я ее шелковой сделаю.

– Будь ей заместо матери… – упрашивала Устинья Марковна, кланяясь в ноги. – Я-то слаба, не умею, а Родион Потапыч перестрожит. Ты уж лучше…

– У меня отойдет и дурь свою бросит…

О. Акакий посидел, сколько этого требовали приличия, напился чаю и отправился домой. Проводив его до порога, Родион Потапыч вернулся и проговорил:

– Славный бы попик, да молод больно…

– Ему же лучше, что и молод и умен. Вон какой очесливый да скромный…

– Ну, вот что, други мои милые, засиделась я у вас, – заговорила баушка Лукерья. – Стемнелось совсем на дворе… Домой пора: тоже не близкое место. Поволокусь как ни на есть…

– Да ты верхом, что ли, пригнала? – сурово спросил Родион Потапыч.

– Пешком-то я угорела уж ходить: было похожено вдосталь…

Старуха сходила в заднюю избу проститься «с девками», а потом надела шапку и стала прощаться.

– Куда ты ускорилась-то? – спрашивал Родион Потапыч, которому не хотелось отпускать старуху. – Ночевала бы, баушка, а то еще заедешь куда-нибудь в ширп…

– Невозможно мне… Гребтится все, как там у нас на Фотьянке. Петр-то Васильич мой что-то больно ноне стал к водочке припадать. Связался с Мыльниковым да с Кишкиным… Не гожее дело.

– Золото хотят искать… Эх, бить-то их некому, баушка!.. А я вот что тебе скажу, Лукерья: погоди малость, я оболокусь да провожу тебя до Краюхина увала. Мутит меня дома-то, а на вольном воздухе, может, обойдусь…

– И любезное дело, – согласилась баушка, подмигивая Устинье Марковне. – Одной-то мне, пожалуй, и опасливо по нонешнему времю ездить, а сегодня еще воскресенье… Пируют у вас на Балчуговском, страсть пируют. Восетта[2] еду я также на вершной, а навстречу мне ваши балчуговские парни идут. Совсем молодые, а пьяненькие… Увидали меня, озорники, и давай галиться: «Тпру, баушка!..» Ну, я их нагайкой, а они меня обозвали что ни есть хуже, да еще с седла хотели стащить…

– Собака-народ стал, баушка…

Родион Потапыч оделся, захватил с собой весь припас, помолился и, не простившись с домашними, вышел. Прокопий помог старухе сесть в седло.

– Вот говорят, что гусь свинье не товарищ, – шутила баушка Лукерья, выезжая на улицу.

Ночь была темная, и только освещали улицу огоньки, светившиеся кое-где в окнах. Фабрика темнела черным остовом, а высокая железная труба походила на корабельную мачту. Издали еще волчьим глазом глянул Ермошкин кабак: у его двери горела лампа с зеркальным рефлектором. Темные фигуры входили и выходили, а в открывшуюся дверь вырывалась

смешанная струя пьяного галденья.

– Тьфу!.. – отплюнулся Родион Потапыч, стараясь не глядеть на проклятое место. – Вот, баушка, до чего мы с тобой дожили: не выходит народ из кабака… Днюют и ночуют у Ермошки.

– Ох, и не говори, Родион Потапыч! У нас на Фотьянке тоже мужики пируют без утыху… Что только и будет, как жить-то будут. Ополоумели вконец… Никакой страсти не стало в народе.

– Глаза бы не глядели, – с грустью отвечал Родион Потапыч, шагая по середине улицы рядом с лошадью. – Охальники… И нет хуже, как эти понедельники. Глаза бы не глядели, как работнички-то наши выйдут завтра на работу… Как мухи травленые ползают. Рыло опухнет, глаза затекут… тьфу!..

Поровнявшись с кабаком, они замолчали, точно ехали по зачумленному месту. Родион Потапыч несколько раз волком посмотрел на кабацкую дверь и еще раз плюнул. Угнетенное настроение продолжалось на расстоянии целой улицы, пока кабацкий глаз не скрылся из виду.

– Помнишь место-то?.. – тихо проговорила баушка Лукерья, кивая головой в сторону черневшей «пьяной конторы». – Много тут наших варнацких слез пролито…

Старик тряхнул головой и ничего не ответил.

– Когда нашу партию из Расеи пригнали, – продолжала тихо старуха, точно боялась разбудить каторжные тени, витавшие здесь, – дорога-то шла через Тайболу… Ну, входит партия в Балчуговский, а покойница-сестрица, Марфа Тимофеевна, поглядела этак кругом и шепчет мне: «Луша, тут наша смертынька». Обыкновенно, там, в Расее-то, и слыхом не слыхали, что такое есть каторга, а только словом-то пугали: «Вот приведут в Сибирь на каторгу, так там узнаете…» И у меня сердце екнуло, когда завиделся завод, а все-таки я потихоньку отвечаю Марфе Тимофеевне: «Погляди, глупая, вон церковь-то… Помрем, так хоть похоронить есть кому!» Глупы-глупы, а это соображаем, что без попа церковь не стоит… И обрадели мы вот этой самой балчуговской церкви, как родной матери. Да и вся наша партия тоже… Известно, женское дело, страшливое: вот, мол, где она, эта самая каторга. По этапам-то вели нас близко полугода, так всего натерпелись и думаем, что в каторге еще того похуже раз на десять.

Так в разговорах они незаметно выехали за околицу. Небо начинало проясняться. Низкие зимние тучи точно раздвинулись, открыв мигавшие звездочки. Немая тишина обступала кругом все. Подъем на Краюхин увал точно был источен червями. Родион Потапыч по-прежнему шагал рядом с лошадью, мерно взмахивая правой рукой.

– Привели-то нас, как теперь помню, под вечер… – продолжала баушка Лукерья. – Мужицкая каторга каменная, а наша, бабья, – деревянная и деревянным тыном обнесена. Вот завели партию во двор, выстроили, а покойник Антон Лазарич уж на крыльце стоит и этак из-под ручки нас оглядывает, а сам усмехается. В окнах у казармы тоже все залеплено арестантками: любопытно на свеженьких поглядеть… Этак с крайчику, слева значит, я стою, а Марфа Тимофеевна жмется около меня: она в партии-то всех помоложе была и из себя красивее. Ну, Антон Лазарич…

– Молчи, ради Христа! Молчи… – простонал Родион Потапыч.

– Дело прошлое, что греха таить… А покойничек Антон Лазарич, не тем будь помянут, больно уж погонный был старичок до девок. Седенький, лысенький, ручки трясутся, а ни одной не пропустит… Баб не трогал, ни-ни, потому, говорит, «сам я женатый человек, и нехорошо чужих жен обижать». Кабы не эта его повадка, так и лучше бы не надо нам смотрителя: добреющий

человек и богобоязливый… Каждое воскресенье в церкви вперед всех стоит, молится, а сам слезьми заливается. И жена ведь у него молодая была… О, грехи, грехи!..

– Охальник был… – сурово заметил Родион Потапыч. – Собаке собачья и смерть.

– Понапрасну погинул, это уж что говорить! – согласилась баушка Лукерья, понукая убавившую шаг лошадь. – Одна девка-каторжанка издалась упрямая и чуть его не зарезала, черкаска-девка… Ну, приходит он к нам в казарму и нам же плачется: «Вот, говорит, черкаска меня ножиком резала, а я человек семейный…» Слезьми заливается. Как раз через три дня его и порешили, сердешнаго.

– Бузун его зарезал… С нашей же каторги беглый. Он около Балчугов бродяжил.

– А пошто же на палача Никитушку говорили?

– Здря народ болтал…

Молчание. Начался подъем на Краюхин увал. Лошадь вытягивает шею и тяжело дышит. Родион Потапыч, чтобы не отстать, ухватывается одной рукой за лошадиную гриву.

– Сказывают, Никитушку недавно в городу видели, – говорит старуха. – Ходит по купцам и милостыньку просит… Ох-хо-хо!.. А прежде-то какая ему честь была: «Никита Степаныч, отец родной… благодетель…» А он-то бахвалится.

– Пьяный был без просыпа… Перевозили его с одной каторги на другую, а он ничего не помнит.

– Бывал он и у нас в казарме… Придет, поглядит и молвит: «Ну, крестницы мои, какое мне от вас уважение следует? Почитайте своего крестного…» Крестным себя звал. Бабенки улещали его и за себя и за мужиков, когда к наказанию он выезжал в Балчуги. Страшно было на него смотреть на пьяного-то…

– Вот ты, Лукерья, про каторгу раздумалась, – перебил ее Родион Потапыч, – а я вот про нынешние порядки соображаю… Этак как раскинешь умом-то, так ровно даже ничего и не понимаешь. В ум не возьмешь, что и к чему следует. Каторга была так каторга, солдатчина была так солдатчина, одним словом, казенное время… А теперь-то что?.. Не то что других там судить, а у себя в дому, как гнилой зуб во рту… Дальше-то что будет?..

– На промыслах везде одни порядки, Родион Потапыч: ослабел народ, измалодушествовался… Главная причина: никакой народу страсти не стало… В церковь придешь: одни старухи. Вконец измотался народ.

В этих разговорах они добрались до спуска с Краюхина увала, где уже начинались шахты. Когда лошадь баушки Лукерьи поровнялась с караушкой Спасо-Колчеданской шахты, старуха проговорила:

– Ну, прощай, Родион Потапыч… Так ты тово, Феню-то добывай из Тайболы да вези ко мне на Фотьянку, утихомирим девку, коли на то пойдет.

Родион Потапыч что-то хотел сказать, но только застонал и отвернулся: по лицу у него катились слезы. Баушка Лукерья отлично поняла это безмолвное горе: «Эх, если б жива была Марфа Тимофеевна, разве бы она допустила до этого!..»

**IX**

Неожиданное появление Родиона Потапыча на шахте никого не удивило, потому что рабочие уже привыкли к подобным сюрпризам. К суровому старику относились с глубоким уважением именно потому, что он видел каждое дело насквозь, и не было никакой возможности обмануть его в ничтожных пустяках. Всякую промысловую работу Родион Потапыч прошел собственным горбом и «видел на два аршина в землю», как говорили про него рабочие. Это, впрочем, не мешало ругать его за глаза иродом, жидом и пр. Балчуговское воскресенье отдалось и на шахтах: коморник Мутовка, сидевший в караулке при шахте, усиленно моргал подслеповатыми глазами, у машиниста Семеныча, молодого парня-франта, язык заплетался, откатчики при шахте мотались на ногах, как чумная скотина.

– Да вы тут совсем сбесились! – гремел старик на подгулявших рабочих. – Чему обрадовались-то, черти? А где подштейгер?

Подштейгер Лучок, седой старик, был совсем пьян и спал где-то за котлами, выбрав тепленькое местечко. Это уж окончательно взбесило Родиона Потапыча, и он начал разносить пьяную команду вдребезги. Проснувшийся Лучок вдобавок забунтовал, что иногда случалось с ним под пьяную руку.

– А ты не больно того… – огрызался он из своей засады. – Слава Богу, не казенное время, чтобы с живого человека три шкуры драть! Да…

– Ах, варвары!.. А кто станет отвечать, ежели вы, подлецы, шахту опустите!..

– Обыкновенно, ты ответишь, – сказал Лучок. – Ты жалованья-то пятьдесят целковых получаешь, ну, значит, кругом и будешь виноват… А с меня за двадцать-то целковых не много возьмешь.

– Ты еще разговаривать у меня, мокрое рыло?!

– И скажу завсегда.

Взбешенный Родион Потапыч собственноручно извлек Лучка из-за котлов, нахлобучил ему шапку на пьяную башку и вытолкал из корпуса, а пожитки подштейгера велел выбросить на дорогу.

– Ступай, пожалуйся на меня, пес! – кричал старик вдогонку лукавому рабу. – Я на твое место двадцать таких-то найду…

– А мне плевать! – слышался из темноты голос Лучка. – Ишь, как расшеперился… Нет, брат, не те времена.

Эта комедия изгнания Лучка со службы проделывалась в год раза три-четыре, благодаря его пьяной строптивости. Несколько дней после такой оказии Лучок высиживал в кабаке Ермошки, а потом шел к Родиону Потапычу с повинной. Составлялось примирение на непременном условии, что это «в последний раз». Все знали, что настоящая история закончится миром, потому что Родион Потапыч не мог жить без Лучка и никому не доверял, кроме него, чем Лучок и пользовался. Если бы не пьянство, Лучок давно «ходил бы в штегерях», а может быть, и главным штейгером. Знал он дело на редкость, и в трудных случаях Родион Потапыч советовался только с ним, потому что горных инженеров и самого Карачунского в приисковом деле в грош не ставил. У Лучка была особенная смелость, которой недоставало Родиону Потапычу, – живо все сообразит и из собственной кожи вылезет, когда это нужно.

По-настоящему следовало бы спуститься в шахту и осмотреть работы, но Родион Потапыч вдруг как-то обессилел, чего с ним никогда не бывало. Он ни разу в жизнь свою не хворал и теперь только горько покачал головой. Эта пустячная ссора с пьяным Лучком окончательно подорвала старика, и он едва дошел до своей конторки, отгороженной в уголке машинного корпуса. Ключ от конторки был всегда с ним. Здесь он иногда и ночевал, прикорнув на засаленную деревянную скамейку. Родион Потапыч засветил сальную свечу и присел к столу. В маленькое оконце, дребезжавшее от работы паровой машины, глядела ночь черным пятном; под полом, тоже дрожавшим, с хрипеньем и бульканьем бежала поднятая из шахты рудная вода; слышно было, как хрипел насос и громыхали чугунные шестерни. Все это было как всегда, как запомнит себя Родион Потапыч на промыслах, только сам он уж не тот. Мысль о бессильной, жалкой старости явилась для него в такой яркой и безжалостной форме, что он даже испугался. Что же это такое?..

Он присел к столу, облокотился и, положив голову на руку, крепко задумался. Семейные передряги и встреча с баушкой Лукерьей подняли со дна души весь накопившийся в ней тяжелый житейский осадок.

Родился и вырос Родион Потапыч дворовым человеком в Тульской губернии. Подростком он состоял при помещичьем доме в казачках, а в шестнадцать на свой грех попал в барскую охоту. Не угодил он барину на волчьей облаве чем-то, кинулся на него барин с поднятым арапником… Окончание этого эпизода барской охоты было уже в Балчуговском заводе, куда Родион Потапыч был приведен в кандалах для отбытия каторжных работ. Но промысловая каторга для него явилась спасением; серьезный не по летам, трудолюбивый, умный и честный, он сразу выдвинулся из своей арестантской среды. Смотрителем тогда был тот самый Антон Лазарич, о котором рассказывала баушка Лукерья. Он очень полюбил молодого Зыкова и устроил так, что десятилетняя каторга для него была не в каторгу, а в обыкновенную промысловую работу, с той разницей, что только ночевать ему приходилось в остроге. Новая работа полюбилась Родиону Потапычу, и он прирос к ней всей душой. Да, что только было тогда, теперь даже и вспоминать как-то странно, точно все это во сне привиделось. Работа кипела, благо каторжный труд ничего не стоил. С одной стороны работал каторжный винокуренный завод, а с другой – золотые промыслы. Балчуговский завод походил на военный лагерь, где вставали и ложились по барабану, обедали и шабашили по барабану и даже в церковь ходили по барабану. На работу выступали поротно и повзводно, отбивая шаг. При встрече с начальством все вытягивалось в струнку и делало на-караул даже на работах. На площади между каторгой и «пьяной конторой» в праздники производилось настоящее солдатское учение пригнанных рекрутов, и тут же происходили жесточайшие экзекуции. С одной стороны орудовал «крестный» Никитушка, а с другой – солдатская «зеленая улица». Сквозь строй гоняли каждое воскресенье, а для большего эффекта приводили народ для этого случая даже с Фотьянки. Кроме своего каторжного начальства и солдатского для рекрутов, в распоряжении горных офицеров находилось еще два казачьих батальона со специальной обязанностью производить наказания на самом месте работ; это было домашнее дело, а «крестный» Никитушка и «зеленая улица» – парадным наказанием, главным образом на страх другим. Когда партия рабочих выступала куда-нибудь на прииск, за ней вместе с провиантом следовал целый воз розог, точно их нельзя было приготовить на месте действия. Военное горное начальство в этом случае рассуждало так, что порядок наказания прежде всего, а работа пойдет сама собой.

Первые два года Родион Потапыч работал на винокуренном заводе, где все дело вершилось исключительно одним каторжным трудом, а затем попал в разряд исправляющихся и был отправлен на промыслы. Винокуренный завод до самого конца оставался за каторгой, а на промыслы высылались только отбывшие каторгу. Родион Потапыч застал Балчуговский завод еще совсем небольшим. Селение шло только по Нагорной высоте, а Низы заселились уже при

нем, когда посадили на промыслы сразу три рекрутских набора. Из ссыльнопоселенцев постепенно выросла Фотьянка, которая служила главным каторжным гнездом. На промыслах Родион Потапыч прошел всю работу, начиная с простого откатчика, отвозившего на тачке пустую землю в отвалы. Сколько теперь этих отвалов кругом Балчуговского завода; страшно подумать о том казенном труде, который был затрачен на эту египетскую работу в полном смысле слова. Людей не жалели, и промыслы работали «сильной рукой», то есть высылали на россыпь тысячи рабочих. Добытое таким даровым трудом золото составляло для казны уже чистый дивиденд. Родион Потапыч скоро выбился на промыслах из простых рабочих и попал в десятники. С делом он освоился, и начальство ценило в нем его фанатическое трудолюбие. Чуть только не свихнулся он, когда встретил свою первую жену Марфу Тимофеевну. Ее только что пригнали из России, и Антон Лазарич сразу заметил красивую каторжанку. Ей было всего 19 лет, а попала она из помещичьей девичьей на каторгу, как значилось в списке, за кражу сахара. Сестра Лукерья пришла вместе с ней и значилась в списке виновной в краже меда. Чья-то рука изощряла остроумие над судьбой двух сестер, но они должны были отбыть положенные три года, а затем поступили в разряд ссыльных и переселены были на Фотьянку. Антон Лазарич прозвал Марфу Тимофеевну «сахарницей» и на третий же день потребовал ее к себе «по секретному делу». Сестра Лукерья избежала этого секретного дела только потому, что Антона Лазарича вовремя успели зарезать.

– Одна сестра с сахаром, другая с медом, – шутил смотритель, – а я до сахару большой охотник…

Родион Потапыч числился в это время на каторге и не раз был свидетелем, как Марфа Тимофеевна возвращалась по утрам из смотрительской квартиры вся в слезах. Эти ли девичьи слезы, девичья ли краса, только начал он крепко задумываться… Заметил эту перемену даже Антон Лазарич и не раз спрашивал:

– Что это с тобой Родион?.. Как будто ты не в себе…

– Неможется, Антон Лазарич, – сурово отвечал Зыков, стараясь не глядеть на каторжного насильника.

Запала крепкая и неотвязная дума Родиону Потапычу в душу, и он только выжидал случая, чтобы «порешить» лакомого смотрителя, но его предупредил другой каторжанин, Бузун, зарезавший Антона Лазарича за недоданный паек. Гора свалилась с плеч, а потом Марфа Тимофеевна была переведена на Фотьянку, где он с ней сейчас же познакомился и сейчас же женился. Много было каторжанок, и ни одна не осталась непристроенной: все вышли замуж, развели семьи и населили Фотьянку и Нагорную сторону.

Замечательно, что среди каторжанок не было ни одной женщины легкого поведения.

Хорошо и любовно зажил Родион Потапыч с молодой женой и никогда ни одним словом не напоминал ее прошлого: подневольный грех в счет не шел. Но Марфа Тимофеевна все время замужества оставалась туманной и грустной и только перед смертью призналась мужу, что ее заело.

– Не девушкой я за тебя выходила замуж… – шептали побелевшие губы. – Нет моей в том вины, а забыть не могла. Чем ты ко мне ласковее, тем мне страшнее. Молчу, а у самой сердце кровью обливается.

– Марфа, Бог с тобой, какие ты слова говоришь…

– Я сама себя осудила, Родион Потапыч, и горше это было мне каторги. Вот сыночка тебе

родила, и его совестно. Не корил ты меня худым словом, любил, а я все думала, как бы мы с тобой век свековали, ежели бы не моя злосчастная судьба.

Молодой умерла Марфа Тимофеевна и в гробу лежала такая красивая да белая, точно восковая. Вместе с ней белый свет закрылся для Родиона Потапыча, и на всю жизнь его брови сурово сдвинулись. Взял он вторую жену, но счастья не воротил, по пословице: покойник у ворот не стоит, а свое возьмет. Поминкой по любимой жене Марфе Тимофеевне остался беспутный Яша…

Жизнь для Родиона Потапыча прошла в суровой работе изо дня в день. Он точно раз и навсегда замерз на своем промысловом деле, да больше и не оттаял. Трудно приходилось – молчал, хорошо – молчал, а потом превратился в живую машину. Только раз в течение своей службы он покривил душой, именно в пятидесятых годах, когда на Урал тайно приехал казенный фискал. Несмотря на военные строгости при разработке золота, рабочие ухитрялись его воровать. То же самое было и на других казенных и частных промыслах. Были и свои скупщики, которые проникли и в заколдованный круг Балчуговской каторги. Сыщик успел купить золото кой у кого, но один Родион Потапыч вызнал в нем настоящую птицу и пустил стороной слух, чтобы спасти десятки легковерных людей. Пожалел он дураков… И действительно, Балчуговский завод пострадал меньше, а на других промыслах разразилась страшная гроза. Сотни были прогнаны сквозь строй и сосланы в Восточную Сибирь в бессрочную каторгу. Впрочем, никто не знал на Балчуговских промыслах, кто первый догадался относительно фискала. Родион Потапыч молчал, как будто не его дело. Тогда, между прочим, спасся только чудом Кишкин, замешанный в этом деле: какой-нибудь один час, и он улетел бы в Восточную Сибирь, да еще прошел бы насквозь всю «зеленую улицу».

«Вот я ему, подлецу, помяну как-нибудь про фискалу-то, – подумал Родион Потапыч, припоминая готовившееся скандальное дело. – Эх, надо бы мне было ему тогда на Фотьянке узелок завязать, да не догадался… Ну, как-нибудь в другой раз».

С лишком тридцать пять лет «казенного времени» отбыл Родион Потапыч, когда объявлена была воля. Он совершенно не понимал этого события, никак не укладывавшегося в его голову. Родион Потапыч даже как-то совсем растерялся, особенно когда упразднили каторгу, винокуренный завод закрыли, а казенным промысловым работам пришел конец. Мысль о том, что теперь нужно будет платить каждому рабочему, просто возмущала его. Помилуйте, такая орава рабочих, и вдруг каждому плати, а что же казне-то останется? Казенные работы, переведенные на вольнонаемный труд и лишенные военной закваски, сразу захудали, и добытое этим путем золото, несмотря на готовый инвентарь и всякое промысловое хозяйство, стало обходиться казне в пять раз дороже его биржевой стоимости. Некоторое время поддержала падавшее дело открытая на Фотьянке Кишкиным богатейшая россыпь, давшая в течение трех лет больше ста пудов золота, а дальше случился уже скандал – золотник золота обходился казне в 27 рублей при номинальной его стоимости в 4 рубля. Немало смущали Родиона Потапыча горные инженеры.

Последние пять лет Балчуговские заводы существовали только на бумаге, когда явился генерал Мансветов и компания. Кое-как поддерживалась одна шахта, да работали местами старатели. Водворение компании сразу подняло дело, и Родион Потапыч ожил, перенеся на компанейское дело все свои крепостные симпатии. Когда первое опьянение волей миновало, оказалось, что промысловое население очутилось в полной экономической зависимости от компании. Между тем это было казенное промысловое население, несколькими поколениями воспитавшееся на своем приисковом деле. В Низах бывшие «некрута» делали отчаянные попытки прожить своим средствием, и здесь некоторое время процветали столяры и сапожники. Нагорная и Фотьянка, эти старые каторжные гнезда, остались верными своему

промысловому делу и не увлекались никакими сторонними заработками.

С водворением на Балчуговских промыслах компанейского дела Родион Потапыч успокоился, потому что хотя прежней каторжной и военно-горной крепи уже не существовало, но ее заменила целая система невидимых нитей, которыми жизнь промыслового населения была опутана еще крепче. Промысловому рабочему некуда было деваться, как он ни изворачивался. Пример Низов служил в этом случае лучшим доказательством. Не было внешнего давления, как в казенное время, но «вольные» рабочие со своей волчьей волей не знали куда деваться и шли работать к той же компании на самых невыгодных условиях, как вообще было обставлено дело: досыта не наешься и с голоду не умрешь.

Открытие Кедровской казенной дачи для вольных работ изменило весь строй промысловой жизни, и никто не чувствовал этого с такой рельефностью, как Родион Потапыч, этот промысловый испытанный волк.

# Часть вторая

## I

Каждое утро у кабака Ермошки на лавочке собиралась целая толпа рабочих. Издали эта публика казалась ворохом живых лохмотьев – настоящая приисковая рвань. А солнышко уже светило по-весеннему, и рвань ждала того рокового момента, когда «тронется вешняя вода». Только бы вода взялась, тогда всем будет работа… Это были именно чающие движения воды.

Кабак Ермошки помещался в собственном полукаменном домике, отстроенном заново года два назад. Нижний этаж был занят наполовину кабаком и наполовину галантерейной и суровской торговлей, так что получалось заведение вполне. Дом стоял на углу, как раз напротив золотопромывальной фабрики. Раньше он принадлежал Кишкину. В конце улицы красным пятном выделялись кирпичные стены бывшей каторги, а рядом громадное покосившееся бревенчатое здание «пьяной конторы». Собственно каторжный винокуренный завод стоял на месте нынешней золотопромывальной фабрики, но он сгорел уже после воли. Оставалась одна «пьяная контора» да каменный двор с низкими каменными казармами упраздненной каторги. Эти два памятника доброго старого времени для Ермошки были бельмом на глазу. Сидя у себя наверху, он подолгу смотрел на них и со вздохом повторял:

– Этакое обзаведенье и задарма пропадает… Что бы тут можно сделать, кабы к рукам! То есть, кажется, отдал бы все…

Ермошка был среднего роста, раскостый и плечистый мужик с какой-то угловатой головой и серыми вытаращенными глазами, поставленными необыкновенно широко, как у козы. Приплюснутый мягкий нос точно был приклеен с другого лица. Жиденькая клочковатая бороденка придавала ему встрепанный вид, как у человека, который второпях вскочил с постели. Это был типичный российский сиделец, вороватый и льстивый, нахальный и умеющий вовремя принизиться. В люди он вышел через жену Дарью, которая в свое время состояла «на положении горничной» у старика Оникова во времена его грозного владычества. Ермошка был лакеем, как теперь Ганька. Старик Оников вдовел и от скуки развлекался крепостными красавицами, в числе которых Дарья являлась последним номером. Она была круглой сиротой, за красоту попала в господский дом, но ничем не сумела бы воспользоваться при своем положении, если бы не подвернулся Ермошка. Оников умер как-то вдруг, и, что всего удивительнее, после него не оказалось никаких сбережений. Стоустая молва приписала его скоропостижную смерть Ермошке, воспользовавшемуся при такой оказии господским добром. Он сейчас же женился на Дарье и зажил своим домом, как следует справному мужику, а

впоследствии уже открыл кабак и лавку. Положение Дарьи было самое забитое: Ермошка вымещал на ней худую славу, вынесенную из господского дома. Бедная женщина ходила по своим горницам, как тень, и вся дрожала, когда слышала шаги мужа. Открыто Ермошка ее не увечил, как это делали другие мужики, а изводил ее медленно и безжалостно, как ненужную скотину.

«Хоть бы умереть поскорее…» – мечтала иногда Дарья.

Детей у них не было, и Ермошка мечтал, когда умрет жена, завестись настоящей семьей и имел уже на примете Феню Зыкову. Так рассчитывал Ермошка, но не так вышло. Когда Ермошка узнал, как ушла Феня из дому убегом, то развел только руками и проговорил:

– Эх, Федосья Родивоновна, не могла ты обождать самую малость, когда моя-то Дарья помрет…

Жалела об этом обстоятельстве и сама Дарья, потому что давно уже чувствовала себя лишней и с удовольствием уступила бы свое место молодой любимой жене.

– Связала я тебя, Ермолай Семеныч, – говорила она мужу о себе, как говорят о покойниках. – В самый бы тебе раз жениться на зыковской Фене… Девка чистяк. Ох, нейдет моя смертынька…

– Разве не стало невест? – резонировал Ермошка в тон жене. – Как помрешь, сорок ден выйдет, и женюсь…

– В Балчуговском у нас невест непочатый угол, Ермолай Семеныч. Любую да лучшую выбирай.

– В Тайболе возьму, а то и городскую приспособлю… Слава Богу, и мы не в угол рожей-то.

– Богатую не бери, а попроще… Сиротку лучше, Ермолай Семеныч, потому как ты уж в годках и будешь на положении вдовца. Богатые-то девки не больно таких женихов уважают…

– Это ты правильно, Дарья… Только помирай скорее, а то время напрасно идет. Совсем из годов выйду, покедова подохнешь…

– Ох, скоро помру, Ермолай Семеныч… Жаль ведь мне глядеть на тебя, как ты со мной маешься.

Дарья употребляла все меры, чтобы умереть, и никак не могла. Она ходила босая по снегу, пила «дорогую траву», морила себя голодом, но ничего не помогало. Ермошка колотил ее только под пьяную руку и давно извел бы вконец, если бы не боялся ответственности. Притом у него было какое-то темное предчувствие, что Дарья – его судьба, которой ни на каком коне не объедешь. Самоунижение Дарьи дошло до того, что она сама выбирала невест на случай своей смерти, и в этом направлении в ермошкином доме велись довольно часто очень серьезные разговоры. Чета вообще была оригинальная.

Ермошка ждал вешней воды не меньше балчуговских старателей, потому что самое бойкое кабацкое время было связано именно с летним сезоном, когда все промысла были в полном ходу. Он знал свой завод и Фотьянку, как свои пять пальцев: кто захудал из мужиков, кто справился, кто ни шатко ни валко живет. Никакой статистик не мог бы представить таких обстоятельных и подробных сведений о своем «приходе», как называл Ермошка старателей. Низы, где околачивались строгали и швали, он недолюбливал, потому что там царила оголтелая нищета, а в «приходе» нет-нет и провернется счастье.

– Ну-ка, Боговы работнички, поворачивай! – покрикивал Ермошка у себя за стойкой на вечно

галдевшую толпу старателей.

– Благодетель, на тебя стараемся! – отвечали пьяные голоса. – Мимо тебя ложки в рот не пронесешь… Все у тебя, как говядина в горшке.

– А куда бы вы без меня-то делись? А?..

– Уж это ты правильно, отец родной…

Всех больше надоедал Ермошке шваль Мыльников, который ежедневно являлся в кабак и толкался на народе неизвестно зачем. Он имел привычку приставать к каждому, задирал, ссорился и частенько бывал бит, но последнее мало на него действовало.

– Шел бы ты домой, Тарас, – часто уговаривал его Ермошка, – дома-то, поди, жена тебя вот как ждет. А по пути завернул бы к тестю чаю напиться. Богатый у тебя тестюшка.

– А тебе завидно? И напьемся чаю, даже вот как напьемся.

– А не хочешь того, чем ворота запирают?..

Подвыпивший Мыльников проявлял необыкновенную гордость. Он бил кулаками себя в грудь и выкрикивал на всю улицу, что – погодите, покажет он, каков есть человек Тарас Мыльников, и т. д. Кабацкие завсегдатаи покатывались над Мыльниковым со смеху и при случае подносили стаканчики водки.

– Погодите, братцы, рассчитаюсь… – уверял Мыльников. – Уж я достигну… Дайте только на ноги встать, а там расчет пойдет мелкими.

После пасхи Мыльников частенько стал приходить в кабак вместе с Яшей и Кишкиным. Он требовал прямо полуштоф и распивал его с приятелями где-нибудь в уголке. Друзья вели какие-то таинственные душевные беседы, шептались и вообще чувствовали потребность в уединении. Раз, пошатываясь, Мыльников пошел к стойке и потребовал второй полуштоф.

– Да ты с какой это радости расширился? – спрашивал его Ермошка. – Наследство, что ли, получил?..

– А тебе какая печаль?.. Х-хе… Никто не укажет Тарасу Мыльникову: сам большой, сам маленький. А ты, Ермолай Семеныч, теперь надо мной шутки шутишь, потому как я шваль и больше ничего…

– У всех у вас в Низах одна вера: голь перекатная. Хоть вывороти вас, двоегривенного не найдешь…

– А что, ежели, например, богачество у меня, Ермолай Семеныч? Ведь ты первый шапку ломать будешь, такой-сякой… А я шубу енотовую надену, серебряные часы с двум крышкам, гарусный шарф, да этаким чертом к тебе подкачу. Как ты полагаешь?

– По одежде встречают, Тарас… Разбогатеешь, так нас не забудь. Знаешь, кому счастье?..

– Ах ты, курицын сын!.. Да я, может, весь Балчуговский завод куплю и выворочу его совершенно наоборот… Вот я каков есть человек…

– Не пугай вперед, а то еще во сне увижу тебя богатого… Вороны завсегда к ненастью каркают.

Эти сцены повторялись слишком часто, чтобы обращать на себя серьезное внимание. Мыльникову никто не верил, и только удивлялись, откуда он берет деньги на пьянство.

К этой компании потом присоединился Клейменый Мина, старик из балчуговских каторжан, которых уцелело не больше десятка. Это был молчаливый лысый старик с большим лбом и глубоко посаженными глазами. В кабак он заходил редко и скромно сидел все время где-нибудь в уголке. Потом появились старатели с Фотьянки: красавец Матюшка, старый Турка и сам Петр Васильич. Мыльников угощал всех и ходил по кабаку козырем. Промысловые скептики сначала относились к этой компании подозрительно, а потом вдруг уверовали. Кто-то пустил слух, что раскошелился Кишкин ввиду открытия Кедровской дачи и набирает артель для разведки где-то на реке Мутяшке, где Клейменый Мина открыл золото еще при казне, но скрыл до поры до времени. Даже уверовал сам Ермошка, зараженный охватившей всех золотой лихорадкой. Так он несколько раз уже заговаривал с Кишкиным.

– Андрон Евстратыч, пусти в канпанию…

– Рылом еще не вышел… – отвечал Кишкин торжественно.

– Да ведь все равно мне же золото будете сдавать, – тихо прибавлял Ермошка, прищуривая один глаз.

– Уж это как Господь приведет… Одно – сдавать золото, другое – добывать. Рука у тебя тяжелая, Ермолай Семеныч.

– А у Мыльникова легкая?

– Пух – вот какая рука.

Совещания составлявшейся компании не представляли тайны ни для кого, потому что о Мутяшке давно уже говорили, как о золотом дне, и все мечтали захватить там местечко, как только объявится Кедровская дача свободной. Явилась даже спекуляция на Мутяшку: некоторые рабочие ходили по кабакам, на базаре и везде, где сбивался народ, и в самой таинственной форме предлагали озолотить «за красную бумагу». На Мутяшку образовался даже свой курс. Таинственные обогатители сообщали под страшным секретом о существовании какого-нибудь ложка или ключика, где золото гребли лопатами. Сложился целый ряд легенд о золоте на Мутяшке, вроде того, что там на золоте положен большой зарок, который не действует только на невинную девицу, а мужику не дается. Рассказывали о каких-то беглых, во времена еще балчуговской каторги, которые скрывались в Кедровской даче и первые «натакались» на Мутяшку и простым ковшом намыли столько, сколько только могли унести в котомках, что потом этих бродяг, нагруженных золотом, подкараулили в Тайболе и убили. Так и осталось неизвестным, где собственно схоронилось мутяшское золото. Доверчивые люди с замиранием слушали эти рассказы и все сильнее распалялись желанием легкой наживы. Знатоки Мутяшки скоро перестали довольствоваться «красной бумагой», а стали требовать уже четвертной билет. Между прочим, этим промышлял и Кривой Петр Васильич, только не в Балчуговском заводе, а в городе. Но лучше всех повел дело Мыльников, который теперь и пропивал дуром полученные деньги. Все знали, что это пропащий человек и что он даже и не знает приискового дела, но такова была жажда золота, что верили пустому человеку, сулившему золотые горы. И разговор у Мыльникова был самый пустой и дурашливый:

– Уж я произведу… Во как по гроб жизни благодарить будете… У меня рука легкая на золото; вот главная причина… Да… Всем могу руководствовать вполне.

Азарт носился в самом воздухе, и Мыльников заговаривал людей во сто раз умнее себя, как тот

же Ермошка, выдавший швали тоже красный билет. Впрочем, Мыльников на другой же день поднял Ермошку на смех в его собственном заведении.

– Будешь меня благодарить, Ермолай Семеныч! – кричал он. – А твоя красная бумага на помин моей души пойдет… У волка в зубе – Егорий дал.

Весь кабак надрывался от хохота, а Ермошка плюнул в Мыльникова и со стыда убежал к себе наверх. Центром разыгравшегося ажиотажа явился именно кабак Ермошки, куда сходились хоть послушать рассказы о золоте, и его владелец потерпел законно.

Кроме всего этого, к кабаку Ермошки каждый день подъезжали таинственные кошевки из города. Из такой кошевки вылезал какой-нибудь пробойный городской мещанин или мелкотравчатый купеческий брат и для отвода глаз сначала шел в магазин, а уж потом, будто случайно, заводил разговор с сидевшими у кабака старателями.

– Не надо ли партию? – спрашивали старатели. – Может, насчет того, чтобы ширп ударить…

– Нет, мы этим не занимаемся, – продолжал отводить глаза отпетый городской человек. – Я по своим делам…

Ермошка, спрятавшись наверху, наблюдал в окно этих городских гостей и ругался всласть.

– Вот дураки-то!.. Дарь, мотри, вон какой крендель выкидывает Затыкин; я его знаю, у него в Щепном рынке лавка. Х-ха, конечно, балчуговского золота захотелось отведать… Мотри, Мыльников к нему подходит! Ах, пес, ах, антихрист!.. Охо-хо-хо! То-то дураки эти самые городские… Мыльников-то, Мыльников по первому слову четвертной билет заломил, по роже вижу. Всякую совесть потерял человек…

Городской человек, проделав для отвода глаз необходимые церемонии, попадал в кабак я за полуштофом водки получал самые точные сведения, где найти верное золото.

– Да что тут говорить: выставляй прямо четверть!.. – бахвалился входивший в раж Мыльников. – Разве золото без водки живет? Разочнем четверть, – вот тебе и золото готово.

Простые рабочие, не владевшие даром «словесности», как Мыльников, довольствовались пока тем, что забирали у городских охотников задатки и записывались зараз в несколько разведочных партий, а деньги, конечно, пропивали в кабаке тут же. Никто не думал о том, чтобы завести новую одежду или сапоги. Все надежды возлагались на будущее, а в частности на Кедровскую дачу.

– Ишь, как воронье, облепили кабак! – злорадствовал Ермошка. – Только и канпания… Тут ходи да оглядывайся.

Большую сенсацию произвело появление в кабаке известного городского скупщика краденого золота Ястребова. Это был высокий, плечистый и осанистый мужчина со свирепым лицом. Густые брови у него совсем срослись, а ястребиные глаза засели глубоко в орбитах, как у настоящего хищника. Окладистая с проседью борода придавала ему степенный купеческий вид. Одет он был в енотовую шубу и бобровую шапку.

– Никите Яковличу, благодетелю!.. – слышались голоса раболепных прихлебателей. – Не хошь ли местечко потеплее?..

– Ладно, заговаривай зубы, – сурово отвечал Ястребов, окидывая презрительным взглядом

приисковую рвань. – Поищите кого попроще, а я-то вполне превосходно вас знаю… Добрых людей обманываете, черти.

Он прошел наверх к Ермошке и долго о чем-то беседовал с ним. Ермошка и Ястребов были заведомые скупщики краденого с Балчуговских промыслов золота. Все это знали; все об этом говорили, но никто и ничего не мог доказать: очень уж ловкие были люди, умевшие хоронить концы. Впрочем, пьяный Ястребов, – он пил запоем, – хлопнув Ермошку по плечу, каждый раз говорил:

– Ну, Ермошка, плачет о нас острог-то!..

– Не те времена, Никита Яковлич, – подобострастно отвечал Ермошка, чувствовавший к Ястребову безграничное уважение.

**II**

Дома Мыльников почти не жил. Вставши утром и не прочухавшись хорошенько с похмелья, он выкраивал с грехом пополам «уроки» для своей мастерской, ругал Оксю, заведывавшую всей работой, и уходил из дому до позднего вечера.

Избушка у Мыльникова была самая проваленная, как старый гриб. Один угол осел, крыша прогнила, ворота покосились, а надворные постройки постепенно шли на дрова. Одним словом, дом рушился со всех концов, и от него веяло нежилым. Впрочем, на Низах было много таких развалившихся дворов, потому что здесь главным образом царила самая вопиющая бедность. Дело в том, что Нагорная, где поселились каторжные, отбывшие срок наказания, после освобождения осталась верной исконному промысловому делу. То же было и на Фотьянке, где сгруппировались ссыльнопоселенцы. А Низы, населявшиеся «некрутами», захотели после воли существовать своим «средствием», и здесь быстро развились ремесла: столярное и чеботарное. Положим, что балчуговская работа пользовалась очень плохой репутацией, но все дело сводилось на то, чтобы освободиться от приискового шатания и промысловой маяты. Местом сбыта служил главным образом город, а отсюда уже балчуговское ремесло расходилось по нескольким уездам и дальше. Сотни семей были заняты одним и тем же делом и сбивали цену товара самым добросовестным образом: городские купцы богатели, а Низы захудали до последней крайности. Избушка Мыльникова служила ярким примером подобного промыслового захудания, и ее история служила иллюстрацией всей картины.

Тарас Мыльников был кантонистом. Его отец, пригнанный в один из рекрутских наборов в Балчуговский завод, не вынес золотой каторги и за какую-то провинность должен был пройти «зеленую улицу» в несколько тысяч шпицрутенов. Он не вынес наказания и умер на тележке, на которой довозили изнемогавших «грешников» до конца улицы. Дело в том, что преступников сначала вели, привязав к прикладу солдатского ружья, и когда они не могли идти – везли на тележке и здесь уже добивали окончательно. Опытные люди знали, что стоит такому грешнику сейчас после наказания напиться воды – и конец. Так было и с Мыльниковым, по крайней мере в семье сохранилось предание, что он умер от воды. Маленький Тарас после отца попал в кантонисты и вынес тяжелую школу в местном батальоне, а когда пришел в возраст, его отправили на промыслы. Здесь он вывернулся с первого раза, потому что поступил в приисковые шорники: и работа нетрудная, да и жил он все время в тепле. Воля избавила Тараса от солдатчины и обязательной промысловой службы. Он сейчас же поселился на Низах, где купил себе избу и занялся столярным делом. Одинокому человеку было нужно немного, и Тарас зажил справно, как следует настоящему мужику. Это время его благосостояния совпало с его женитьбой на Татьяне, которую он вывел из богатого зыковского дома.

Затем последовал крутой поворот. В конце шестидесятых годов, когда начиналась хивинская война, вдруг образовался громадный спрос на балчуговский сапог, и Тарас бросил свое столярное дело. У него был свой расчет: в столярном деле ему приходилось отдуваться одному, а при сапожном ремесле ему могли помогать жена и подраставшие дети. Так и вышло: Тарас рассчитал верно. Вся семья запряглась в тяжелую работу, а по мере того, как подрастали дети, Тарас стал все больше и больше отлынивать от дела, уделяя досуги любезным разговорам в кабаке Ермошки. Особенно облегчала его жизнь подросшая старшая дочь Окся, корявая и курносая девка, здоровая, как чурбан. Это было безответное существо, обладавшее неистощимым терпением. Жена Татьяна от работы, бедности и детей давно выбилась из сил и больше управлялась по домашности, а воротила всю работу Окся, под непосредственным наблюдением которой работали еще двое братьев-подростков.

– И в кого ты у нас уродилась, Окся, – часто говорила Татьяна, наблюдая дочь. – Ровно у нас таких неуворотных баб и в роду не бывало. Дерево деревом.

– Такая уж уродилась, мамынька, – отвечала Окся, не разгибаясь от работы. – Вся тут…

– Ох, горе ты мое, Окся! – стонала Татьяна. – Другие-то девки вот замуж повыскакали, а ты так в девках и зачичеревеешь… Кому тебя нужно, несообразную!

– Бог пошлет счастья, так и я замуж выйду, мамынька… Слава Богу, не хуже других.

– Ох, дура, дура…

Оригинальнее всего было то, что Оксю, кормившую своей работой всю семью, походя корили каждым куском хлеба, каждой тряпкой. Особенно изобретателен был в этом случае сам Тарас. Он каждый раз, принимая Оксину работу, непременно тыкал ее прямо в физиономию чем попало: сапогами, деревянной сапожной колодкой, а то и шилом.

– Стерва, знаешь хлеб жрать! – ругался он. – Пропасти на тебя нет!

Он все больше и больше наваливал работы на безответную девку, а когда она не исполняла ее, хлестал ремнем или таскал за волосы. Окся не жаловалась, не плакала, и это окончательно выводило Тараса из себя.

– Бесчувственная стерва… – удивлялся Тарас, измучившись боем. – Что ее учи, что не учи – один прок.

К счастью Окси, Тарасу некогда было серьезно заниматься наукой, и Окся в его отсутствие наслаждалась покоем. Что она думала – никто не знал, да и не интересовался знать, а Окся работала, не разгибая спины, и вечно молчала. Любимым удовольствием для нее было выйти за ворота и смотреть на улицу. Окся могла простоять таким образом у ворот часа три и все время скалила белые зубы. Парни потешались над ней, как над круглой дурой, и шутили грубые шутки: то грязью запустят, то в волосы закатают сапожного вару, то вымажут сажей. Окся защищалась отчаянно, как обезьяна, и тоже не жаловалась, точно так все и должно быть.

Так шла жизнь семьи Мыльниковых, когда в нее неожиданно хлынули дикие деньги, какие Тарас вымогал из доверчивых людей своей «словесностью». Раз под вечер он привел в свою избушку даже гостей – событие небывалое. С ним пришли: Кишкин, Яша, Петр Васильич с Фотьянки и Мина Клейменый.

– Милости просим, – приглашал Тарас. – Здесь нам много способнее будет разговоры-то разговаривать, а в кабаке еще, того гляди, подслушают да вызнают… Тоже народ ноне пошел,

шильники. Эй, Окся, айда к Ермошке. Оборудуй четверть водки… Да у меня смотри: одна нога здесь, а другая там. Господа, вы на нее не смотрите: дура набитая. При ней все можно говорить, потому, как стена, ничего не поймет.

Окся накинула на голову платок и бросилась к двери.

– Эй ты, пень березовый! – остановил ее отец. – Стой, дура, выслушай перво… Водки купишь, так на обратном пути заверни в лавочку и купи фунт колбасы.

Это уж было совсем смешно, и Окся расхохоталась. Какая такая колбаса? Тоже выдумает тятенька.

– Ну не дура ли набитая? – повторял Тарас, обращаясь уже к гостям.

– Однако и дворец у тебя, Тарас, – удивлялся Кишкин, не зная, куда сесть. – Одним словом, хоромина.

– А вот погоди, Андрон Евстратыч, все справим, Бог даст.

Петр Васильич степенно молчал, оглядывая Тарасову худобу. Он даже пожалел, что пошел сюда: срам один. Но предстояло важное дело, которое Мыльников все откладывал: именно сегодня Мина Клейменый должен был рассказать какую-то мудреную историю про Мутяшку. Это был совсем древний старик, остов человека, и жизнь едва теплилась в его потухших глазах. Свое прозвище он получил от клейм на висках. На старческой ссохшейся и пожелтевшей коже сохранились буквы СК, то есть ссыльно-каторжный. Таких клейменых в Балчуговском заводе оставалось уже немного: старики быстро вымирали. Мина был из дворовых людей Рязанской губернии и попал на каторгу за убийство бурмистра. Было это так давно, что и сам Мина уже не мог хорошенько припомнить, за что убил. Прошлое у него совсем вытерлось из памяти, заслоненное долголетней каторгой.

Когда Окся принесла водки и колбасы, твердой, как камень, разговоры сразу оживились. Все пропустили по стаканчику, но колбасу ел один Кишкин да хозяин. Окся стояла у печки и не могла удержаться от смеха, глядя на них: она в первый раз видела, как едят колбасу, и даже отплюнула несколько раз.

– Так ты нам с начала рассказывай, Мина, – говорил Тарас, усаживая старика в передний угол. – Как у вас все дело было… Ведь ты тогда в партии был, когда при казне по Мутяшке ширпы были?

– Был, как же, – соглашался Мина, шамкая беззубым ртом. – Большая партия была…

– Это при Разове было? – справился Петр Васильич, сохраняя необыкновенную степенность.

– Не перешибай ты его! – останавливал Тарас. – Старичок древний, как раз запутается… Ну-ка, дедушка, еще стаканчик кувырни!

– Большая партия была… – продолжал Мина, точно пережевывая каждое слово. – В кандалах выгнали на работу, а места по Мутяшке болотистые… лес… Казаки за нами с нагайками… Битва была, а не работа. Ненастье поднялось страшное, а хлеб-то и подмок… Оголодали, промокли… Ну, Разов нагнал – и сейчас давай нас драть. Он уж без этого не мог… Лютый человек был. Ну, на Мутяшке-то мы цельный месяц муку принимали, а потом и подвернись казакам один старец. Он тут в лесу проживал, душу спасал… Казаки-то его поймали и приводят. Седенький такой старец, а головка трясется. Разов велел и его отпалыскать… Ну,

старец-то принял наказание, перекрестился и Разова благословил… «Миленький, – говорит, – мне тебя жаль, не от себя лютуешь». Разов опять его бить… Тут уж старец слег: разнемогся вконец. И Разова тоже совесть взяла: оставил старца… Ну, мы робим, ширпы бьем, а старец под елочкой лежит и глядит на нас. Глядел-глядел, да и подзывает меня. «Что вы, – говорит, – понапрасну землю роете?.. И золото есть, да не вам его взять. Не вашими погаными руками…» – «Как же, – говорю я, – взять его, дедушка?» – «А умеючи, – говорит, – умеючи, потому положон здесь на золоте великий зарок. Ты к нему, а оно от тебя… Надо, – говорит, – чтобы невинная девица обошла сперва место то по три зари, да ширп бы она же указала…» Ну, какая у нас в те поры невинная девица, когда в партии все каторжане да казаки; так золото и не далось. Из глаз ушло… На промывке как будто и поблескивает, а стали доводить – и нет ничего. Так ни с чем и ушли…

– Ну, а про свинью-то, дедушка, – напомнил Тарас. – Ты уж нам все обскажи, как было дело…

– Тоже старец сказывал… – продолжал Мина, с трудом переводя дух. – Он сам-то из Тайболы, старой веры… Ну, так в допрежние времена, еще до Пугача, один мужик из Тайболы ходил по Кедровской даче и разыскивал тумпасы. Только дошел он до Мутяшки, ударил где-то на мысу ширп, и что бы ты думал, братец ты мой?.. – лопата как зазвенит… Мужик даже испугался… Ну, собрался с духом и выкопал золотой самородок пуда в два весом. Выкопать-то выкопал мужик, да испугался… Первое дело, самородок-то на свинью походил: и как будто рыло, и как будто ноги – как есть свинья. Другое дело, куды ему деваться с самородком? В те поры с золотом-то такие строгости были, одна страсть… Первого-то мужика, который на Балчуговке нашел золото, слышь, на смерть начальство запороло… Вот тайбольскому мужику и сделалось страшно…

– Да не дурак ли? – вздохнул угнетенно Петр Васильич. – Бог счастья послал, а он испугался…

– Не перешибай! – оборвал его Тарас. – Дай кончить.

– И сделалось мужику страшно, так страшно – досмерти… Ежели продать самородок – поймают, ежели так бросить – жаль, а ежели объявить начальству – повернут всю Тайболу в каторгу, как повернули Балчуговский завод. Три ночи не спал мужик: все маялся и удумал штуку: взял да самородок и закопал в ширп, где его нашел. А сам убежал домой в Тайболу и молчал до самой смерти, а когда стал помирать, рассказал все своему сыну и тоже положил зарок молчать до смерти. Сын тоже молчал и только перед смертью объявил все внуку и тоже положил зарок, как дедушка.

– Ах, дурак мужик!.. – воскликнул Кишкин. – Ну, не дурак ли?

– Да еще какой дурак-то: Бог счастья послал, а он его опять в землю зарыл… Ему, подлецу, руки по локоть отрубить, а самого в воду. Дурак, дурак…

– Удавить его мало! – заявил со своей стороны Тарас. – Да ежели бы мне Бог счастья послал, да я бы сейчас Ястребову в город упер самородок-то, а потом ищи… Дурак мужик!..

Вся компания разразилась такой неистовой руганью по адресу мужика, закопавшего золотую свинью, что Мина Клейменый даже напугался, что все накинулись на него.

– Да ведь это не я, братцы! – взмолился он, забиваясь в угол.

– Ах, дурак мужик!.. Живого бы его изжарить на огне… Дурак, дурак!

Даже скромный Яша и тот ругался вместе с другими, размахивая руками и лез к Мине с

кулаками. Лица у всех сделались красными от выпитой водки и возбуждения.

– А мы его найдем, самородок-то, – кричал Мыльников, – да к Ястребову… Ха-ха!.. Ловко… Комар носу не подточит. Так я говорю, Петр Васильич? Родимый мой… Ведь мы то с тобой еще в свойстве состоим по бабушкам.

– Как есть родня: троюродное наплевать.

– А ты не хрюкай на родню. У Родиона Потапыча первая-то жена, Марфа Тимофеевна, родной сестрой приходилась твоей матери, Лукерье Тимофеевне. Значит, в свойстве и выходит. Ловко Лукерья Тимофеевна прижала Родиона Потапыча. Утихомирила разом, а то совсем Яшку собрался драть в волости. Люблю…

– Ну, братцы, надо об деле столковаться, – приставал Кишкин. – Первое мая на носу, надо партию…

– Валяй партию, всех записывай! – кричали пьяные голоса. – Добудем Мутяшку… А то и самородку разыщем, свинью эту самую.

– Я на себя запишу заявку-то… – предлагал Кишкин.

– Конечно, на себя: ты один у нас грамотный…

– А я Оксю приспособлю, может, она найдет свинью-то, предлагал Мыльников, – она хоша и круглая дура, а честная…

– Можно и сестру Марью на такой случай вывести… – предлагал расхрабрившийся Яша. – Тоже девица вполне… Может, вдвоем-то они скорее найдут. А ты, Андрон Евстратыч, главное дело, не ошибись гумагой, потому как гумага первое дело.

– Да уж надейтесь на меня: не подгадим дела, – уверял Кишкин.

Дальше в избушке поднялся такой шум, что никто и ничего не мог разобрать. Окся успела слетать за второй четвертью и на закуску принесла соленого максуна. Пока другие пили водку, она успела стащить половину рыбы и разделила братьям и матери, сидевшим в холодных сенях.

– Они теперь совсем одурели… – коротко объяснила она, уплетая соленую рыбу за обе щеки. – А тятенька прямо на стену лезет…

– Да разве на одной Мутяшке золото-то? – выкрикивал Мыльников, качаясь на ногах. – Да сколько его хошь, золота: по Худенькой, по Малиновке, по Генералке, а там Свистунья, Ледянка, Миляев мыс, Суходойка, Маякова слань. Бугры золота…

Увлекшись, Мыльников совсем забыл, что этими местами обманывал городских промышленников, и теперь уверял всех, что везде был сам и везде находил верные знаки.

– Перестань врать, непутевая голова! – оборвал его Петр Васильич.

Пьяный Мина Клейменый давно уже лежал под столом. Его там нашли только утром, когда Окся принялась за свою работу. Разбуженный старик долго не мог ничего понять, как он очутился здесь, и только беззвучно жевал своим беззубым ртом. Голова у него трещала с похмелья, как худой колокол.

**III**

Тронувшаяся вешняя вода не произвела обычного эффекта на промыслах. Рабочие ждали с нетерпением первого мая, когда открывалась Кедровская дача. Крупные золотопромышленники организовали приисковые партии через своих поверенных, а мелкота толкалась в Балчуговском заводе самолично. Цены на рабочие руки поднялись сразу, потому что везде было нужно настоящих приисковых рабочих. Пока балчуговские мужики проживали полученные задатки, на компанейские работы выходила только отчаянная голытьба и приисковая рвань. Да и на эту рабочую силу был плохой расчет, потому что и эти отбросы ждали только первого мая. Родион Потапыч рвал на себе волосы в отчаянии.

– Ничего, пусть поволнуются… – успокаивал Карачунский. – По крайней мере, теперь не будет на нас жалоб, что мы тесним работами, мало платим и обижаем. К нам-то придут, поверь…

– А время-то какое?.. – жаловался Родион Потапыч. – Ведь в прошлом году у нас стоном стон стоял… Одних старателишек неочерпаемое множество, а теперь они и губу на локоть. Только и разговору: Кедровская дача, Кедровская дача. Без рабочих совсем останемся, Степан Романыч.

– Вздор… Попробуют и бросят, поверь мне. Во всяком случае я ничего страшного пока еще не вижу…

Чтобы развеселить старика, Карачунский прибавил:

– Старатели будут, конечно, воровать золото на новых промыслах, а мы будем его скупать… Новые золотопромышленники закопают лишние деньги в Кедровской даче, а рабочие к нам же и придут. Уцелеет один Ястребов и будет скупать наше золото, как скупал его и раньше.

– Уж этот уцелеет… Повесить его мало… Теперь у него с Ермошкой кабатчиком такая дружба завелась – водой не разольешь. Рука руку моет… А что на Фотьянке делается: совсем сбесился народ. С Балчуговского все на Фотьянку кинулись… Смута такая пошла, что не слушай теплая хороминка. И этот Кишкин тут впутался, и Ястребов наезжал раза три… Живым мясом хотят разорвать Кедровскую-то дачу. Гляжу я на них и дивлюсь про себя: вот до чего привел Господь дожить. Не глядели бы глаза.

– Ну, а что твоя Феня?

Родион Потапыч не любил подобных расспросов и каждый раз хмурился. Карачунский наблюдал его улыбающимися глазами и тоже молчал.

– Устроил… – коротко ответил он, опуская глаза. – К себе-то в дом совестно было ее привезти, так я ее на Фотьянку, к сродственнице определил. Баушка Лукерья… Она мне по первой жене своячиной приходится. Ну, я к ней и опеределил Феню пока что…

– А потом?

– А потом уж что Господь пошлет.

После длинной паузы старик прибавил:

– Своячина-то, значит, баушка Лукерья, совсем правильная женщина, а вот сын у ней…

– Петр Васильич? – подсказал Карачунский, обладавший изумительной памятью на имена.

– Он самый… Сродственник он мне, а прямо скажу: змей подколодный. Первое дело – с Кишкиным канпанию завел, потом Ястребова к себе на фатеру пустил… У них теперь на Фотьянке черт кашу варит.

Чтобы добыть Феню из Тайболы, была употреблена военная хитрость. Во-первых, к Кожиным отправилась сама баушка Лукерья Тимофеевна и заявила, что Родион Потапыч согласен простить дочь, буде она явится с повинной.

– Конечно, построжит старик для видимости, – объясняла она старухе Маремьяне, – сорвет сердце… Может, и побьет. А только родительское сердце отходчиво. Сама, поди, знаешь по своим детям.

– А как он ее запрет дома-то? – сомневалась старая раскольница, пристально вглядываясь в хитрого посла.

– Запре-от? – удивилась баушка Лукерья. – Да ему-то какая теперь в ней корысть? Была девка, не умели беречь, так теперь ветра в поле искать… Да еще и то сказать, в Балчугах народ балованный, как раз еще и ворота дегтем вымажут… Парни-то нынче ножовые. Скажут: нами брезговала, а за кержака убежала. У них свое на уме…

– Это ты правильно, баушка Лукерья… – туго соглашалась Маремьяна. – Хошь до кого доведись.

– Я-то ведь не неволю, а приехала вас же жалеючи… И Фене-то не сладко жить, когда родители хуже чужих стали. А ведь Феня-то все-таки своя кровь, из роду-племени не выкинешь.

– Уж ты-то помоги нам, баушка…

Уластила старуха кержанку и уехала. С неделю думали Кожины, как быть. Акинфий Назарыч был против того, чтобы отпускать жену одну, но не мог он устоять перед жениными слезами. Нечего делать, заложил он лошадь и под вечерок, чтобы не видели добрые люди, сам повез жену на мировую. Выбрана была нарочно суббота, чтобы застать дома самого Родиона Потапыча. Высадил Кожин жену около церкви, поцеловал ее в последний раз и отпустил, а сам остался дожидаться. Он даже прослезился, когда Феня торопливо пошла от него и скрылась в темноте, точно чуяло его сердце беду.

Родион Потапыч действительно был дома и сам отворил дочери дверь. Он ни слова не проронил, пока Феня с причитаньями и слезами ползала у его ног, а только велел Прокопию запрячь лошадь. Когда все было Готово, он вывел дочь во двор, усадил с собой в пошевни и выехал со двора, но повернул не направо, где дожидался Акинфий, а влево. Встрепенулась было Феня, как птица, попавшая в западню, но старик грозно прикрикнул на нее и погнал лошадь. Он догадался, что Кожин ждет ее где-нибудь поблизости, объехал засаду другой улицей, а там мелькнула «пьяная контора», Ермошкин кабак и последние избушки Нагорной.

– Тятенька, родимый, куда ты везешь меня? – взмолилась Феня.

– А вот узнаешь, куда…

Феня вся похолодела от ужаса, так что даже не сопротивлялась и не плакала. Вот и Краюхин увал, и шахты, и казенный громадный разрез, и молодой лесок, выросший по свалкам и отвалам. Когда уже мелькнули впереди огоньки Фотьянки, Феня догадалась, куда отец везет ее, и внутренне обрадовалась: баушку Лукерью она видала редко, но привыкла ее уважать. Пошевни переехали реку Балчуговку по ветхому мостику, поднялись на мысок, где стоял кабак Фролки, и остановились у дома Петра Васильича. На топот лошади в волоковом оконце

показалась голова самой баушки Лукерьи. Старуха сама вышла на крыльцо встречать дорогих гостей и проводила Феню прямо в заднюю избу, где жила сама.

– Ты посиди здесь, жар-птица, а я пока потолкую с отцом, – сказала она, припирая дверь на всякий случай железной задвижкой.

Родион Потапыч сидел в передней избе, которая делилась капитальной стеной на две комнаты – в первой была русская печь, а вторая оставалась чистой горницей.

– Ну, гостенек дорогой, проходи в горницу, – приглашала баушка Лукерья. – Сядем рядком да поговорим ладком…

– О чем говорить-то? Весь тут. Дома ничего не осталось… А где у тебя змей-то кривой?

– Ох, не спрашивай… Канпанятся они теперь в кабаке вот уж близко месяца, и конца-краю нету. Только что и будет… Сегодня зятек-то твой, Тарас Матвеич, пришел с Кишкиным и сейчас к Фролке: у них одно заведенье. Ну, так ты насчет Фени не сумлевайся: отвожусь как-нибудь…

– Ты с нее одежу-то ихнюю сыми первым делом… Нож мне это вострый. А ежели нагонят из Тайболы да будут приставать, так ты мне дай знать на шахты или на плотину: я их живой рукой поверну.

– Всяк кулик на своем болоте велик, Родион Потапыч… Управимся и без тебя. Чем я тебя угощать-то буду, своячок?.. Водочку не потребляешь?

– Отроду не пивал, не знаю, чем она и пахнет, а теперь уж поздно начинать… Ну так, своячинушка, направляй ты нашу заблудящую девку, как тебе Бог на душу положит, а там, может, и сочтемся. Что тебе понадобится, то и сделаю. А теперь, значит, прощай…

Баушка Лукерья не задерживала гостя, потому что догадалась чего он боится, именно встречи с Петром Васильичем и Кишкиным. Она проводила его за ворота.

– Приеду как-нибудь в другой раз… – глухо проговорил старик, усаживаясь в свои пошевни. – А теперь мутит меня… Говорить-то об ней даже не могу. Ну, прощай…

Так Феня и осталась на Фотьянке. Баушка Лукерья несколько дней точно не замечала ее: придет в избу, делает какое-нибудь свое старушечье дело, а на Феню и не взглянет.

– Баушка, родненькая, мне страшно… – несколько раз повторяла Феня, когда старуха собиралась уходить.

– Страшнее того, что сама наделала, не будет…

Горько расплакалась Феня всего один раз, когда брат Яша привез ей из Балчугова ее девичье приданое. Снимая с себя раскольничий косоклинный сарафан, подаренный богоданной матушкой Маремьяной, она точно навеки прощалась со своей тайболовской жизнью. Ах, как было ей горько и тошно, особенно вспоминаючи любовные речи Акинфия Назарыча… Где-то он теперь, мил-сердечный друг? Принесут ему ее дареное платье, как с утопленницы. Баушка Лукерья поняла девичье горе, нахмурилась и сурово сказала:

– Не о себе ревешь, непутевая… Перестань дурить. То-то ваша девичья совесть… Недаром слово молвится: до порога.

– Хошь бы я словечко одно ему сказала… – плакала Феня. – За привет, да за ласку, да за его любовь…

– Очень уж просты на любовь-то мужики эти самые, – ворчала старуха, свертывая дареное платье. Им ведь чужого-то века не жаль, только бы свое получить. Не бойся, утешится твой-то с какой-нибудь кержанкой. Не стало вашего брата, девок… А ты у меня пореви, на поклоны поставлю.

Хотела Феня повидать Яшу, чтобы с ним послать Акинфию Назарычу поклончик, да баушка Лукерья не пустила, а опять затворила в задней избе. Горько убивалась Феня, точно ее живую похоронили на Фотьянке.

Баушка Лукерья жила в задней избе одна, и, когда легли спать, она, чтобы утешить чем-нибудь Феню, начала рассказывать про прежнюю «казенную жизнь»: как она с сестрой Марфой Тимофеевной жила «за помещиком», как помещик обижал своих дворовых девушек, как сестра Марфа Тимофеевна не стерпела поруганья и подожгла барский дом.

– А стыда-то, стыда сколько напринимались мы в девичьей, – рассказывал в темноте баушкин голос. – Сегодня одна, завтра другая… Конечно, подневольное наше девичье дело было, а пригнали нас на каторгу в Балчуги, тут покойничек Антон Лазарич лакомство свое тешил. Так это все грех подневольный, за который и взыску нет: чего с каторжанок взять. А и тут, как вышли на поселенье, посмотри-ка, какие бабы вышли: ни про одну худого слова не молвят. И ни одной такой-то не нашлось, чтобы польстилась в другую веру уйти… Терпеть – терпели всячину, а этого не было. И Бога не забывали и в свою православную церковь ходили… Только и радости было, что одна церковь, когда каторгу отбывали. Родная мать наша была церковь-то православная: сколько, бывало, поплачем да помолимся, столько и поживем. Вот это какое дело… расейский народ крепкий, не то, что здешние.

Феня внимательно слушала неторопливую баушкину речь и проникалась прошлым страшным горем, какое баушка принесла из далекой Расеи сюда, на каторгу. С детства она слышала все эти рассказы, но сейчас баушка Лукерья гнула свое, стороной обвиняя Феню в измене православию. Последнее испугало Феню, особенно когда баушка Лукерья сказала:

– А ты того не подумала, Феня, что родился бы у тебя младенец, и потащила бы Маремьяна к старикам да к своим старухам крестить? Разве ихнее крещенье правильное: загубила бы Маремьяна ангельскую душеньку – только и всего. Какой бы ты грех на свою душу приняла?.. Другая девушка не сохранит себя, – вон какой у нас народ на промыслах! – разродится младенцем, а все-таки младенец крещеный будет… Стыд-то свой девичий сама износит, а младенческую душеньку ухранит. А того ты не подумала, что у тебя народилось бы человек пять ребят, тогда как?..

– Баушка, миленькая, я думала, что… Очень уж любит меня Акинфий-то Назарыч, может, он и повернулся бы в нашу православную веру. Думала я об этом и день и ночь…

– А Маремьяна?.. Нет, голубушка, при живности старухи нечего было тебе и думать. Пустое это дело, закостенела она в своей старой вере…

– А ежели Маремьяна умрет, баушка? Не два века она будет жить…

– Тогда другой разговор… Только старые люди сказывали, что свинья не родит бобра. Понадеялась ты на любовные речи своего Акинфия Назарыча прежде времени…

Каждый вечер происходили эти тихие любовные речи, и Феня все больше проникалась

сознанием правоты баушки Лукерьи. А с другой стороны, ее тянуло в Тайболу мертвой тягой: свернулась бы птицей и полетела… Хоть бы один раз взглянуть, что там делается!

Ровно через неделю Кожин разыскал, где была спрятана Феня, и верхом приехал в Фотьянку. Сначала, для отвода глаз, он завернул в кабак, будто собирается золото искать в Кедровской даче. Поговорил он кое с кем из мужиков, а потом послал за Петром Васильичем. Тот не заставил себя ждать и, как увидел Кожина, сразу смекнул, в чем дело. Чтобы не выдать себя, Петр Васильич с час ломал комедию и сговаривался с Кожиным о золоте.

– Пойдем-ка ко мне, Акинфий Назарыч, – пригласил он наконец смущенного Кожина, – может, дома-то лучше сговоримся…

Свою лошадь Кожин оставил у кабака, а сам пошел пешком.

– Вот что, друг милый, – заговорил Петр Васильич, – зачем ты приехал – твое дело, а только смотри, чтобы тихо и смирно. Все от матушки будет: допустит тебя или не допустит. Так и знай…

– Тише воды, ниже травы буду, Петр Васильич, а твоей услуги не забуду…

– То-то, уговор на берегу. Другое тебе слово скажу: напрасно ты приехал. Я так мекаю, что матушка повернула Феню на свою руку… Бабы это умеют делать: тихими словами как примется наговаривать да как слезами учнет донимать – хуже обуха.

Сначала Петр Васильич пошел и предупредил мать. Баушка Лукерья встрепенулась вся, но раскинула умом и велела позвать Кожина в избу. Тот вошел такой убитый да смиренный, что ей вчуже сделалось его жаль. Он поздоровался, присел на лавку и заговорил, будто приехал в Фотьянку нанимать рабочих для заявки.

– Вот что, Акинфий Назарыч, золото-то ты свое уж оставь, – обрезала баушка Лукерья. – Захотел Феню повидать? Так и говори… Прямое дерево ветру не боится. Я ее сейчас позову.

У Кожина захолонуло на душе: он не ожидал, что все обойдется так просто. Пока баушка Лукерья ходила в заднюю избу за Феней, прошла целая вечность. Петр Васильич стоял неподвижно у печи, а Кожин сидел на лавке, низко опустив голову. Когда скрипнула дверь, он весь вздрогнул. Феня остановилась в дверях и не шла дальше.

– Феня… – зашептал Акинфий Назарыч, делая шаг к ней.

– Не подходи, Акинфий Назарыч… – остановила она. – Что тебе нужно от меня?

Кожин остановился, посмотрел на Феню и проговорил:

– Одно я хотел спросить тебя, Федосья Родионовна: своей ты волей попала сюда или неволей?

– Попала неволей, а теперь живу своей волей, Акинфий Назарыч… Спасибо за любовь да за ласку, а в Тайболу я не поеду, ежели…

Она остановилась, перевела дух и тихо прибавила:

– Хочу, чтобы все по нашей вере было…

Эти слова точно пошатнули Кожина. Он сел на лавку, закрыл лицо руками и заплакал. Петр Васильич крякнул, баушка Лукерья стояла в уголке, опустив глаза. Феня вся побелела, но не

сделала шагу. В избе раздавались только глухие рыдания Кожина. Еще бы одно мгновение, и она бросилась бы к нему, но Кожин в этот момент поднялся с лавки, выпрямился и проговорил:

– Бог тебе судья, Федосья Родионовна… Не так у меня было удумано, не так было сложено, душу ты во мне повернула.

– Зачем ты ее сомущаешь? – остановила его баушка Лукерья. – Она про свою голову промышляет…

Кожин посмотрел на старуху, ударил себя кулаком в грудь и как-то простонал:

– Баушка, не мне тебя учить, а только большой ответ ты принимаешь на себя…

– Ладно, я еще сама с тобой поговорю… Феня, ступай к себе.

Разговор оказался короче воробьиного носа: баушка Лукерья говорила свое, Кожин свое. Он не стыдился своих слез и только смотрел на старуху такими страшными глазами.

– Не о чем, видно, нам разговаривать-то, – решил он, прощаясь. – Пропадай, голова, ни за грош, ни за копеечку!

Когда Кожин вышел из избы, баушка Лукерья тяжело вздохнула и проговорила:

– Хорош мужик, кабы не старуха Маремьяна.

**IV**

Кишкин не терял времени даром и делал два дела зараз. Во-первых, он закончил громадный донос на бывшее казенное управление Балчуговских промыслов, над которым работал года три самым тщательным образом. Нужно было собрать фактический материал, обставить его цифровыми данными, иллюстрировать свидетельскими показаниями и вывести заключения, – все это он исполнил с добросовестностью озлобленного человека. Во-вторых, нужно было подготовить все к заявке прииска в Кедровой даче, а это требовало и времени и уменья.

Когда-то у Кишкина был свой дом и полное хозяйство, а теперь ему приходилось жаться на квартире, в одной каморке, заваленной всевозможным хламом. Стяжатель по натуре, Кишкин тащил в свою каморку решительно все, что мог достать тем или другим путем, – старую газету, которую выпрашивал почитать у кого-нибудь из компанейских служащих, железный крюк, найденный на дороге, образцы разных горных пород и т. д. В одном уголке стоял заветный деревянный шкапик, занятый материалами для доноса. По ночам долго горела жестяная лампочка в этой каморке, и Кишкин строчил свою роковую повесть о «казенном времени». В этом доносе сосредоточивалась вся его жизнь. Он переписывал его несколько месяцев, выводя старческим убористым почерком одну строку за другой, как паук ткет свою паутину. Когда работа была кончена, Кишкин набожно перекрестился: он вылил всю свою душу, все, чем наболел в дни своего захудания.

– Всем сестрам по серьгам! – говорил он вслух и ехидно хихикал, закрывая рот рукой. – Что такое теперь Кишкин: ничтожность! пыль!.. последний человек!.. Хи-хи-хи!.. И вдруг вот этот самый Кишкин всех и достигнет… всех!.. Э, голубчики, будет: пожили, порадовались – надо и честь знать. Поди, думают, что все уж умерло и быльем поросло, а тут вдруг сюрпризец… Пожалуйте, на цугундер, имярек! Хи-хи… Вы в колясках катаетесь, а Кишкин пешком ходит. Вы в палатах поживаете, а Кишкин в норе гниет… Погодите, всех выведу на свежую воду! Будете помнить Кишкина.

Целую ночь не спал старый ябедник и все ходил по комнате, разговаривая вслух и хихикая так, что вдова-хозяйка решила про себя, что жилец свихнулся.

Захватив свое произведение, свернутое трубочкой, Кишкин пешком отправился в город, до которого от Балчуговского завода считалось около двенадцати верст. Дорога проходила через Тайболу. Кишкин шел такой радостный, точно помолодел лет на двадцать, и все улыбался, прижимая рукопись к сердцу. Вот она, голубушка… Тепленькое дельце заварится. Дорого бы дали вот за эту бумажку те самые, которые сейчас не подозревают даже о его существовании. «Какой Кишкин?..» Х-ха, вот вам и какой: добренький, старенький, бедненький… Пешочком идет Кишкин и несет вам гостинец.

В городе Кишкин знал всех и поэтому прямо отправился в квартиру прокурора. Его заставили подождать в передней. Прокурор, пожилой важный господин, отнесся к нему совсем равнодушно и, сунув жалобу на письменный стол, сказал, что рассмотрит ее.

– Ничего, я подожду, ваше высокоблагородие, – смиренно отвечал Кишкин, предвкушая в недалеком будущем иные отношения вот со стороны этого важного чина. – Маленький человек… Подожду.

От прокурора Кишкин прошел в горное правление, в так называемый «золотой стол», за которым в свое время вершились большие дела. Когда-то заветной мечтой Кишкина было попасть в это обетованное место, но так и не удалось: «золотой стол» находился в ведении одной горной фамилии вот уже пятьдесят лет, и чужому человеку здесь делать было нечего. А тепленькое местечко… В горных делах царила фамилия Каблуковых: старший брат, Илья Федотыч, служил секретарем при канцелярии горного начальника, а младший, Андрей Федотыч, столоначальником «золотого отряда». Около них ютилась бесчисленная родня. Собственно, братья Каблуковы были близнецы, и разница в рождении заключалась всего в нескольких часах. В них была вся сила, а горные инженеры и разное начальство служили только для декорации.

– Ну что, Андрон Евстратыч? – спрашивал младший Каблуков, с которым в богатое время Кишкин был даже в дружбе и чуть не женился на его родной сестре, конечно, с тайной целью хотя этим путем проникнуть в роковой круг. – Каково прыгаешь?

– Да вот думаю золотишко искать в Кедровской даче.

– Разве лишние деньги есть?

– На мои сиротские слезы, может, Бог и пошлет счастья…

– Что же, давай Бог нашему теляти волка поймати. Подавай заявку, а отвод сейчас будет готов. По старой дружбе все устроим…

– Знаю я вашу дружбу…

Андрей Федотыч был добродушный и веселый человек и любил пошутить, вызывая скрытую зависть Кишкина: хорошо шутить, когда в банке тысяч пятьдесят лежит. Старший брат, Илья Федотыч, наоборот, был очень мрачный субъект и не любил болтать напрасно. Он являлся главной силой, как старый делец, знавший все ходы и выходы сложного горного хозяйства. Кишкина он принимал всегда сухо, но на этот раз отвел его в соседнюю комнату и строго спросил:

– Ты это что, сбесился, Андрошка?

– А что?

– А вот это самое… Думаешь, мы и не знаем? Все знаем, не беспокойся. Кляузы-то свои пора тебе оставить.

– Не поглянулось?..

– Да ты чему радуешься-то, Андрошка? Знаешь поговорку: взвыла собака на свою голову. Так и твое дело. Ты еще не успел подумать, а я уж все знаю. Пустой ты человек, и больше ничего.

Кишкин смотрел на Илью Федотыча и только ухмылялся: вот этот вперед всех догадался… Его не проведешь.

– Вот что, Илья Федотыч, – заговорил Кишкин деловым тоном, – теперь уж поздно нам с тобой разговаривать. Сейчас только от прокурора.

– Ах, пес!..

– Вот тебе и пес… Такой уж уродился. Раньше-то я за вами ходил, а теперь уж вы за мной походите. И походите, даже очень походите… А пока что, думаю заявочку в Кедровской даче сделать.

– Не дадим, – коротко отрезал Илья Федотыч.

– Нет, дашь… – так же коротко ответил Кишкин и ухмыльнулся. – В некоторое время еще могу пригодиться. Не пошел бы я к тебе, кабы не моя сила. Давно бы мне так-то догадаться…

Илья Федотыч с изумлением посмотрел на Кишкина: перед ним действительно был совсем другой человек. Великий горный делец подумал, пожал плечами и решил:

– Ну, черт с тобой, делай заявку…

Эта ничтожная по своим размерам победа для Кишкина являлась предвестником его возрождения: сам Илья Федотыч трухнул перед ним, а это что-нибудь значит.

Вернувшись в Балчуговский завод, Кишкин принялся за дело.

Конец апреля выдался теплый и ясный. Компанейские работы уже шли полным ходом, главным образом за Фотьянкой, где по обоим берегам Балчуговки залегали богатейшие россыпи. Ввиду наступления первого мая поисковые партии сосредоточивались в Фотьянке, потому что отсюда до грани Кедровской дачи было рукой подать, то есть всего верст двенадцать. Первым на Фотьянку явился знаменитый скупщик Ястребов и занял квартиру в лучшем доме, именно у Петра Васильича. Баушка Лукерья не хотела его пускать из страха перед Родионом Потапычем, но Петр Васильич, жадный до денег, так взъелся на мать, что старуха не устояла.

– Что мы разве невольники какие для твоего Родиона-то Потапыча? – выкрикивал Петр Васильич. – Ему хорошо, так и другим тоже надо… Как собака лежит на сене: сам не ест и другим не дает. Продался канпании и знать ничего не хочет… Захудал народ вконец, взять хоть нашу Фотьянку, а кто цены-то ставит? У него лишнего гроша никто еще не заработал…

– По кабакам бы меньше пропивали!

– Кабак тут не причина, маменька… Подшибся народ вконец, вот из последних и канпанятся по кабакам. Все одно за канпанией-то пропадом пропадать… И наше дело взять: какая нам такая

печаль до Родиона Потапыча, когда с Ястребова ты в месяц цалковых пятнадцать получишь. Такого случая не скоро дождешься… В другой раз Кедровскую дачу не будем открывать.

Старуха сдалась, потому что на Фотьянке деньги стоили дорого. Ястребов действительно дал пятнадцать рублей в месяц да еще сказал, что будет жить только наездом. Приехал Ястребов на тройке в своем тарантасе и произвел на всю Фотьянку большое впечатление, точно этим приездом открывалась в истории кондового варнацкого гнезда новая эра. Держал себя Ястребов настоящим барином и сыпал деньгами направо и налево.

– Ну, баушка, будем жить-поживать да добра наживать, – весело говорил он, располагая свои пожитки в чистой горнице.

– А я тебе вот что скажу, Никита Яковлевич, – ответила старуха, – жить живи себе на здоровье, а только боюсь я…

– Чего испугалась-то прежде времени, баушка?

– Да как же, начнешь золото скупать… И нас засудят.

Ястребов засмеялся.

– Ну, этого у меня заведенья не полагается, баушка, – успокоил он, – у меня один закон для всех: кто из рабочих только нос покажет с краденым золотом – шабаш. Чтобы и духу его не было… У меня строго, баушка.

– То-то, миленький, смотри…

– В оба глядим, баушка, где плохо лежит, – пошутил Ястребов и даже похлопал старуху по плечу. – Не бойся, а только живи веселее, – скорее повесят…

– С тобой, с разговором, и то повесят…

Веселый характер опасного жильца понравился старухе, и она махнула на Родиона Потапыча.

Появлением Ястребова в доме Петра Васильича больше всех был огорчен Кишкин. Он рассчитывал устроить в избе главную резиденцию, а теперь пришлось занять просто баню, потому что в задней избе жила сама баушка Лукерья с Феней.

– Ну, это не фасон, Петр Васильич, – ворчал Кишкин. – Ты что раньше-то говорил: «У меня в избе живите, как дома», «у меня вольготно», а сам пустил Ястребова.

– Ах, Андрон Евстратыч, не я пустил, а мамынька, – отпирался Петр Васильич самым бессовестным образом.

– Не ври уж в глаза-то, а то еще как раз подавишься…

Таким образом баня сделалась главным сборным пунктом будущих миллионеров, и сюда же натащили разную приисковую снасть, необходимую для разведки: ручной вашгерд, насос, скребки, лопаты, кайлы, пробный ковш и т. д. Кишкин отобрал заблаговременно паспорта у своей партии и предъявил в волость, что требовалось по закону. Все остальные слепо повиновались Кишкину, как главному коноводу.

Канун первого мая для Фотьянки прошел в каком-то чаду. Вся деревня поднялась на ноги с раннего утра, а из Балчуговского завода так и подваливала одна партия за другой.

Золотопромышленники ехали отдельно в своих экипажах парами. Около обеда вокруг кабака Фролки вырос целый табор. Кишкин толкался на народе и прислушивался, о чем галдят.

– Это твоя работа, анафема!.. – корил Кишкин Мыльникова, которого брали на разрыв. – Вот сколько народу обоврал…

– Был такой грех, Андрон Евстратыч, в городу деньги легкие… Пусть потешатся.

К обеду пригнал сам Ермошка, повернулся в кабаке, а потом отправился к Ястребову и долго о чем-то толковал с ним, плотно притворив дверь. К вечеру вся Фотьянка сразу опустела, потому что партий тридцать выступили по единственной дороге в Кедровскую дачу, которая из Фотьянки вела на Мелединский кордон. Это был настоящий поход, точно двигалась какая-нибудь армия. Золотопромышленники ехали верхом, потому что в весеннюю распутицу на колесах здесь не было хода, а рабочие шли пешком. Партия Кишкина выступила одной из последних. Задержал Мыльников, пропавший в самую критическую минуту, – его едва разыскали. Он вообще что-то хитрил.

– Ты у меня, оборотень, смотри!.. – пригрозил Кишкин, вошедший в роль заправилы. – В лесу-то один Никола бог: расчет мелкими дадим.

Партия составлена была из следующих лиц: Кишкин, Петр Васильич, Мыльников, Яша, Мина Клейменый, Турка и Матюшка. Настоящим работником был один Матюшка да разве Петр Васильич с Мыльниковым, а остальные больше для счета. Впрочем, приисковая работа требовала большой сноровки, и старики могли ответить за молодых. Собственно вожаком служил Мина Клейменый, а другие только проверяли его. В хвосте партии плелась Окся, взятая по общему соглашению для счастья. Это была единственная баба на все поисковые партии, что заметно шокировало настоящих мужиков, как Матюшка, делавший вид, что совсем не замечает Окси.

– Ты, дедушка, не ошибись, – упрашивал Кишкин. – Тоже не молодое твое место… Может, и запамятовал место-то?

– Чего его запамятовать-то? – обижался Мина. – Как перейдем Ледянку, сейчас тебе вправо выпадет дорога на Мелединский кордон, а мы повернем влево, к Каленой горе…

– Да ведь ты про Миляев мыс сказывал-то?

– Ах, какой же ты, братец мой, непонятный! Ну, тут тебе и есть Миляев мыс, потому как Мутяшка упала в Меледу под самой Каленой горой.

– Смотри, старый, не ошибись…

Кишкин ужасно волновался и подозрительно оглядывал каждого встречного.

– А где же Ястребов-то? – спохватился он. – Ах, батюшка… Как раз он нагонит нас, да по нашим следам и пойдет.

– Чай остался пить с Ермошкой… – объяснил уклончиво Петр Васильич.

Кедровская дача занимала громадную площадь в четыреста тысяч десятин и из одного угла в другой была перерезана рекой Меледой, впадавшей в Балчуговку верстах в двадцати ниже Фотьянки. Вся дача состояла из непроходимых болот и дремучего леса. Единственным живым пунктом был кордон на Меледе, где зиму и лето жил лесник. В Меледу впадал целый ряд

болотных речек, как Мутяшка, Генералка, Ледянка, Свистунья и Суходойка. Застоявшаяся болотная вода этими речонками выливалась в Меледу. Места были все глухие, куда выезжали только осенью «шишковать», то есть собирать шишки по кедровникам. Дорога в верхотинах Суходойки и Ледянки была еще в казенное время правлена и получила название Маяковой слани, – это была сейчас самая скверная часть пути, потому что мостовины давно сгнили и приходилось людям и лошадям брести по вязкой грязи, в которой плавали гнилые мостовины. Про Маякову слань рассказывали нехорошие вещи: блазнило здесь и глаза отводило, если кто оробеет. Перед Маяковой сланью партии делали первую передышку, а часть отправилась на заявки вниз по Суходойке.

– Это твоя работа… – шутил Кишкин, показывая Мыльникову на пробитую по берегу Суходойки сакму. – Спасибо тебе скажут.

На Маяковой слани партия Кишкина «затемнала», и пришлось брести в темноте по страшному месту. Особенно доставалось несчастной Оксе, которая постоянно спотыкалась в темноте и несколько раз чуть не растянулась в грязь. Мыльников брел по грязи за ней и в критических местах толкал ее в спину чернем лопаты.

– Ну ты, скотинка Богова… – ворчал он. – Ведь уродится же этакая тварина!

У конца Маяковой слани, где шла повертка на кордон, партия остановилась для совещания. Отсюда к Каленой горе приходилось идти прямо лесом.

– Мина, смотри, не ошибись! – кричали голоса. – Кабы на Малиновку не изгадать…

Река Малиновка была правым притоком Мутяшки, о ней тоже ходили нехорошие слухи. Когда партия двинулась в лес, произошло некоторое обстоятельство, невольно смутившее всех.

– Тятька, кто-то на вершной проехал, – заявила Окся, показывая на повертку к кордону. – Остановился, поглядел и поехал…

– Да куда поехал-то, чучело гороховое?

– А за вами…

Кишкину тоже показалось, что кто-то «следит» за партией на известном расстоянии.

**V**

Ночь на первое мая была единственной в летописях золотопромышленности: Кедровскую дачу брали приступом, точно клад. Всех партий по течению Меледы и ее притоков сошлось больше сотни, и стоном стон стоял. Ровно в двенадцать часов начали копать заявочные ямы и ставить столбы. Главная работа загорелась под Каленой горой, где сошлось несколько поисковых партий, кроме партии Кишкина; очутился здесь и Ястребов, и кабатчик Ермошка, и мещанин Затыкин, и еще какие-то никому неведомые люди, нагнавшие из города. Всем хотелось захватить получше местечко на Мутяшке, о которой Мыльников распустил самые невероятные слухи. На Миляевом мысу, где Кишкин предполагал сделать заявку, произошла настоящая битва. Когда Кишкин пришел с партией на место, то на Миляевом мысу уже стояли заявочные столбы мещанина Затыкина, успевшего предупредить всех остальных.

– Руби столбы, ребята! – командовал Кишкин, размахивая руками. – До двенадцати часов поставлены… Не по закону!

– Врешь, у тебя часы переведены! – кричал Затыкин, показывая свои серебряные часы. – Не тронь мои столбы…

Поднялся шум и гвалт… Матюшка без разговоров выворотил затыкинский столб и поставил на его место свой. Рабочие Затыкина бросились на Матюшку. Произошла настоящая свалка, причем громче всех раздавался голос Мыльникова:

– Батюшки, убили!.. Родимые, пустите душу на покаяние!..

Темнота увеличивала суматоху. Свои не узнавали своих, а лесная тишь огласилась неистовыми криками, руганью и ревом. В заключение появился Ястребов, приехавший верхом.

– Что за драка? – крикнул он. – Убирайтесь вон с моего места, дураки!..

– Давно ли оно твоим-то стало? – огрызался Кишкин охрипшим от крика и ругани голосом. – Проваливай в палевом, приходи в голубом…

Ястребов замахнулся на Кишкина нагайкой, но вовремя остановился.

– Ну, ударь?!. – ревел Кишкин, наступая. – Ну?.. Не испугались… Да. Ударь!.. Не смеешь при свидетелях-то безобразие свое показать…

– Не хочу! – отрезал Ястребов. – Вы в моей заявке столбы-то ставите… Вот я вас и уважу…

– Но-но-о?

– Да уж видно так… Я зачертил Миляев мыс от самой Каленой горы: как раз пять верст вышло, как по закону для отвода назначено.

– Андрон Евстратыч, надо полагать, Ермошка бросился с заявкой на Фотьянку, а Ястребов для отвода глаз смутьянит, – шепотом сообщил Мыльников. – Верно говорю… Должон он быть здесь, а его нет.

Кишкин остолбенел: конечно, Ястребов перехитрил и заслал Ермошку вперед, чтобы записать свою заявку раньше всех. Вот так дали маху, нечего сказать…

– Вот что, Мыльников, валяй и ты в Фотьянку, – шепнул Кишкин, – может, скорее придешь… Да не заплутайся на Маяковой слани, где повертка на кордон.

– Уж и не знаю, как мне быть… Боязно одному-то. Кабы Матюшка…

– Я вот покажу тебе Матюшку, оборотню! – пригрозил Кишкин. – Лупи во все лопатки…

– А как же, например, Окся?

– Ну тебя к черту вместе и с твоей Оксей…

Когда взошло солнце, оно осветило собравшиеся на Миляевом мысу партии. Они сбились кучками, каждая у своего огонька. Все устали после ночной схватки. Рабочие улеглись спать, а бодрствовали одни хозяева, которым было не до сна. Они зорко следили друг за другом, как слетевшиеся на добычу хищные птицы. Кишкин сидел у своего огня и вполголоса беседовал с Миной Клейменым.

– Так где казенные-то ширпы были? – допытывался он.

– А вон туда, к самой горе…

– И старец там лежал под елочкой?..

– Там… Теперь места-то и не узнаешь. Ужо казенные ширпы разыщем…

– Ну, а как насчет свиньи полагаешь? – уже совсем шепотом спрашивал Кишкин. – Где ее старец-то обозначил?..

– Да прямо он ничего не сказал, а только этак махнул рукою на Мутяшку…

– На Мутяшку?.. И через девицу, говорит, ищите?

– Это он вообще насчет золота…

– Значит, и о свинье тоже, потому как она золотая?..

– Может статься… Болотинка тут есть, за Каленой горой, так не там ли это самое дело вышло.

– Да ведь ты говорил, что мужик в лесу закопал свинью-то?

– Разве говорил? Ну, значит, в лесу…

Окся еще спала, свернувшись клубочком у огонька. Кишкин едва ее разбудил.

– Вставай ты, барышня… Возьму вот орясину, да как примусь тебя обихаживать.

– Отстань!.. – ворчала Окся, толкая Кишкина ногой. – Умереть не дадут…

Кишкину стоило невероятных усилий поднять на ноги эту невежливую девицу. Окся решительно ничего не понимала и глядела на своего мучителя совсем дикими глазами. Кишкин схватил ее за руку и потащил за собой. Мина Клейменый пошел за ними. Никто из партии не слыхал, как они ушли, за исключением Петра Васильича, который притворился спящим. Он вообще держал себя как то странно и во время ночной схватки даже голосу не подал, точно воды в рот набрал. Фотьянский дипломат убедился в одном, что из их предприятия решительно ничего не выйдет. С другой стороны, он не верил ни одному слову Кишкина и, когда тот увел Оксю, потихоньку отправился за ними, чтобы выследить все дело.

– Один, видно, заполучить свинью захотел, – возмущался Петр Васильич, продираясь сквозь чащу. – То-то прохирь: хлебцем вместе, а табачком врозь… Нет, погоди, брат, не на таковских напал.

С другой стороны, его смешило, как Кишкин тащил Оксю по лесу, точно свинью за ухо. А Мина Клейменый привел Кишкина сначала к обвалившимся и заросшим лесом казенным разведкам, потом показал место, где лежал под елкой старец, и наконец повел к Мутяшке.

– Ну, народец!.. – ругался Петр Васильич. – Все один сграбастать хочет…

Ему приходилось делать большие обходы, чтобы не попасть на глаза Шишке, а Мина Клейменый вел все вперед и вперед своим ровным старческим шагом. Петр Васильич быстро утомился и даже вспотел. Наконец Мина остановился на краю круглого болотца, которое выливалось ржавым ручейком в Мутяшку.

– Ну, ищи!.. – толкал Кишкин ничего не понимавшую Оксю. – Ну, чего уперлась-то, как пень?..

– Да я тебе разве собака далась?! – огрызнулась Окся, закрывая широкий рот рукой. – Ищи сам…

– Ах, дура точеная… Добром тебе говорят! – наступал Кишкин, размахивая короткими ручками. – А то у меня, смотри, разговор короткий будет…

Окся неожиданно захохотала прямо в лицо Кишкину, а когда он замахнулся на нее, так толкнула его в грудь, что старик кубарем полетел на траву. Петр Васильич зажал рот, чтобы не расхохотаться во все горло, но в этот момент за его спиной раздался громкий смех. Он оглянулся и остолбенел: за ним стоял Ястребов и хохотал, схватившись руками за живот.

– Ах, дураки, дураки!.. – заливался Ястребов, качая головой. – То-то дураки-то… Друг друга обманывают и друг друга ловят. Ну, не дураки ли вы после этого?..

– А ты проходи своей дорогой, Никита Яковлич, – ответил Петр Васильич с важностью, – дураки мы про себя, а ты, умный, не ввязывайся.

– Боишься, что вашу свинью найду?

– Это уж не твоего ума дело…

Хохот Ястребова заставил Кишкина опять схватить Оксю за руку и утащить ее в чащу. Мина Клейменый стоял на одном месте и крестился.

– С нами крестная сила! – шептал он, закрывая глаза.

Когда они сошлись опять вместе, Кишкин шепотом спросил старика:

– Слышал? Как он захохочет…

– Не поглянулось ему… Недаром старец-то сказывал, что зарок положен на золото. Вот он и хохочет…

– А у меня инда мороз по коже…

На месте действия остались Ястребов и Петр Васильич.

– Все я знаю, други мои милые, – заговорил Ястребов, хлопая Петра Васильича по плечу. – Бабьи бредни и запуки, а вы и верите… Я еще пораньше про свинью-то слышал, посмеялся – только и всего. Не положил – не ищи… А у тебя, Петр Васильич, свинья-то золотая дома будет, ежели с умом… Напрасно ты ввязался в эту свою канпанию: ничего не выйдет, окромя того, что время убьете да прохарчитесь…

Петр Васильич и сам думал об этом же, почесывая затылок, хотя признаться чужому человеку и было стыдно.

– Ну, а какая дома-то свинья, Никита Яковлич?

– А такая… Ты от своей-то канпании не отбивайся, Петр Васильич, это первое дело, и будто мы с тобой вздорим – это другое. Понял теперь?..

– Как будто и понял, как будто и нет…

– Ладно, ладно… Не валяй дурака. Разве с другим бы я стал разговаривать об этаких делах?

Эта история с Оксей сделалась злобой промыслового дня. Кто ее распустил – так и осталось неизвестным, но об Оксе говорили на все лады и на Миляевом мысу и на других разведках. Отчаянные промысловые рабочие рады были случаю и складывали самые невозможные варианты.

– Он, значит, Кишкин, на веревку привязал ее, Оксюху-то, да и волокет, как овцу… А Мина Клейменый идет за ней да сзади ее подталкивает. «Ищи, слышь, Оксюха…» То-то идолы!.. Ну, подвели ее к болотине, а Шишка и скомандовал: «Ползи, Оксюха!» То-то колдуны проклятые! Оксюха, известно, дура: поползла, Шишка веревку держит, а Мина заговор наговаривает… И нашла бы ведь Оксюха-то, кабы он не захохотал. Учуяла Оксюха золотую свинью было совсем, а он как грянет, как захохочет…

Особенно приставал Петр Васильич, обиженный тем, что Кишкин не взял его на поиск свиньи.

– Ах, и нехорошо, Андрон Евстратыч! Все вместе были, а как дошло дело до богачества – один ты и остался. Ухватил бы свинью, только тебя и видели. Вот какая твоя деликатность, братец ты мой…

– Отстань, смола! – огрызался Кишкин. – Что пасть-то растворил шире банного окна?.. Найдешь с вами, дураками!

Рабочие хотя и потешались над Оксей, но в душе все глубоко верили в существование золотой свиньи, и легенда о ней разрасталась все шире. Разве старец-то стал бы зря говорить?.. В казенное время всячина бывала, хотя нашедший золотую свинью мужик и оказал бы себя круглым дураком.

Центром заявочных работ служил Миляев мыс, на котором шла горячая работа, несмотря на возникшие недоразумения. На Миляевом же мысу «утвердились» и те партии, которые делали разведки по Мутяшке с ее притоками – Худенькой и Малиновкой, а также по Меледе и Генералке. Очень уж угодное место издалось, недаром Миляевым мысом называется. Каленая гора в виду зеленой мохнатой шапкой стоит, а от нее прошел лесистый увал до самой Меледы, где в нее пала Мутяшка. В несколько дней по мысу выросли десятки старательских балаганов, кое-как налаженных из бересты, еловой коры и хвои. Этот сборный пункт по вечерам представлял необыкновенно пеструю живую картину – везде пылали яркие костры и шел немолчный людской гомон. В лесу стучал топор, где-то тренькала балалайка, а ухари-рабочие распевали песни. Враждебно встретившиеся партии давно побратались: пусть хозяева грызутся, а рабочим делить нечего. Если что разделяло рабочую массу, так вынесенная еще из домов рознь. Варнаки с Фотьянки и балчуговцы из Нагорной чувствовали себя настоящими хозяевами приискового дела, на котором родились и выросли; рядом с ними строгали и швали из Низов являлись жалкими отбросами, потому что лопаты и кайла в руки не умели взять по-настоящему, да и земляная тяжелая работа была им не под силу. Варнаки относились к ним с подобающим презрением и везде давали чувствовать свое рабочее превосходство. Из-за этого происходили постоянные стычки, перекоры, высмехи и бесконечная ругань.

– Строгали и ходят-то, так ровно на костылях, – смеялся Матюшка, лучший рабочий на Миляевом мысу. – В богадельню им так в самую бы пору!.. Туда же, на золото польстились. Шилом им землю ковырять да стамеской…

В партии Кишкина находился и Яша Малый, но он и здесь был таким же безответным, как у себя дома. Простые рабочие его в грош не ставили, а Кишкин относился свысока. Матюшка дружил только со старым Туркой да со своими фотьянскими. У них были и свои разговоры. Соберутся около огонька своей артелькой и толкуют.

– Обыщем золото, а ухватят его хозяева, – роптал Матюшка, уже затронутый жаждой легкой наживы. – На них не наробишься… Главная причина во всем – деньги.

Раз вечером, когда Матюшка сидел таким образом у огонька и разговаривал на излюбленную тему о деньгах, случилось маленькое обстоятельство, смутившее всю компанию, а Матюшку в особенности.

– Эх, кабы раздобыть где ни на есть рублей с триста! – громко говорил Матюшка, увлекаясь несбыточной мечтой. – Сейчас бы сам заявку сделал и на себя бы робить стал… Не велики деньги, а так и помрешь без них.

– Уж это ты верно… – уныло соглашался Турка, сидя на корточках перед огнем. – Люди родом, а деньги водом. Кому счастки… Вон Ермошку взять, да ему наплевать на триста-то рублей!

Кругом было темно, и только колебавшееся пламя костра освещало неясный круг. Зашелестевший вблизи куст привлек общее внимание. Матюшка выхватил горевшую головню и осветил куст – за ним стояла растерявшаяся и сконфуженная Окся. Она подкралась очень осторожно и все время подслушивала разговор, пока не выдал ее присутствия хрустнувший под ногой сучок.

– Ты, уродина, чего тут делаешь? – накинулся на нее Матюшка.

– Ишь, подслушивает, – заметил кто-то из рабочих. – Дура, а на это смысел тоже имеет…

– Гони ее, Матюшка, в три шеи!.. Омморошная какая-то…

Матюшка повернул Оксю за плечо и так двинул в спину, что она отлетела сажени на три. Эта выходка сопровождалась общим хохотом.

– Ай да Матюшка! Уважил барышню… То-то она все шары пялит на него. Вот и вышло, что поглянулась собаке палка.

Окся с трудом поднялась с земли, отошла в сторону, присела в траву и горько заплакала. Ее с детства били, но тут выходило совсем особенное дело. С Оксей случилось что-то необыкновенное, как только она увидела Матюшку в первый раз, когда партия выступала из Фотьянки. И дорогой она все время присматривалась к нему, и все время на Миляевом мысу. Смотрит, а сама точно вся застыла… Остальной мир больше для нее не существовал. Оксину душу осветил внутренний свет, та радость, которая боится сознаться в собственном существовании. Нечто подобное она испытывала в детстве, когда в глухую полночь ударит колокол к Христовой заутрене и недавняя тишина и мрак сменялись праздничной, гулкой и светлой радостью.

**VI**

Кишкин пользовался горячим временем и, кроме заявки на Миляевом мысу, поставил столбы в трех местах по Мутяшке. Пробные шурфы везде давали хорошие знаки. Но заявки были еще только началом дела. И отвод заявленных местностей ему сделают раньше других, как обещал Каблуков. Вся беда заключалась в том, где взять денег на казенную подать, – по уставу о частной золотопромышленности полагалось ежегодно вносить по рублю с десятины, в среднем это составляло от 60 до 100 рублей с прииска. Сумма по своему существу ничтожная, но Кишкин знал по личному опыту, как трудно достать даже три рубля, когда они нужны до зарезу.

– Будет день – будет хлеб!.. – утешал он себя, раздумавшись про свои дела.

Все, что можно было достать, выпросить, занять и просто выклянчить, – все это было уже сделано. Впереди оставался один расчет: продать одну или две заявки, чтобы этим перекрыться на разработку других. А пока Кишкину приходилось работать наравне со всеми остальными рабочими, причем ему это доставалось в десять раз тяжелее и по непривычке к ручному труду и просто по старческому бессилию. Набродившись по лесу за день, старик едва мог добраться до своего балагана. Рабочие сейчас же заваливались спать, а Кишкин лежал, ворочался с боку на бок и все думал. Эх, если бы счастье улыбнулось ему на старости лет… Ведь есть же справедливость, а он столько лет бедствовал и терпел самую унизительную горькую нужду!.. Всего-то найти бы первое счастливое местечко, чтобы расправить руки, а там уже все пошло бы само собой: деньги, как птицы, прилетают и улетают стаями…

– Показал бы я им всем, каков есть человек Андрон Кишкин! – вслух думал старик и даже грозил этим всем в темноте кулаком. – Стали бы ухаживать за мной… лебезить… Нет, брат, шалишь!.. Был раньше дураком, а во второй раз извините.

Занятый этими мыслями и соображениями, Кишкин как то совсем позабыл о своем доносе, да и некогда о нем теперь было думать, когда каждый день мог сделаться роковым.

Часто Кишкин один ходил по течению Мутяшки и высматривал новые места под заявки. Каждый свободный клочок земли пробуждал в нем какой-то страх: а если золото вот именно здесь спряталось? Если бы была возможность, он захватил бы в свои руки всю Меледу со всеми притоками и никому не уступил бы вершка, отцу родному. Когда он видел чужой заявочный столб, его охватывало знобившее чувство зависти. А свободных мест по Мутяшке уже не оставалось: в течение каких-нибудь трех дней все было расхватано по клочкам. Даже то болотце, к которому водил Мина искать золотую свинью, и оно было захвачено Ястребовым.

– Для счету прихватил, – объяснил Ястребов, встретив как-то Кишкина. – Что ему, болоту, даром оставаться… Так ведь, Андрон Евстратыч?.. Разбогатеем мы, видно, с тобой заодно…

– Гусь свинье не товарищ, Никита Яковлич…

– Кто гусь-то, по-твоему?

– А уж как это тебе поглянется…

Кишкин относился к Ястребову подозрительно, а тот нет нет и заглянет на Миляев мыс. И все-то у него шуткой да балагурством: конечно, богатый человек, селезенка играет… С ним появлялся иногда кабатчик Ермошка, Затыкин и другие золотопромышленники – мелочь. Острый период заявочной горячки миновал, и предприниматели начали понемногу приглядываться друг к другу. Да и в лесу совсем другое дело, чем где-нибудь в городе: живому человеку каждый рад. Душой общества являлся Ястребов, как бывалый и опытный человек, прошедший сквозь огонь, воду и медные трубы. Соберется такая компания где-нибудь около огонька и балагурит.

– Никита Яковлич, будешь ты наше золото скупать, – подшучивали над Ястребовым. – Как пить дашь.

– Было бы что скупать, – отъедается Ястребов, который в карман за словом не лазил. – Вашего-то золота кот наплакал… А вот мое золото будет оглядываться на вас. Тот же Кишкин скупать будет от моих старателей… Так ведь, Андрон Евстратыч? Ты ведь еще при казне набил руку…

– Было, да сплыло, – огрызался Кишкин. – Вот про себя лучше скажи, как балчуговское золото скупаешь…

– А ты видел, как я его скупаю? Вот то-то и есть… Все кричат про меня, что скупаю чужое золото, а никто не видал. Значит, кто поумнее, так тот и промолчал бы.

Раз Ястребов приехал немного навеселе. Подсев к огоньку у балагана Кишкина, он несколько времени молчал, встряхивая своей большой головой и улыбаясь. Кишкин долго всматривался в его коренастую фигуру и разбойничью рожу, а потом проговорил с лесной откровенностью:

– Гляжу я на тебя, Никита Яковлич, и дивуюсь… Только дать тебе нож в руки и сейчас на большую дорогу: как есть разбойник.

– Это ты правильно… ха-ха!.. – засмеялся Ястребов. – Не было бы разбойников, не стало бы и праведника.

В приливе нежности Ястребов обнял Кишкина и так любовно проговорил:

– Плачет о нас с тобой острог-то, Андрон Евстратыч… Все там будем, сколько ни прыгаем. Ну, да это наплевать… Ах, Андрон Евстратыч!.. Разве Ястребов вор? Воры-то ваша балчуговская компания, которая народ сосет, воры инженеры, канцелярские крысы вроде тебя, а я хлеб даю народу… Компания-то полуторых рублей не дает за золотник, а я все три целковых.

– Так ты, значит, в том роде, как благодетель?

– Теперь-то как хочешь зови, а вот когда не будет Никиты Ястребова, тогда и благодетелем взвеличают.

Эта разбойничья философия рассмешила Кишкина до слез. Воровали и в казенное время, только своим воровством никто не хвастался, а Ястребов в благодетели себя поставил.

– Утешил ты меня, Никита Яковлич… Благодетель, говоришь?!. Ха-ха… В самую пропорцию благодетель. Медаль бы тебе только за усердие… А я, грешный человек, все за разбойника тебя почитал.

Ястребов не обижался и хохотал вместе.

– Что же это Мыльникова нет? – по нескольку раз в день спрашивал Кишкин Петра Васильича. – Точно за смертью ушел.

Он должен был вернуться на другой день и не вернулся. Прошло целых два дня, а Мыльникова все нет.

– Ужо я сам схожу… – предлагал Петр Васильич, которому хотелось улизнуть под благовидным предлогом.

– Ну нет, брат, шалишь! – озлился Кишкин. – Мыльников сбежал, теперь ты хочешь уйти, кто же останется? Тоже компания, нечего сказать…

– Да ведь надо в волости объявиться? – сказал Петр Васильич. – Мы тут наставим столбов, а Затыкин да Ястребов запишут в волостную книгу наши заявки за свои… Это тоже не модель.

– Ладно, сказывай… – ворчал Кишкин. – Знаю я вас, охаверников. Уж только и нар-родец!.. Обождем еще мало места, а потом я сам пойду и все устрою.

– Да ведь ты сорок-то верст две недели проползешь, Андрон Евстратыч. Ножки у тебя коротенькие, задохнешься на полдороге…

Мыльников явился через три дня совершенно неожиданно, ночью, когда все спали. Он напугал Петра Васильича до смерти, когда потащил из балагана его за ногу. Петр Васильич был мужик трусливый и чуть не крикнул караул.

– А я думал, что Андрона Евстратыча пымал за ногу-то, – объяснял Мыльников. – По ногам-то вы схожи…

– А ты разуй глаза-то сперва… Где пропадал, путаная голова?

– Ох, и не говори.

На шум проснулся Кишкин. Развели потухший огонек, и охавший все время Мыльников, после некоторого ломанья, объяснил все.

– Прихожу это я на Фотьянку, чтобы в волости в книгу записать заявку, – рассказывал он слезливым тоном, – а Затыкин-то уж в книге Миляев мыс записал…

– Ну-у? Да не подлец ли… а?! Ах, жулик…

– Верно говорю… Значит, теперь, так сказать, и наша заявка пропала и ястребовская, потому как у Затыкина столбы-то дальше наших поставлены, а пока мы спорились – он и хлопнул свою заявку. Замежевал он нас…

– Ну, это он врет! – сказал Кишкин. – Он, значит, из пяти верст вышел, а это не по закону… Мы ему еще утрем нос. Ну, рассказывай дальше-то…

– Что дальше-то, – обезножил я, вот тебе и дальше… Побродил по студеной вешней воде, ну, и обезножил, как другая опоенная лошадь.

– Ой, врешь! – усомнился Петр Васильич. – Поди, опять у Ермошки в кабаке ноги-то завязил? У всех у вас, строгалей, одна вера-то…

– Одинова, это точно, согрешил… – каялся Мыльников. – Силком затащили робята. Сидим это, братец ты мой, мы в кабаке, например, и вдруг трах! следователь… Трах! сейчас народ сбивать на земскую квартиру и меня в первую голову зацепили, как, значит, я обозначен у него в гумаге. И следователь не простой, а важный – так и называется: важный следователь.

– Это что же, по твоей, видно, жалобе? – уныло спросил Петр Васильич, почесывая в затылке. – Вот так крендель, братец ты мой… Ловко!

– Ну, рассказывай, – торопил Кишкин, принимая деловой вид. – Не важный следователь, а следователь по особо важным делам…

– А скажу я тебе, Андрон Евстратыч, что заварил ты кашу… Ка-ак мне это самое сказали, что гумага и следователь, точно меня кто под коленку ударил, дыхнуть не могу. Уж Ермошка сжалился, поднес стаканчик… Ну, пошел я на земскую квартиру, а там и староста, и урядник, и наших балчуговских стариков человек с пять. Сейчас следователь, например, ко мне: «Вы Тарас Мыльников?» – «Точно так, ваше высокородие…» – «Можете себя оправдать по делу отставного канцелярского служителя Андрона Кишкина?» – «Точно так-с…» – «А где Кишкин?» Тут уж я совсем испугался и брякнул: «Не могу знать, ваше высокородие… Я его совсем не

знаю, а только стороной слыхивал, что какой-то Кишкин служил у нас на промыслах».

– Вот и вышел дурак! – озлился Кишкин. – Чего испугался-то, дурья голова? Небось, кожу не снимут с живого…

Петр Васильич молчал, угнетенно вздыхая. Вся его фигура теперь изображала собой одно слово: влопался!..

– Да ты послушай дальше-то! – спорил Мыльников. – Следователь-то прямо за горло… «Вы, Тарас Мыльников, состояли шорником на промыслах и должны знать, что жалованье выписывалось пятерым шорникам, а в получении расписывались вы один?» – «Не подвержен я этому, ваше высокородие, потому как я неграмотный, а кресты ставил – это было…» И пошел пытать, и пошел мотать, и пошел вертеть, а у меня поджилки трясутся. Не помню, как я и ушел от него, да прямо сюда и стриганул… Как олень летел!

– Зачем ты про меня-то врал, Тарас?..

– Испужался, Андрон Евстратыч… И сюда-то бегу, а самому все кажется, что ровно кто за мной гонится. Вот те Христос…

Беседа велась вполголоса, чтобы не услышали другие рабочие. Мыльников повторил раз пять одно и то же, с необходимыми вариантами и украшениями.

– Что же ты молчишь, Петр Васильич? – спрашивал Кишкин.

– А что мне говорить, Андрон Евстратыч: плакала, видно, наша золотая свинья из-за твоей гумаги… Поволокут теперь по судам.

– А где моя Окся? – спрашивал Мыльников в заключение.

Хватились Окси, а ее и след простыл: она скрылась неизвестно куда.

**VII**

Компанейские работы сосредоточивались на нынешнее лето в двух пунктах: в устьях реки Меледы, где она впадала в Балчуговку, и на Ульяновом кряже. В первом пункте разрабатывалась громадная россыпь Дерниха, вскрытая разрезом еще с зимы, а во втором заложена была новая шахта Рублиха. Оба месторождения открыты были фотьянскими старателями, и компания поставила свои работы уже на готовое. Особенно заманчивой являлась Рублиха, из которой старатели дудками добыли около полпуда золота, – это и была та самая жила, которую Карачунский пробовал на фабрике сам. Открыл ее старик Кривушок, из фотьянских старожилов-каторжан. Это был страшный бедняк, целую жизнь колотившийся, как рыба об лед. Открытая им жила сразу его обогатила. Бывали дни, когда Кривушок зарабатывал рублей по триста. Такое дикое богатство погубило беднягу в несколько недель. То, чего не могла сделать бедность, сделало богатство. Кривушок закладывал пачку ассигнаций в голенище и с утра до вечера проводил в кабаке Фролки, в этом заветном месте всех фотьянских старателей. У старика не было семьи, – все перемерли. Жениться было поздно, и он, напившись пьяный, горько плакался на свое обидное богатство, явившееся для него точно насмешкой.

– Кабы раньше жилка-то провернулась… – повторял Кривушок. – Жена заморилась на работе, ребятенки перемерли с голодухи… Куды мне теперь богатство?..

Около Кривушки собралась вся кабацкая рвань. Все теперь пили на его счет, и в кабаке шло

кромешное пьянство.

– Ты бы хоть избу себе новую поставил, – советовал Фролка, – а то все пропьешь, и ничего самому на похмелье не останется. Тоже вот насчет одежи…

– Угорел я, Фролушка, сызнова-то жить, – отвечал Кривушок. – На что мне новую избу, коли и жить-то мне осталось, может, без году неделю… С собой не возьмешь. А касаемо одежи, так оно и совсем не пристало: всю жисть проходил в заплатах…

Кривушок кончил скорее, чем предполагал. Его нашли мертвым около кабака. Денег при Кривушке не оказалось, и молва приписала его ограбление Фролке. Вообще все дело так и осталось темным. Кривушка похоронили, а его жилку взяла за себя компания и поставила здесь шахту Рублиху.

Верховный надзор за работами на Дернихе принадлежал Зыкову, но он рассыпным делом интересовался мало, потому что увлекся новой шахтой.

– Смотри, Родион Потапыч, как бы нам не ошибиться с этой Рублихой, – предупреждал Карачунский. – То же будет, что с Спасо-Колчеданской…

– А откуда Кривушок золото свое брал, Степан Романыч?.. Сам мне покойник рассказывал: так, говорит, самоваром жила и ушла вглубь… Он то пировал напоследях, ну, дудка и обвалилась. Нет, здесь верное золото, не то что на Краюхином увале…

Карачунский слепо верил опытности Зыкова, но его смущало противоречие Лучка, – последний не хотел признавать Рублихи.

– Обманет она, эта самая Рублиха, – упрямо повторял Лучок.

– Да почему обманет-то?

– А так… Место не настоящее. Золото гнездовое: одно гнездышко подвернулось, а другое, может, на двадцати саженях… Это уж не работа, Степан Романыч. Правильная жила идет ровно… Такая надежнее, а эта игрунья: сегодня позолотит, да год будет душу выматывать. Это уж не модель…

Рублиха послужила яблоком раздора между старыми штейгерами. Каждый стоял на своем, а особенно Родион Потапыч, вложивший в новее дело всю душу. Это был своего рода фанатизм коренного промыслового человека.

– Уж будьте спокойны, Степан Романыч, – уверял Зыков. – Голову отдам на отсеченье, что Рублиха вполне себя оправдает…

Эти уверения напоминали Карачунскому того француза, который доказывал вращение земли своим честным словом. Но у него был свой расчет: новое коренное месторождение выставляло деятельность компании в выгодном свете пред горным департаментом. Значит, она развивается и быстро шагает вперед, а это главное. В крайнем случае Рублиха могла обойтись тысяч в восемьдесят, потому что машины и шахтовые приспособления перевозились с Краюхина увала, а Спасо-Колчеданская жила оказывалась «холостой», так что ее оставили только до осени.

По составленному плану работы на Рублихе предполагались в больших размерах. Дудка Кривушка оставалась в стороне, а шахта была заложена ниже, чтобы пересечь жилу саженях

на двадцати в глубину. Таким образом зараз решались две задачи: откачивалась вода на предельном горизонте, а затем работы можно было вести сразу в двух направлениях – вверх и вниз, по отрезкам жилы. Практика показала, что все жилы имеют падение под углом, как и жила на Ульяновом кряже. Следовательно, можно было по приблизительному расчету выйти на жилу на известной глубине. В каких-нибудь две недели вырос на Ульяновом кряже новый деревянный корпус, поставлены были паровые котлы, паровая машина, и задымилась высокая железная труба. Для служащих была построена конторка, где поселился в одной каморке Родион Потапыч, а затем строились амбары для разной приисковой снасти, навесы, конюшни, – одним словом, вся приисковая городьба. Ульянов кряж закрывал Рублиху со стороны Фотьянки, и старик Зыков был очень рад этому обстоятельству, потому что мог теперь жить совершенно в лесу. Он даже по субботам домой в Балчуговский завод не выходил, а только время от времени отправлялся на Дерниху, чтобы посмотреть на работавшую «бутару». Бутара – сибирского типа машина для промывки песков в больших массах. Главную ее часть составляет железный продырявленный цилиндр, который приводится во вращательное движение паровой машиной. Золотоносный песок сваливался в бутару, в нее проводилась сверху сильная струя воды, и промывка совершалась при страшном грохоте. Одна такая бутара в сутки обрабатывала десятки тысяч пудов песку. Но у Родиона Потапыча вообще не лежало почему-то сердце к этой Дернихе, хотя россыпь была надежная и, по приблизительным расчетам, должна была дать в одно лето около 20 пудов золота.

– На Фотьянской россыпи больше ста пудов добыли, – повторял Зыков, точно хотел этим унизить благонадежность Дернихи. – Вот ужо Рублиха наша ахнет, так это другое дело…

Место слияния Меледы и Балчуговки было низкое и болотистое, едва тронутое чахлым болотным леском. Родион Потапыч с презрением смотрел на эту «чертову яму», сравнивая про себя красивый Ульянов кряж. Да и россыпное золото совсем не то, что жильное. Первое он не считал почему-то и за золото, потому что добыча его не представляла собой ничего грандиозного и рискованного, а жильное золото надо умеючи взять, да не всякому оно дается в руки.

Увлечение Рублихой у старика приняло какой-то болезненный характер, точно он закладывал в эту работу последнюю свою энергию. Когда спал неугомонный старик – никто не знал. Во всякое время дня и ночи его можно было встретить на шахте, где он сидел, как коршун, ожидавший своей добычи. Первые сажени углубления были пройдены с поразительной быстротой, а дальше пошел камень «ребровик», требовавший «диомида». Это были первые пропластки основных гранитных пород, а жилы залегают в спаях таких пропластков. Родион Потапыч высчитывал каждый новый вершок углубления и давно определил про себя, в какой день шахта выйдет на роковую двадцатую сажень и пересечет жилу. Он по десяти раз в сутки спускался по стремянке в шахту и зорко наблюдал, как ее крепят, чтобы не было ни малейшей заминки. Пока все шло отлично, потому что грунт был устойчивый, и не было опасности, что шахта в одно прекрасное утро «сбочится», как это бывает при слоях песка-севуна или мягкой расплывающейся глины. Рабочие тоже невольно заражались энергией старого штейгера и с нетерпением ждали двадцатой сажени.

Если что огорчало Зыкова, так это назначение молодого инженера Оникова главным смотрителем новых жильных работ. Положим, старик уважал Оникова «по отцу», но это не мешало быть ему мальчишкой и щенком. Да и поставил себя Оников с первого раза крайне неудобно: приедет в белых перчатках и давай распоряжаться – это не так, то не так. Сам бы хоть раз в шахту спустился. Как ни был вымуштрован Родион Потапыч относительно всяческого уважения ко всяческому начальству, но поведение Оникова задело его за живое: он чувствовал, что молодой инженер не верит в эту жилу и не сочувствует затеянной работе.

– Приедет, папиросу выкурит – и вся тут работа, – жаловался Зыков Карачунскому. – Ежели бы ты сам, Степан Романыч…

– Нет, мне далеко ездить сюда, да и Оникову нужно же какое-нибудь дело. Куда его мне девать… Как-нибудь уж без меня устраивайтесь.

Родион Потапыч только вздыхал. Находил же время Карачунский ездить на Дерниху чуть не каждый день, а тут от Фотьянки рукой подать: и двух верст не будет. Одним словом, не хочет, а Оникова подослал назло. Нечего делать; пришлось мириться и с Ониковым и делать по его приказу, благо немного он смыслит в деле.

– Ужо будет летом гостей привозить на Рублиху – только его и дела, – ворчал старик, ревновавший свою шахту к каждому постороннему глазу. – У другого такой глаз, что его и близко-то к шахте нельзя пущать… Не больно-то любит жильное золото, когда зря лезут в шахту…

Всего больше боялся Зыков, что Оников привезет из города барынь, а из них выищется какая-нибудь вертоголовая и полезет в шахту: тогда все дело хоть брось. А что может быть другое на уме у Оникова, который только ест да пьет?.. И Карачунский любопытен до женского полу, только у него все шито и крыто.

Так шло дело. Шахта была уже на двенадцатой сажени, когда из Фотьянки пришел волостной сотник и потребовал штейгера Зыкова к следователю. У старика опустились руки.

– Это по делу Кишкина? – спросил он.

– Видно, по ему по самому… По первоначалу-то следователь в Балчуговском заводе с неделю выжил, а теперь на Фотьянку перебрался и сбивает народ со всех сторон. Почитай, всех стариков поднял…

Эта неожиданная повестка и встревожила и напугала Зыкова, а главное, не вовремя она явилась: работа горит, а он должен терять дорогое время на допросах.

– Следователь-то у Петра Васильича в дому остановился, – объяснил сотник. – И Ястребов там и Кишкин. Такую кашу заварили, что и не расхлебать. Главное, народ весь на работах, а следователь требовает к себе…

Родион Потапыч оделся на скорую руку и зашагал за сотником. Ему случалось бывать в передрягах, но затеянное Кишкиным дело возмущало его до глубины души. Кто Богу не грешен, царю не виноват, нельзя же всех по судам таскать. Две версты до Фотьянки промелькнуло незаметно. Перед избой Петра Васильича сидели вызванные следователем свидетели. Был тут и подштейгер Лучок, и Мина Клейменый, и Яша, и Турка, и Мыльников – одним словом, вся компания. Все, видимо, чувствовали себя смущенными. Родион Потапыч сухо кивнул головой и пошел прямо в избу. Поднимаясь по лесенке на крыльцо, он лицом к лицу столкнулся с дочерью Феней, которая с тарелкой в руках летела в погреб за огурцами.

– Тятенька!.. – вскрикнула девушка и остановилась.

Родион Потапыч медленно прошел мимо, не ответив на этот крик ни одним движением.

Следователь сидел в чистой горнице и пил водку с Ястребовым, который подробно объяснял приисковую терминологию – что такое россыпь, разрез, борта россыпи, ортовые работы, забои, шурфы и т. д. Следователь был пожилой лысый мужчина с рыжеватой бородкой и темными

умными глазами. Он испытующе смотрел на массивную фигуру Ястребова и в такт его объяснений кивал своей лысой прежде времени головой.

«Вор научит хорошему…» – подумал Зыков, наблюдая эту сцену издали.

В дверях стояли Мыльников и Петр Васильич, заслонившие спинами сидевшего у двери на стуле Кишкина. Сотник протискался вперед и доложил следователю о приводе свидетеля.

– А, очень приятно… – оживился следователь, проглатывая наскоро закуску. – Введите его сюда.

Ястребов поднялся, чтобы выйти, но следователь движением головы удержал его. Родион Потапыч, войдя в комнату, помолился на образа и отвесил следователю глубокий поклон.

– Вы Родион Зыков?

– Точно так-с…

Начался обычный следовательский допрос, причем Зыков отвечал коротко и быстро, по-солдатски.

– Когда была открыта Фотьянская россыпь, вы уже были главным штейгером?

– Точно так-с… Я уж сорок лет состою главным штейгером.

– Ага… – протянул следователь, быстро окидывая его глазами. – Тем лучше… Вы, следовательно, служили при управителе Фролове и его помощнике Горностаеве. Скажите, когда промывался казенный разрез в Выломках?

Ястребов сделал нетерпеливое движение и подсказал:

– Разрабатывался…

– Ну да, когда разрабатывался разрез в Выломках? – повторил следователь.

– Годом не упомню, ваше высокоблагородие, а только еще до воли это самое дело было, – ответил без запинки Зыков.

– Вы тогда служили? Да? И при вас этот разрез разрабатывался? Прекрасно… А не запомните вы, как при управителе Фролове на этом же разрезе поставлены были новые работы?..

Родион Потапыч ждал этого вопроса и, взглянув искоса на Кишкина, ответил самым равнодушным тоном:

– Какие же новые работы, когда вся россыпь была выработана?.. Старатели, конечно, домывали борта, а как это ставилось в конторе – мы не обычны знать, – до конторы я никакого касательства не имел и не имею…

Следователь взглянул вопросительно на Кишкина. Тот заерзал на месте, виновато скашивая глаза на Зыкова, и проговорил:

– Ваше благородие, Родион Потапыч, то есть главный штейгер Зыков, должен знать, как списывались работы в Выломках. От него шли дневные рапортички.

– Да ты не путляй, Шишка! – разразился неожиданно Родион Потапыч, встряхнув своей большой головой. – Разве я к вашему конторскому делу причастен? Ведь ты сидел в конторе тогда да писал, – ты и отвечай…

– Вы должны отвечать только на мои вопросы, – строго заметил следователь.

– А ежели я могу под присягой доказать на него еще по делу о золоте, когда наезжал казенный фискал? – ответил Родион Потапыч, у которого тряслись губы от волнения.

– Это к делу не относится… – заметил следователь, быстро записывая что-то на листе бумаги.

– Вы его под присягой спросите, господин следователь, – подговаривал Кишкин, осклабляясь. – Тогда он сущую правду покажет насчет разреза в Выломках…

– Это уж мое дело, – ответил следователь, продолжая писать. – Господин Зыков, так вы не желаете отвечать на мой вопрос?

– Ваше высокоблагородие, ничего я в этих делах не знаю… – заговорил Родион Потапыч и даже ударил себя в грудь. – По злобе обнесен вот этим самым Кишкиным… Мое дело маленькое, ваше высокоблагородие. Всю жисть в лесу прожил на промыслах, а что они там в конторе делали – я неизвестен. Да и давно это было… Ежели бы и знал, так запамятовал.

– Значит, вы знали, да забыли?

Пойманный на слове, Родион Потапыч тяжело переминался с ноги на ногу и только шевелил губами.

– Вы не беспокойтесь, я уже имею показания по этому делу других свидетелей, – ядовито заметил следователь. – Вам должно быть ближе известно, как велись работы… Старатели работали в Выломках?

– Не упомню, ваше высокоблагородие…

– Так я вам напомню: старатели работали и получали за золотник золота по рублю двадцати копеек, а в казну оно сдавалось управлением Балчуговских промыслов по пяти рублей и дороже, то есть по общему расчету работы.

– Не старатели, а золотничники, ваше высокоблагородие…

– Это все равно, только слова разные…

Свои собственные вопросы следователь проверял по выражению лиц Ястребова и Кишкина, которые не спускали глаз с Родиона Потапыча. Из дела следователь видел, что Зыков – главный свидетель, и налег на него с особенным усердием, выжимая одно слово за другим. Нужно было восстановить два обстоятельства: допущенные правлением старательские работы, причем скупленное у старателей золото заносилось в промысловые книги как свое и выставлялись произвольные цены, втрое и вчетверо выше старательских, а затем подновление казенного разреза в Выломках и занесение его в отчет за новый.

Дальше следовали другие нарушения: выписка жалованья несуществовавшим промысловым служащим, выписка несуществовавших поденщин и т. д. и т. д.

Собранные свидетели теряли уже вторую неделю, когда работа кипела кругом, и это вызывало

общий ропот и глухое недовольство, причем все обвиняли Кишкина, заварившего кашу.

– Мы ему башку отвернем, старой крысе! – ругались рабочие. – Какое время-то стоит – это надо подумать…

Допрошенный в качестве свидетеля Петр Васильич отперся от всего, что обещал показать, чем немало огорчил Кишкина…

– Ты что же это, Петр Васильич? – корил его Кишкин. – Как дошло до дела, так сейчас и в кусты…

– Не наш воз и не наша песенка, Андрон Евстратыч…

– Ладно… Увидим, что запоешь, когда под присягой будут допрашивать.

Мыльников являлся комическим элементом и каждый раз менял свои показания, вызывая улыбку даже у следователя. Приходил он всегда вполпьяна и первым делом заявлял:

– Господин следователь, у меня лицо чистое… Ничем я не замаран, а чтобы насупротив совести – к этому я не подвержен. Вот каков Тарас Мыльников…

Несмотря на всю путаницу и противоречия, развертывалась широкая картина всевозможных злоупотреблений и самого бесшабашного хищничества. Уже собранных фактов было совершенно достаточно для громадного дела, а выступали все новые подробности. Ничего не мог поделать следователь только с Зыковым, который стоял на своем, что ничего не знает. Самый важный свидетель ускользал из рук, и следователь выбился из сил, чтобы довести его до откровенного сознания. Подметив, что старик тяготился бестолковым сиденьем, следователь начал вызывать его чуть не каждый день.

– Ваше высокоблагородие, отпустите душу на покаяние! – взмолился наконец упрямый старик. – Работа у меня горит, а я здесь попусту болтаюсь.

– Вы сами виноваты, что затягиваете дело…

А из Кедровской дачи шли самые волнующие известия: золото оказывалось везде. О Мутяшке рассказывали чудеса, а потом следовали: Малиновка, Генералка, Свистунья, Ледянка, – сделаны были сотни заявок, и везде «золото оправдывалось в лучшем виде». Все новости и последние известия сосредоточивались, конечно, в кабаке Фролки, куда рабочие приходили прямо с заявок. В праздники этот кабак представлял собой настоящий ад, потому что в Фотьянку народ сходился со всех сторон. Разрушавшееся селение сразу ожило: не было избы, где не держали бы постояльцев, не готовили хлеба на промысла или какую-нибудь приисковую снасть. Главным образом наживали деньгу фотьянские бабы, кормившие пришлый народ. Одним словом, произошло какое-то волшебное превращение старого каторжного гнезда, точно на него дунуло свежим воздухом. Мужики складывались в артели, закупали харчи, готовили снасть, чтобы работать старателями на новых вольных промыслах. Это была бешеная игра на свой труд. Своими хозяйскими работами могли добывать золото только двое-трое крупных золотопромышленников вроде Ястребова, а остальные, конечно, сдадут прииски старателям, и это волновало поднятую рабочую массу, разжигая промысловую азартность и жажду легкой наживы.

**VIII**

Самое бойкое дело выпало на долю богатой избы Петра Васильича, где останавливались все

«господа»: и Ястребов и следователь. Сначала старуха, баушка Лукерья, тяготилась этим постоем, а потом быстро вошла во вкус, когда посыпались легкие господские денежки за всякие пустяки: и за постой, и за самовары, и за харчи, и за сено лошадям, и за разные мелкие услуги. Теперь бойкая Феня оказалась как раз на месте и едва успевала помогать старой баушке. Она и самовары подавала, и в погреб бегала, и комнаты прибирала, и господам услуживала.

– Ты уж, голубка, постарайся… – ласково говорила баушка Лукерья. – Ноги-то у тебя молодые…

Всю жизнь прожила баушка Лукерья и не видала денег в глаза, как сама говорила. Да и какие деньги у бабы, которая сидит все дома и убивается по домашности да с ребятишками. Муж-покойник выстроил хорошую избу, завел скотину и всякую домашность, и по-фотьянски семья слыла за богатую. Правда, у баушки Лукерьи были скоплены на смертный час рублей пятнадцать, запрятанных по разным углам, – и только. А тут деньги повалили сразу… Крепкую старуху вдруг охватила старческая жадность. Ей стало казаться, что все мало и что нужно пользоваться коротким счастьем. Не проходило дня, чтобы она не отложила рубля или двух. Особенно любила она, когда давали ей серебро, – ведь всю жизнь прожила на медные деньги, а тут посыпались серебрушки. Баушка Лукерья с какой-то детской радостью пересчитывала их, прятала и опять добывала, чтобы лишний раз полюбоваться. Это перерождение произошло всего в несколько недель, и баушка Лукерья отлично изучила, кто, когда и сколько дает и как лучше взять. Старуха видела, что господа охотнее дают деньги Фене, и стала ее подсылать. Конечно, молоденькая-то приятнее господам: пошутят, посмеются, да и отвалят в другой раз целую полтину. Сначала Феня артачилась и стыдилась, а потом стала привыкать, чтобы хоть этим угодить старой баушке.

– Чего ты сумлеваешься, глупая? – усовещивала ее старуха. – Дикие у них деньги… Не убудет, небось, ежели и пошутят в другой раз.

Феня была не жадная и с радостью отдавала деньги баушке.

Встреча с отцом в первое мгновенье очень смутила ее, подняв в душе детский страх к грозному родимому батюшке, но это быстро вспыхнувшее чувство так же быстро и улеглось, сменившись чем-то вроде равнодушия. «Что же, чужая, так чужая…» – с горечью думала про себя Феня. Раньше ее убивала мысль, что она объедает баушку, а теперь и этого не было: она работала в свою долю, и баушка обещала купить ей даже веселенького ситца на платье.

– Старайся, милушка, и полушалок куплю, – приговаривала хитрая старуха, пользовавшаяся простотой Фени. – Где нам, бабам, взять денег-то… Небось, любезный сынок Петр Васильич не раскошелится, а все норовит себе да себе… Наше бабье дело совсем маленькое.

Эти планы баушки Лукерьи чуть не расстроились. Раз в воскресенье приехала на Фотьянку сестра Марья. Улучив свободную минуту, она разговорилась с Феней.

– У вас здесь, сказывают, веселье, не то что у нас: сидишь, даже одурь возьмет… Прокопий на своей фабрике, Анна с ребятишками, мамынька все вздыхает али жаловаться начнет, а я как очумелая… Завидно на других-то делается.

– Тятенька-то сколько разов был у нас, – рассказывала Феня. – И не глядит на меня… Хуже чужого.

– И домой он нынче редко выходит… С новой шахтой связался и днюет и ночует там. А уж тебе, сестрица, надо своим умом жить, как-никак… Дома-то все равно нечего делать.

Рассказывала Феня, как наезжал несколько раз Акинфий Назарыч и как заливался слезами, а потом перестал ездить, точно отрезал. Рассказывая, Феня всплакнула: очень уж ей жаль было Акинфия Назарыча.

– Гляди, потужит, потоскует, да и женится на своей тайболовской кержанке, – говорила она сквозь слезы. – Молодой он, горе-то скоро износит… Такая на меня тоска нападает под вечер, что и жизни своей не рада.

– Пирует, сказывали, Акинфий-то Назарыч… В город уедет, да там и хороводится. Мужчины все такие: наша сестра сиди да посиди, а они везде пошли да поехали… Небось, найдет себе утеху, коли уж не нашел.

Между прочим, сестра Марья подвела ловко разговор к деньгам, которые получала теперь баушка Лукерья.

– Пали и до нас слухи, как она огребает деньги-то, – завистливо говорила Марья, испытующе глядя на сестру. – Тоже, подумаешь, счастье людям… Мы вон за богатых слывем, а в другой раз гроша расколотого в дому нет. Тятенька-то не расщедрится… В обрез купит всего сам, а денег ни-ни. Так бьемся, так бьемся… Иголки не на что купить.

– Знаю ведь я, как вы живете. Сладкого не много.

– Ну, сказывали, что и тебе тоже перепадает… Мыльников как-то завернул и говорит: «Фене деньги повалили, – тот двугривенный даст, другой полтину…» Побожился, что не врет.

– Я баушке Лукерье все отдаю, Марья… На что мне деньги?..

– Вот уж это ты совсем глупая… Баушка Лукерья свое возьмет, не беспокойся, обжаднела она, сказывают, а ты ей всего-то не отдавай. Себе оставляй… Пригодятся как-нибудь. Не век тебе жить с баушкой Лукерьей…

Эти речи не понравились Фене. Она даже пристыдила сестру, позавидовавшую чужому счастью.

– Я баушку Лукерью ввек не забуду, – говорила Феня. – Она меня призрела, приголубила… Не наше дело считать ее-то деньги.

Сестры расстались, благодаря этому разговору, довольно холодно. У Фени все-таки возникло какое-то недоверие к баушке Лукерье, и она стала замечать за ней многое, чего раньше не замечала, точно совсем другая стала баушка И даже из лица похудела.

А баушка Лукерья все откладывала серебро и бумажки и смотрела на господ такими жадными глазами, точно хотела их съесть. Раз, когда к избе подкатил дорожный экипаж главного управляющего и из него вышел сам Карачунский, старуха ужасно переполошилась, куда ей поместить этого самого главного барина. Карачунский был вызван свидетелем в качестве эксперта по делу Кишкина. Обе комнаты передней избы были набиты народом, и Карачунский не знал, где ему сесть.

– Пойдем, касатик, в заднюю избу… – предложила баушка Лукерья. – Здесь-то негде тебе и присесть, а там пока посидишь.

– Спасибо, бабушка, – охотно согласился Карачунский.

– Может, самоварчик поставить? А то молочка али яишенку… – говорила заученным тоном старуха. – Жарко теперь летним делом, а следователь-то еще когда позовет.

Карачунский приехал раньше, чем следовало, и ему, действительно, приходилось подождать. Отворив дверь в заднюю избу, он на дороге столкнулся с Феней и даже как будто смутился, до того это было неожиданно. Феня тоже потупилась и вся вспыхнула.

– Вы какими судьбами попали сюда, Федосья Родионовна? – спрашивал удивленный Карачунский. – Вот приятная неожиданность…

– Я уж давно здесь… у баушки Лукерьи…

– Ага… – протянул Карачунский, пристально поглядев на наблюдавшую его старуху. – Так… Что же, дело прекрасное! Отлично… Я даже что-то такое слышал. Бабушка, так вы похлопочите относительно самоварчика.

– С-сею минуту, касатик…

Старуха, по-видимому, что-то заподозрила и вышла из избы с большой неохотой. Феня тоже испытывала большое смущение и не знала, что ей делать. Карачунский прошелся по избе, поскрипывая лакированными ботфортами, а потом быстро остановился и проговорил:

– Послушайте, Федосья Родионовна, вы так похорошели за последнее время, что я даже не узнал вас с первого взгляда.

Феня еще больше потупилась и раскраснелась.

– Вы смеетесь, Степан Романыч… – тихо прошептала она со слезами на глазах. – Не до красоты мне.

– Да, да… Догадываюсь. Ну, я пошутил, вы забудьте на время о своей молодости и красоте, и поговорим, как хорошие старые друзья. Если я не ошибаюсь, ваше замужество расстроилось?.. Да? Ну, что же делать… В жизни приходится со многим мириться. Гм…

Он присел к столу и своим душевным голосом начал расспрашивать Феню, давно ли она здесь, как ей живется вообще, не скучает ли и т. д. Никто еще с ней не говорил так, а пред ее глазами пронеслась сцена поездки с мужем в Балчуговский завод, когда Степан Романыч уговаривал их помириться с отцом. Да, это был почти родной человек, который смотрел на нее так участливо и ласково, а главное, так просто, что Феня почувствовала себя легко именно с ним. Она подробно рассказала, как баушка Лукерья выманила ее из Тайболы и увезла сюда, как приезжал несколько раз Акинфий Назарыч и как она сама истомилась в этой неволе.

– Бедненькая… – еще ласковее проговорил Карачунский и потрепал ее по заалевшей щеке. – Надо как-нибудь устраивать дело. Я переговорю с Акинфием Назарычем и даже могу заехать к нему по пути в город.

Феня отрицательно покачала головой и тяжело вздохнула. Карачунский понял совершавшийся в ее душе перелом и не стал больше расспрашивать. Баушка Лукерья втащила самовар.

– Ну, бабуся, как вы тут поживаете?

– Ничего, касатик… Пока Бог грехам терпит. Феня, ты уж тут собери чайку, а я в той избе управляться пойду.

Карачунский выпил стакан чаю, а когда его пригласили к следователю, сунул Фене скомканную ассигнацию.

– Что вы, Степан Романыч…

– За хлопоты: я ничего даром не люблю брать…

Из-за этих денег чуть не вышел целый скандал. Приходил звать к следователю Петр Васильич и видел, как Карачунский сунул Фене ассигнацию. Когда дверь затворилась, Петр Васильич орлом налетел на Феню.

– Ну-ка, кажи, что он тебе дал?..

Феня инстинктивно сжала деньги в кулаке и не знала, что ей делать, но к ней на выручку прибежала баушка Лукерья и оттолкнула сына.

– Мамынька, хоть издали покажи, сколько он дал!.. – упрашивал Петр Васильич, заинтригованный бабьей жадностью.

Баушка Лукерья сделала непростительную ошибку, в которой сейчас же раскаялась – она развернула скомканную ассигнацию при всех.

– Пять цалковых!.. – изумленно прошептал Петр Васильич, делая шаг к матери. – Мамынька, что же это такое? Ежели, например, ты все деньги будешь загробаздывать…

– Не твое дело!.. – зыкнула старуха. – Разве я твои деньги считаю?..

– Однако это даже весьма мне удивительно, мамынька… Кто у нас, например, хозяин в дому?.. Феня, в другой раз ты мне деньги отдавай, а то я с живой кожу сниму.

– Нет, нет! – сказала старуха с искаженным лицом. – Мне!.. Мне!..

– Мамынька, побойся ты Бога!

– Уйди от греха, а то прокляну!..

Феня ужасно перепугалась возникшей из-за нее ссоры, но все дело так же быстро потухло, как и вспыхнуло. Карачунский уезжал, что было слышно по топоту сопровождавших его людей… Петр Васильич опрометью кинулся из избы и догнал Карачунского только у экипажа, когда тот садился.

– Степан Романыч, напредки милости просим!.. – бормотал он, цепляясь за кучерское сиденье. – На Дерниху поедешь, так в другой раз чайку напиться… молочка… Я, значит, здешней хозяин, а Феня моя сестра. Мы завсегда…

Карачунский с удивлением взглянул через плечо на «здешнего хозяина», ничего не ответил и только сделал головой знак кучеру. Экипаж рванулся с места и укатил, заливаясь настоящими валдайскими колокольчиками. Собравшиеся у избы мужики подняли Петра Васильича на смех.

– А ты собачкой за ним побеги, Петр Васильич… Ах, прокурат!.. Глаз-то кривой у него как заиграл…

# Часть третья

## I

Зыковский дом запустел как-то сразу. Родион Потапыч живмя жил на своей шахте и домой выходил очень редко, недели через две. Яша «старался» на Мутяшке в партии Кишкина, а дома из мужиков оставался один безответный зять Прокопий. Прежде было людно, теперь хоть мышей лови, как в пустом амбаре. Сама Устинья Марковна что-то все недомогалась, замужняя дочь Анна возилась со своими ребятишками, а правила домом одна вековушка Марья с подраставшей Наташкой, – последнюю отец совсем забыл, оставив в полное распоряжение баушки. Скучно было в зыковском доме, точно после покойника, а тут еще Марья на всех взъедается.

– Да что это с тобой попритчилось? – недоумевала Устинья Марковна, удивляясь сварливости дочери. – Какой бес поехал на тебе?..

– Чему радоваться-то у нас? – грубила Марья… – Хуже каторжных живем. Ни свету, ни радости!.. Вон на Фотьянке… Баушка Лукерья совсем осатанела от денег-то. Вторую избу ставят… Фене баушка-то уж второй полушалок обещала купить да ботинки козловые.

– А тебе завидно стало? Нашла тоже кому и позавидовать… – корила ее мать. – Достаточно натерпелась всего Феня-то.

– Чего она натерпелась-то? Живет да радуется. Румяная такая стала да веселая. Ужо, вот как замуж выскочит… У них на Фотьянке-то народу теперь нетолченая труба… Как-то целовальник Ермошка наезжал, увидел Феню и говорит: «Ужо, вот моя-то Дарья подохнет, так я к тебе сватов зашлю…»

– Ну, Ермошкины-то слова, как худой забор: всякая собака пролезет… С пьяных глаз через чего-нибудь городил. Да и Дарья-то еще переживет его десять раз… Такие ледащие бабенки живучи.

– Не Ермошка, так другой выищется… На Фотьянке теперь народу видимо-невидимо, точно праздник. Все фотьянские бабы лопатами деньги гребут: и постой держат, и харчи продают, и обшивают приисковых. За одно лето сколько новых изб поставили. Всех вольное-то золото поднимает. А по вечерам такое веселье поднимается… Наши приисковые гуляют.

– Эк тебе далась эта Фотьянка, – ворчала Устинья Марковна, отмахиваясь рукой от пустых слов. – Набежала дикая копейка – вот и радуются. Только к дому легкие-то деньги не больно льнут, Марьюшка, а еще уведут за собой и старые, у кого велись.

– Много денег на Фотьянке было раньше-то… – смеялась Марья. – Богачи все жили, у всех-то вместе одна дыра в горсти… Бабы фотьянские теперь в кумачи разрядились, да в ботинки, да в полушалки, а сами ступить не умеют по-настоящему. Смешно на них и глядеть-то: кувалды кувалдами супротив наших балчуговских.

– Петр Васильич, сказывают, больно что-то форсит!..

– Сапоги со скрипом завел, пуховую шляпу, – так петухом и расхаживает. Я как-то была, так он на меня, мамынька, и глядеть не хочет. А с баушкой Лукерьей у них из-за денег дело до драки доходит: та себе тянет, а Петр Васильич себе. Фенька, конечно, круглая дура, потому что все им отдает…

– И то дура… – невольно соглашалась Устинья Марковна, в которой шевельнулся инстинкт бабьего стяжательства. – Вот нам и делить нечего… Что отец даст, тем и сыты.

– Весь народ из Балчугов бежит на Фотьянку… – со вздохом прибавила Марья.

Анна редко принимала участие в этих разговорах, занятая своими ребятишками. Ей было до себя. Да и вообще это была смирная и безответная бабенка, характером вся в мать. Подраставшая Наташка была у тетки «в няньках» и без утыху возилась с ребятами. Эта бойкая девочка в тяжелой обстановке дедовского дома томилась больше всех и жадно вслушивалась в наговоры вечно роптавшей Марьи. До детских ушей долетал далекий гул Фотьянки, и Наташка представляла себе что-то необыкновенное, совсем сказочное. История тетки Фени в ее голове тоже была окружена поэтическими подробностями и сейчас сливалась неразрывно с бойкой жизнью на промыслах. Теперь везде говорили про Фотьянку. Отец, Яша, в целое лето показывался дома всего раза два, чтобы повидать ребятишек и захватить одежи и харчей. Он сильно исхудал в лесу и еще больше облысел.

– Ну, показывай золото… – приставала к нему Устинья Марковна. – Хоть бы поглядеть, какое оно бывает.

– Погоди, мамынька, будет и золото, – коротко отвечал Яша, таинственно улыбаясь. – Тогда сама увидишь…

– Вот затощал ты, Яшенька, это-то я вижу… Ох, и прокляненное ваше золото, ежели разобрать. А где Мыльников-то?

– Робит с нами на Мутяшке, только плохая у нас на него надежда: и ленив, и вороват.

– Отца-то ты давно не видал? Зашел бы на шахту, по пути ведь…

– Нет, мамынька, достаточно с меня… Обругает, как увидит. Хоть и тяжело на промыслах, а все-таки своя воля… Сам большой, сам маленький…

Появление отца для Наташки было настоящим праздником. Яша Малый любил свое гнездо какой-то болезненной любовью и ужасно скучал о детях. Чтобы повидать их, он должен был сделать пешком верст шестьдесят, но все это выкупалось радостью свиданья. И Наташка и маленький Петрунька так и повисли на отцовской шее. Особенно ластилась Наташка, скучавшая по отце более сознательно. Но Яша точно стеснялся радоваться открыто и потихоньку уходил с ребятишками куда-нибудь в огород и там пестовал их со слезами на глазах.

– Тятенька, золотой, возьми меня с собой! – каждый раз просила Наташка. – Тошнехонько мне здесь…

– Погоди, возьму… Куда тебя в лес-то, глупая, я возьму?..

– Я обшивать бы тебя стала, рубахи мыть, стряпать, – я все умею.

– А Петрунька как?

– И Петруньку с собой возьмем…

– Погоди, говорю.

– Да, тебе-то хорошо, – корила Наташка, надувая губы. – А здесь-то каково: баушка Устинья ворчит, тетка Марья ворчит… Все меня чужим хлебом попрекают. Я и то уж бежать думала… Уйду в город, да в горничные наймусь. Мне пятнадцатый год в спажинки пойдет.

– Вот ты и вышла глупая, Наташка: а Петрунька куды без тебя?

Только с отцом и отводила Наташка свою детскую душу и провожала его каждый раз горькими слезами. Яша и сам плакал, когда прощался со своим гнездом. Каждое утро и каждый вечер Наташка горячо молилась, чтобы Бог поскорее послал тятеньке золота.

Последнее появление Яши сопровождалось большой неприятностью. Забунтовала, к общему удивлению, безответная Анна. Она заметила, что Яша уже не в первый раз все о чем-то шептался с Прокопием, и заподозрила его в дурных замыслах: как раз сомустит смирного мужика и уведет за собой в лес. Долго ли до греха. И то весь народ точно белены объелся…

– Что вы, сестрица Анна Родионовна! – уговаривал ее Яша. – Неужто и словом перемолвиться нам нельзя с Прокопием?.. Сказали, не укусили никого…

– Знаю я, о чем вы шепчетесь! – выкрикивала Анна. – Трое ребятишек на руках: куды я с ними деваюсь? Ты вот своих-то бросил дедушке на шею, да еще Прокопия смущаешь…

– Ах, сестрица, какие вы слова выражаете!.. Денно-ночно я думаю об ребятишках-то, а вы: бросил…

Как на грех, Прокопий прикрикнул на жену, и это подняло целую бурю. Анна так заголосила, так запричитала, что вступились и Устинья Марковна и Марья. Одним словом, все бабы ополчились в одно причитавшее и ревевшее целое.

– Да перестаньте вы, бабы! – уговаривал Прокопий. – Без вас тошно…

– Я тебе, сомустителю, зенки выцарапаю! – ругала Яшу сестрица Анна. – Сам-то с голоду подохнешь, да и нас уморить хочешь…

В сущности, бабы были правы, потому что у Прокопия с Яшей, действительно, велись любовные тайные переговоры о вольном золоте. У безответного зыковского зятя все сильнее въедалась в голову мысль о том, как бы уйти с фабрики на вольную работу. Он вынашивал свою мечту с упорством всех мягких натур и затаился даже от жены. Вся сцена закончилась тем, что мужики бежали с поля битвы самым постыдным образом и как-то сами собой очутились в кабаке Ермошки.

– Жизнь треклятая! – проговорил Прокопий, бросая свою шапку о пол. – Очумел я с бабами, Яша…

– Погоди, зять, устроимся, – утешал Яша покровительственным тоном. – Дай срок, утвердимся… Только бы одинова дыхнуть. А на баб ты не гляди: известно, бабы. Они, брат, нашему брату в том роде, как лошади железные путы… Знаю по себе, Проня… А в лесу-то мы с тобой зажили бы припеваючи… Надоела, поди, фабрика-то?

– Хуже смерти… Как цепной пес у конуры хожу. Ежели бы не тятенька Родивон Потапыч, одного часу не остался бы.

Этот вольный порыв, впрочем, сменился у Прокопия на другой же день молчаливым унынием, и Анна точила его все время, как ржавчина.

– Туда же расхрабрился, ворона! – выкрикивала она. – Вот тятенька узнает, так он тебе покажет.

Устинья Марковна поддакивала дочери своим молчанием и вздохами, и только заступилась одна Марья:

– Будет тебе, Анна… Надоело слушать-то.

Не успели проводить Яшу на промысла, как накатилась новая беда. Раз вечером кто-то осторожно постучал в окно. Устинья Марковна выглянула в окно и даже ахнула: перед воротами стояла чья-то «долгушка», заложенная парой, а под окном расхаживал Мыльников с кнутиком.

– В гости приехал, тещенька… – объяснил он. – Пусти-ка в избу, дельце есть маленькое.

– Да ты бы днем, Тарас, а то на ночь глядя лезешь.

– Говорю, дело…

Когда Марья выскочила отворить ворота, она была изумлена еще больше: с Мыльниковым приехал Кожин. Марья инстинктивно загородила дорогу, но Кожин прошел мимо, как сонный.

– Не тронь его… – объяснил Мыльников, оттаскивая Марью. – Не бойсь, не потронет.

От Мыльникова по обыкновению пахнуло перегорелой водкой, как из винной бочки. Наклонившись, он удушливо прошептал:

– А новость слышала, Марьюшка?

– Какую новость?..

– А такую… Все будешь знать, скоро состаришься.

Устинья Марковна стояла посреди избы, когда вошел Кожин. Она в изумлении раскрыла рот, замахала руками и бессильно опустилась на ближайшую лавку, точно перед ней появилось привидение. От охватившего ее ужаса старуха не могла произнести ни одного слова, а Кожин стоял у порога и смотрел на нее ничего не видевшим взглядом. Эта немая сцена была прервана только появлением Марьи и Мыльникова.

– Устинье Марковне, любезной нашей теще, многая лета… – заговорил Мыльников с пьяной развязностью. – А слышала новость?

– Не подходи ты ко мне близко-то, Тарас… – причитала Устинья Марковна. – Не до новостей нам… Как увидела тебя в окошко-то, точно у меня что оборвалось в середке. До смерти я тебя боюсь… С добром ты к нам не приходишь.

– Это уж не моя причина, тещенька…

– Да говори толком-то! – понукала его Марья, сгоравшая от нетерпенья. – Ну, чего принес?

– А ты вот его спрашивай, – указал Мыльников на Кожина. – Мое дело сторона… Да сперва пригласи садиться, сестрица. Честь завсегда лучше бесчестья…

– Да ну тебя, болтушка… Садитесь.

Кожин, пошатываясь, прошел к столу, сел на лавку и с удивлением посмотрел кругом, как человек, который хочет и не может проснуться. Марья заметила, как у него тряслись губы. Ей сделалось страшно, как матери. Или пьян Кожин, или не в своем уме.

– Окся-то моя определилась к баушке Лукерье, – проговорил наконец Мыльников, удушливо хихикая. – Сама, стерва, пришла к ней…

– А как же Феня? – зараз спросили Устинья Марковна и Марья.

– Приказала долго жить… тьфу!.. То бишь, жива она, а только тово…

Имя Фени заставило очнуться Кожина, точно по нему выстрелили. Он хотел что-то сказать, пошевелил губами и махнул рукой.

– Да говори ты толком… – приставал к нему Мыльников. – Убегла, значит, наша Федосья Родивоновна. Ну, так и говори… И с собой ничего не взяла, все бросила. Вот какое вышло дело!

– У Карачунского она… – прошептал наконец Кожин. – Своими глазами видел. В горничные нанялась…

Он ударил кулаком по стулу и застонал, как раненый человек, которого неосторожно задели за больное место. Марья смотрела на Устинью Марковну, которая бессмысленно повторяла:

– У Карачунского? Зачем ей быть у Карачунского? Как же баушка-то Лукерья не доглядела? Что-нибудь да не так…

– Нет, так!.. – ответил Кожин. – Известно, какие горничные у Карачунского… Днем горничная, а ночью сударка. А кто ее довел до этого? Вы довели… вы!.. Феня, моя голубка… родная… Что ты сделала над собой?..

– Убьет он Карачунского, – спокойно заметил Мыльников. – Это хоть до кого доведись…

Опомнилась первой Марья и проговорила:

– Да ведь ты женился, сказывают, Акинфий Назарыч? Какое тебе дело до нашей Фени?.. Ты сам по себе, она сама по себе.

– А ежели она у меня с ума нейдет?.. Как живая стоит… Не могу я позабыть ее, а жену не люблю. Мамынька женила меня, не своей волей… Чужая мне жена. Видеть ее не могу… День и ночь думаю о Фене. Какой я теперь человек стал: в яму бросить – вся мне цена. Как я узнал, что она ушла к Карачунскому, – у меня свет из глаз вон. Ничего не понимаю… Запряг долгушку, бросился сюда, еду мимо господского дома, а она в окно смотрит. Что тут со мной было – и не помню, а вот, спасибо, Тарас меня из кабака вытащил.

– Да когда это было-то, Акинфий Назарыч?

– Не упомню, не то сегодня, не то вчера… Горюшко лютое, беда моя смертная пришла, Устинья Марковна. Разделились мы верами, а во мне душа полымем горит… Погляжу кругом, а все красное. Ах, тоска смертная… Фенюшка, родная, что ты сделала над своей головой?.. Лучше бы ты померла…

Заголосили бабы от привезенной Тарасом новости, как не голосят над покойниками, а Кожин уронил голову на стол, как зарезанный.

– Ну, пошли!.. – удивлялся Мыльников. – Да я сам пойду к Карачунскому и два раза его выворочу наоборот… Приведу сюда Феню, вот вам и весь сказ!.. Перестань, Акинфий Назарыч… От живой жены о чужих бабах не горюют…

– Отстань… убью!.. – шептал Кожин, глядя на него дикими глазами.

– А что Родион-то Потапыч скажет, когда узнает? – повторяла Устинья Марковна. – Лучше уж Фене оставаться было в Тайболе: хоть не настоящая, а все же как будто и жена. А теперь на улицу глаза нельзя будет показать… У всех на виду наше-то горе!

**II**

Мыльников, действительно, отправился от Зыковых прямо к Карачунскому. Его подвез до господского дома Кожин, который остался у ворот дожидаться, чем кончится все дело.

– Ты меня тут подожди, – уговаривался Мыльников. – Я и Феню к тебе приведу… Мне только одно слово ей сказать. Как из ружья выстрелю…

Карачунский был дома. В передней Мыльникова встретил лакей Ганька и, по своему холуйскому обычаю, хотел сейчас же заворотить гостя.

– Мне Федосью Родивоновну повидать, своячину… – упирался Мыльников в дверях. – Одно словечко молвить…

– Ступай, ступай! – напирал Ганька. – Я вот покажу тебе словечко… Не велено пущать.

Такое поведение лакея Ганьки возмутило Мыльникова, и он без лишних слов вступил с холуйским отродьем в рукопашную. На крик Ганьки в дверях гостиной мелькнуло испуганное лицо Фени, а потом показался сам Карачунский.

– Ваше благородие, Степан Романыч… – взмолился Мыльников, изнемогавший в борьбе с Ганькой. – Одно словечушко молвить.

– Ну, говори… – коротко ответил Карачунский, узнавший Мыльникова. – Что тебе нужно, Тарас?

– Прикажите Ганьке уйти… Имею до тебя, Степан Романыч, особенное дельце.

Ганька был удален, и Мыльников, оправив потерпевший в схватке костюм, проговорил удушливым шепотом:

– Кожин меня за воротами ждет, Степан Романыч… Очертел он окончательно и дурак дураком. Я с ним теперь отваживаюсь вторые сутки… А Фене я сродственник: моя-то жена родная ейная сестра, значит, Татьяна. Ну, значит, я и пришел объявиться, потому как дело это особенное. Дома ревут у Фени, Кожин грозится зарезать тебя, а я с емя со всеми отваживаюсь… Вот какое дельце, Степан Романыч. Силушки моей не стало…

– Я Кожина не боюсь, – спокойно ответил Карачунский. – И даже готов объясниться с ним.

– Что ты, Степан Романыч: очертел человек, а ты разговаривать с ним. Мне впору с ним отваживаться… Ежели бы ты, Степан Романыч, отвел мне деляночку на Ульяновом кряже, – прибавил он совершенно другим тоном, – уж так и быть, постарался бы для тебя… Гора-то велика, что тебе стоит махонькую деляночку отвести мне?

Этот шантаж возмутил Карачунского, и он сморщился.

– Нет, не могу… – решил Карачунский после короткой паузы. – Отвести тебе деляночку, – и другим тоже надо отводить.

– Ах, андел ты мой, да ведь то другие, а я не чужой человек, – с нахальством объяснял Мыльников. – Уж я бы постарался для тебя.

– Нет, не могу… – еще решительнее ответил Карачунский, повернулся в дверях и ушел.

У Карачунского слово было законом, и Мыльников ушел бы ни с чем, но когда Карачунский проходил к себе в кабинет, его остановила Феня.

– Степан Романыч, дозвольте мне переговорить с зятем?

– Нет, это лишнее, – ласково отговаривал Карачунский. – Я уже сказал все… Он требует невозможного, да и вообще для меня это подозрительный человек.

Но Феня так ласково посмотрела на него, что Карачунский только махнул рукой. О, женщины… Везде они одинаковы со своими просьбами, слезами и ласками!.. Карачунский еще лишний раз убедился в этом и почувствовал вперед, что ему придется изменить своему слову для нового «родственника». Последнее слово кольнуло его, но он опять видел одни ласковые глаза Фени и ее просящую улыбку. Разве можно отказать женщине? Феня в это время уже была в передней и умоляла Мыльникова, чтобы он увез куда-нибудь от греха дожидавшегося у ворот Кожина.

– И увезу, а ты мне сруководствуй деляночку на Краюхином увале, – просил в свою очередь Мыльников. – Кедровскую-то дачу бросил я, Фенюшка… Ну ее к черту! И канпания у нас была: пришей хвост кобыле. Все врозь, а главный заводчик Петр Васильич. Такая кривая ерахта!.. С Ястребовым снюхался и золото для него скупает… Да ведь ты знаешь, чего я тебе-то рассказываю. А ты деляночку-то приспособь… В некоторое время пригожусь, Фенюшка. Без меня, как без поганого ведра, не обойдешься…

– Дома-то у нас ты был, Тарас?

– Сейчас оттуда… Вместе с Кожиным были. Ну, там Мамай воевал: как учали бабы реветь, как учали причитать – святых вон понеси. Ну, да ты не сумлевайся, Фенюшка… И не такая беда изнашивается. А главное, оборудуй мне деляночку…

– А что мамынька? – спрашивала Феня свое. – Ах, изболелось мое сердечушко, Тарас… Не увижу я их, видно, больше, пропала моя головушка…

– Перестань печалиться, глупая, – утешал Мыльников. – Москва нашим-то слезам не верит… А ты мне деляночку-то охлопочи. Изнищал я вконец…

– Ах, какой ты, Тарас, непонятный! Я про свою голову, а он про делянку. Как я раздумаюсь под вечер, так впору руки на себя наложить. Увидишь мамыньку, кланяйся ей… Пусть не печалится и меня не винит: такая уж, видно, выпала мне судьба злосчастная…

– Ничего, привыкнешь. Ужо погляди, какая гладкая да сытая на господских хлебах будешь. А главное, мне деляночку… Ведь мы не чужие, слава Богу, со Степаном-то Романычем теперь…

При последних словах Мыльников подмигнул и прищелкнул языком, заставив Феню покраснеть, как огонь. Она убежала, не простившись, а Мыльников стоял и ухмылялся.

«Эх, бабы, всех-то вас взять да сложить вместе – один грех выйдет».

– Эй ты, галман, отворяй дверь! – вслух обратился Мыльников к появившемуся лакею Ганьке. – Без очков-то не узнал Тараса Мыльникова?.. Я вас всех научу, как на свете жить!

Выйдя на крыльцо, Мыльников еще постоял, покрутил своей беспутной головой и зашагал к воротам.

– Ну, твое дело табак, Акинфий Назарыч, – объявил он Кожину с приличной торжественностью. – Совсем ведь Феня-то оболоклась было, да тот змей-то не пустил… Как уцепился в нее, ну, известно, женское дело. Знаешь, что я придумал: надо беспременно на Фотьянку гнать, к баушке Лукерье; без баушки Лукерьи невозможно…

Последнее придумал Мыльников, стоя на крыльце. Ему не хотелось шагать до Фотьянки пешком, а Кожин на своей парочке лихо довезет. Он вообще повиновался теперь Мыльникову во всем, как ребенок. По пути они заехали еще к Ермошке раздавить полштоф, и Мыльников шепнул кабатчику:

– Битый небитого везет, Ермолай Семеныч…

– Скоро ли тебя повесят, Тарас? – ответил Ермошка в тон. – Я веревку пожертвую на свой счет…

– Еще осина не выросла, на которой нас с тобой повесят…

Кожин все время молчал и пил. Даже Ермошка его пожалел: совсем замотался мужик.

Всю дорогу до Фотьянки Мыльников болтал без утыху и даже рассказал, как он пил чай с Карачунским сегодня, пока Кожин ждал его у ворот господского дома.

– Мне, главная причина, выманить Феню-то надо было… Ну, выпил стакашик господского чаю, потому как зачем же я буду обижать барина напрасно? А теперь приедем на Фотьянку: первым делом самовар… Я как домой к баушке Лукерье, потому моя Окся утвердилась там заместо Фени. Ведь поглядеть, так дура набитая, а тут ловко подвернулась… Она уж во второй раз с нашего прииску убежала да прямо к баушке, а та без Фени, как без рук. Ну, Окся и соответствует по всем частям…

На Фотьянку они приехали уже совсем поздно, хотя в избе Петра Васильича еще и светился огонек, – это сидел Ястребов и вел тайную беседу с хозяином.

– Ты куда прешь-то ни свет ни заря? – накинулась баушка Лукерья на Мыльникова. – Дня-то тебе мало, шатущему?

– Об Оксе больно соскучился, баушка… – врал Мыльников, не моргнув глазом. – Трудно, поди, ей управляться одной-то. Непривычное дело, вот главная причина…

– Воду на твоей Оксе возить – вот это в самый раз, – ворчала старуха. – В два-то дня она у меня всю посуду перебила… Да ты, Тарас, никак с ночевкой приехал? Ну нет, брат, ты эту моду оставь… Вон Петр Васильич поедом съел меня за твою-то Оксю. «Ее, – говорит, – корми, да еще родня-шаромыжники навяжутся…» Так напрямки и отрезал.

– Вот так уважил… Что же это такое, баушка Лукерья? На печи проезду не стало мне от родственников… Ежели такие ваши речи, так я возьму Оксю-то назад.

– Сделай милость, бери… Не заплачем. Говорю, всю посуду расколотила. А ты не накладывайся ночевать у нас: без тебя тесно.

– Ах, Боже мой… Вот так роденьку Бог дал!.. – удивлялся Мыльников, распоясываясь. – Я сломя голову к тебе из Балчугов гоню, а она меня вон каким шампанским встретила…

– Да ты с какой радости разгонялся-то?

– А я с Кожиным цельных три дня путался. Он за воротами остался… Скажи ему, баушка, чтобы ехал домой. Нечего ему здесь делать… Я для родни в ниточку вытягиваюсь, а мне вон какая от вас честь. Надоело, признаться сказать…

Баушка Лукерья сама вышла за ворота и уговорила Кожина ехать домой. Он молча ее выслушал, повернул лошадей и пропал в темноте. Старуха постояла, вздохнула и побрела в избу. Мыльников уже спал, как зарезанный, растянувшись на лавке.

– Этакие бесстыжие глаза… – подивилась на него старуха, качая головой. – То-то путаник-мужичонка!.. И сон у них у всех один: Окся-то так же дрыхнет, как колода. Присунулась до места и спит… Ох, согрешила я! Не нажить, видно, мне другой-то Фени… Ах, грехи, грехи!..

Баушка Лукерья, снедаемая недугом своей старческой жадности, ужасно тосковала о Фене, являвшейся для нее той сказочной курицей, которая несла золотые яйца. Приветливая была бабенка, обходительная, и всякое дело у ней в руках горело. А как ушла Феня, точно все ножом обрезало… Где же одной старухе управиться, да и не умела она потрафить постояльцам, как Феня. Баушка Лукерья не раз даже всплакнула по Фене, проклиная Карачунского, ухватившего ласковую бабенку. Польстилась Феня на сладкое господское житье и позабыла про свою девичью честь.

Мыльников с намерением оставил до следующего дня рассказ о том, как был у Зыковых и Карачунского, – он рассчитывал опохмелиться на счет этих новостей и не ошибся. Баушка Лукерья сама послала Оксю в кабак за полштофом и с жадным вниманием прослушала всю болтовню Мыльникова, напрасно стараясь отличить, где он говорит правду и где врет.

– Кланяться наказывала тебе, баушка, Феня-то, – врал Мыльников, хлопая одну рюмку за другой. – «Скажи, говорит, что скучаю, а промежду прочим весьма довольна, потому как Степан Романыч барин добрый и всякое уважение от него вижу…»

– Пес он, Степан-то Романыч. Не стало ему других девок? Из городу привез бы…

– Значит, Феня ему по самому скусу пришлась… хе-хе!.. Харч, а не девка: ломтями режь да ешь. Ну, а что было, баушка, как я к теще любезной приехал да объявил им про Феню, что, мол, так и так… Как взвыли бабы, как запричитали, как заголосили истошными голосами – ложись помирай. И тебе, баушка, досталось на орехи. «Захвалилась, – говорят, – старая крымза, а Феню не уберегла…» Родня-то, баушка, по нынешним временам везде так разговаривает. Так отзолотили тебя, что лучше и не бывает, вровень с грязью сделали.

Слушал эти рассказы и Петр Васильич, но относился к ним совершенно равнодушно. Он отступился от матери, предоставив ей пользоваться всеми доходами от постояльцев. Будет Окся или другая девка – ему было все равно. Вранье Мыльникова просто забавляло вороватого домовладыку. Да и маменька пусть покипятится за свою жадность… У Петра Васильича было теперь свое дело, в которое он ушел весь.

Опохмелившись Мыльников соврал еще что-то и отправился в кабак к Фролке, чтобы

послушать, о чем народ галдит. У кабака всегда народ сбивался в кучу, и все новости собирались здесь, как в узле. Когда Мыльников уже подходил к кабаку, его чуть не сшибла с ног бойко катившаяся телега. Он хотел обругаться, но оглянулся и узнал любезную сестрицу Марью Родивоновну.

– Куды ускорилась, сестрица?

– А баушку проведать поехала, – нехотя отвечала Марья, понукая лошадь.

– Так-с… Настоящее уважение старушке делаете.

Когда телега повернула за угол, Мыльников раскинул умом и живо сообразил, зачем ехала проведать баушку любезная сестрица. Ухмыльнувшись, он подумал вслух:

– Поздно-с, Марья Родивоновна… Местечко-то занято.

На этот раз Мыльников ошибся. Пока он прохлаждался в кабаке, судьба Окси была решена: ее место заняла сама любезная сестрица Марья Родивоновна.

– Ты теперь ступай, голубка, домой, – объяснила баушка Лукерья ничего не понимавшей Оксе. – Спасибо, всю посуду переколотила…

– Не пойду… – упрямо повторяла Окся, которой нравилось жить у баушки.

Произошла комическая сцена, в которой должен был принять участие даже Петр Васильич.

– Как же ты, милая, не пойдешь, ежели тебе сказано? – разъяснял он Оксе. – Надо и честь знать…

– Да что ты ко мне привязался, кривой черт? – озлилась наконец Окся, перенеся все свое неудовольствие на Петра Васильича. – Сказала, не пойду…

– Мамынька, что же это такое? – взмолился Петр Васильич. – Я ведь, пожалуй, и шею искостыляю, коли на то пошло. Кто у нас в дому хозяин?..

Баушка Лукерья сунула Оксе за ее службу двугривенный и вытолкала за дверь. Это были первые деньги, которые получила Окся в свое полное распоряжение. Она зажала их в кулак и так шла все время до Балчуговского завода, а дома спрятала деньги в сенях, в расщелившемся бревне. Оксю тоже охватила жадность, с той разницей от баушки Лукерьи, что Окся знала, куда ей нужны деньги.

Мысль о бегстве из отцовского дома явилась у Марьи в тот же роковой вечер, когда она узнала о новой судьбе сестры Фени. Она не спала всю ночь, раздумывая, как устроить ей все дело. Что ей ждать в отцовском доме? Из-за отца и в девках осталась, а когда старик умрет, тогда и деваться будет некуда. Дом зятю Прокопию достанется «на детей», как обещал Родион Потапыч, не рассчитывавший на своего Яшу как на достойного наследника. Жаль было Марье старухи-матери, да жить-то ведь ей, Марье, а мать свой век изжила. Девушка со слезами простилась с родным гнездом, сама запрягла лошадь и отправилась на Фотьянку.

**III**

Компания Кишкина и существовала и как будто не существовала. Дело в том, что Мыльников сбежал окончательно, обругав всех на чем свет стоит, а затем Петр Васильич бывал только

«находом», – придет, повернется денек и был таков. Настоящими рабочими оставались сам Кишкин, Яша Малый, Матюшка, Турка и Мина Клейменый, – последний в артели отвечал за кашевара. Миляев мыс так и остался спорным, а работа шла на отводах вверх по реке Мутяшке. Маякова слань была исправлена лучше, чем в казенное время, и дорога не стояла часу, – шли и ехали рабочие на новые промысла и с промыслов. В одно лето все течение Меледы с притоками сделалось неузнаваемым: лес везде вырублен, земля изрыта, а вода текла взмученная и желтая, унося с собой последние следы горячей промысловой работы.

Дела у Кишкина шли ни шатко, ни валко. Он много выиграл тем, что получил отвод прииска раньше других и, следовательно, раньше мог начать работу. Прииск получил название Сиротки – по логу, который выходил на Мутяшку с правой стороны. Для работы «сильной рукой» не хватало средств, а поэтому дело велось наполовину старательскими работами, наполовину иждивением самого Кишкина, раздобывшегося деньгами к общему удивлению. Никто и не подозревал, что эти таинственные деньги были ему даны знаменитым секретарем Ильей Федотычем. Это была своего рода взятка, чтобы Кишкин не запутал знаменитого дельца в проклятое дело о Балчуговских промыслах.

– Ты у меня смотри… – погрозил Илья Федотыч, выдавая деньги. – Знаешь поговорку: клоп клопа ест – последний сам себя съест…

По-настоящему работы на Сиротке нужно было начать с генеральной разведки всей Площади прииска, то есть пробить несколько шурфов в шахматном порядке, чтобы проследить простирание золотоносного пласта, его мощность и все условия залегания. Но подобная разведка стоила бы около тысячи рублей, а таких денег не было и в помине. Еще больше стоила бы «вскрышка россыпи», то есть снятие верхнего пласта пустой породы, что делается на больших хозяйских работах. Это и выгодно, и вперед можно рассчитать содержание золота. Но пришлось вести работы старательским способом: взяли угол россыпи и пошли вверх по логу «ортами». Зараз производились и вскрышка верховика и промывка песков. Содержание золота оказалось порядочное, хотя и не везде одинаковое.

– Какая это работа: как мыши краюшку хлеба грызем, – жаловался Кишкин. – Все равно, как лестницу мести с нижней ступеньки.

В «забое», где добывались пески, работали Матюшка с Туркой, откатывал на тачке пески Яша Малый, а Мина Клейменый стоял на промывке с Кишкиным. Собственно промывка – бабья, легкая работа. Дело все-таки шло очень недурно и «оправдывало себя». На пятерых в день намывали до двух золотников золота, что составляло поденщину рубля в полтора. Одно смущало Кишкина, что золото шло неровное – то убавится, то прибавится. Другая беда была в том, что близилась зима, а зимой или ставь теплую казарму, или бросай все дело до следующей весны. Пока все жили в одной избушке, кое-как защищавшей от дождя. Мысль о зиме не давала Кишкину покоя: партия разбредется, а потом начинай все сызнова.

Если бы не эти заботы, совсем было бы хорошо. Проведенное в лесу лето точно размягчило Кишкина, и он даже начинал жалеть о заваренной каше. Недавняя озлобленность, вызванная многолетними неудачами, нуждой и одиночеством, сменилась бодрым, хорошим настроением. Да и хорошо жить в лесу… Какие ночи выпадали, какие ясные горячие деньки: двадцать лет с плеч долой. День за работой, а вечером такой здоровый отдых около своего огонька в приятной беседе о разных разностях. С других приисков народ заходил, и вся Мутяшка была на вестях: у кого какое золото идет, где новые работы ставят и т. д. Вся Мутяшка представляла одно громадное целое, жившее одними интересами и надеждами.

– Эх, нету у нас, Андрон Евстратыч, первое дело, лошади, – повторял каждый день Матюшка, –

а второе дело, надо нам беспременно завести бабу… На других приисках везде свои бабы полагаются.

– Окся, подлая, убежала… – оправдывался Кишкин.

Было несколько попыток приобрести бабу, но все они закончились полнейшей неудачей. Про фотьянских баб и думать было нечего: они совсем задорожились. У себя дома не успевали поправляться. Были, конечно, шатущие по промыслам девки, отбившиеся от своих семей, но такую и к артельному котелку никто не пустит. Бабы вообще шли нарасхват. Главным поставщиком этого товара служил Балчуговский завод. На Сиротке жили несколько времени две таких бабы, но не зажились. Прииск был небольшой, рабочих мало, да и то почти все старики.

– Скучно у вас, – говорили бабы и уходили куда-нибудь на соседний прииск к Ястребову.

Мыльников приводил свою Оксю два раза, и она оба раза бежала. Одним словом, с бабой дело не клеилось, хотя Петр Васильич и обещал раздобыть таковую во что бы то ни стало.

– Да тебя как считать-то: не то ты с нами робишь, не то отшибся? – спрашивал Кишкин Петра Васильича. – День поробишь да неделю лодырничаешь.

– Ужо погодите, управлюсь с делами, так в первой голове пойду.

– Расчета тебе нет, Петр Васильич: дома-то больше добудешь. Проезжающие номера открыл, а теперь, значит, открывай заведение с арфистками… В самый раз для Фотьянки теперь подойдет. А сам похаживай петушком да командуй – всей и работы.

– Кишок, пожалуй, не хватит, Андрон Евстратыч, – скромничал Петр Васильич, блаженно ухмыляясь. – Шутки шутишь над нашей деревенской простотой… А я как-то раз был в городу в таком-то заведении и подивился, как огребают денежки.

– Обзарился, поди?.. Лют ты до чужих денег, Петр Васильич. Глаз у тебя так и заиграет, как увидит деньги-то…

Зачем шатался на прииски Петр Васильич, никто хорошенько не знал, хотя и догадывались, что он спроста не пойдет время тратить. Не таковский мужик… Особенно недолюбливал его Матюшка, старавшийся в компании поднять насмех или устроить какую-нибудь каверзу. Петр Васильич относился ко всему свысока, точно дело шло не о нем. Однако он не укрылся от зоркого и опытного взгляда Кишкина. Раз они сидели и беседовали около огонька самым мирным образом. Рабочие уже спали в балагане.

– Это у тебя что пазуха-то отдулась? – самым невинным образом спросил Кишкин.

Петр Васильич схватился за свою пазуху, точно обожженный, а Кишкин засмеялся и покачал головой.

– Эх, Петр Васильич, Петр Васильич, – повторял он укоризненно. – И воровать-то не умеешь. Первое дело, велики у тебя весы: коромысло-то и обозначилось. Ха-ха…

– Н-но-о?.. Это я в починку захватил…

– В лесу починивать?.. Ну, будет, не валяй дурака… А ты купи маленькие вески, есть такие, в футляре. Нельзя же с безменом ходить по промыслам. Как раз влопаешься. Вот все вы такие,

мужланы: на комара с обухом. Три рубля на вески пожалел, а головы не жаль… Да смотри, моего золота не шевели: порошину тронешь – башка прочь.

– Ну и глаз у тебя, Андрон Евстратыч: насквозь. Каюсь, был такой грех… Одинова попробовал, а лестно оно.

– От кого?

Петр Васильич опять замялся и заерзал на месте.

– Ну, ну, без тебя знаю, – успокоил его Кишкин. – Только вот тебе мой сказ, Петр Васильич… Видал, как рыбу бреднем ловят: большая щука уйдет, а маленькая рыбешка вся тут и осталась. Так и твое дело… Ястребов-то выкрутится: у него семьдесят семь ходов с ходом, а ты влопаешься со своими весами, как кур во щи.

Это отеческое внушение и сознание собственной мужицкой глупости подействовали на Петра Васильича самым угнетающим образом. Ему было бы легче, если бы Кишкин прямо обругал его. Со всяким бывают такие скверные положения, когда человек рад сквозь землю провалиться, то же самое было и с Петром Васильичем. Убежать прямо от Кишкина было совестно, да и оставаться тоже. Петр Васильич сидел и моргал единственным глазом, как сыч. Мужицкая совесть тяжелая, и Петр Васильич чувствовал, как он начинает ненавидеть Кишкина, ненавидеть его за собачью догадливость. Главное, посмеялся Кишкин над его глупостью.

– Ну так как же? – спрашивал Кишкин, хлопая его по плечу.

– А все то же, Андрон Евстратыч… Напрасно ты меня весками-то укорил: пошутил я, никаких весков нету со мной. Посмеялся я, значит…

– Ладно, разговаривай…

– Может, ты скупаешь здесь золото-то, тебе это сподручнее?.. Охулки на руку не положишь, а уж где нам, дуракам!..

Они расстались врагами.

Кишкин угадал относительно деятельности Петра Васильича, занявшегося скупкой хищнического золота на новых промыслах. Дело было не трудное, хотя и приходилось вести его осторожно, с разными церемониями. Сам Ястребов не скупал золота прямо от старателей и гнал их в три шеи, если кто-нибудь приходил к нему. Это все знали и несли золото к Ермошке или другим мелким ястребовским скупщикам. Петр Васильич был еще внове, рабочие его мало знали, и приходилось самому отправляться на промысла и вести дело «под рукой». Опытные рабочие не доверяли новому скупщику, но соблазн заключался в том, что к Ермошке нужно было еще везти золото, а тут получай деньги у себя на промыслах, из руки в руку.

У Петра Васильича было несколько подходов, чтобы отвести глаза приисковым смотрителям и доверенным. Так, он прикидывался, что потерял лошадь, и выходил на прииск с уздой в руках.

– Не видали ли, братцы, мою кобылу? – спрашивал он. – Правое ухо порото, левое пнем… Вот третьи сутки в лесу брожу.

– Да ты сам-то откедова взялся? – подозрительно спрашивал кто-нибудь.

– Я с Мутяшки… У Кишкина на Сиротке робим.

Разговор завязывался. Петр Васильич усаживался куда-нибудь на перемывку, закуривал «цыгарку», свернутую из бумаги, и заводил неторопливые речи. Рабочие – народ опытный и понимали, какую лошадь ищет кривой мужик.

– Шерсть-то какая у твоей кобылы?

– Да желтая шерсть… Ни саврасая, ни рыжая, а какая-то желтая уродилась. Такая уж мудреная скотинка…

Побеседовав, Петр Васильич уходил и дожидался добычи где-нибудь в сторонке. Он пристраивался где-нибудь под кустиком и открывал лавочку. Подходил кто-нибудь из старателей.

– Почем?

– Три бумажки…

– На Малиновке по четыре дают.

– Много дают, да только домой не носят… А мои три бумажки сейчас.

В переводе этот торг заключался в желании скупщика приобрести золотник золота за три рубля, а продавец хотел продать по четыре. После небольшого препирательства победа оставалась за Петром Васильичем. Он с необходимыми предосторожностями добывал из-за пазухи свои весы, завернутые в платок, и принимался весить принесенное золото, причем не упускал случая обмануть, потому что весы были «с привесом». Второпях продавцу было не до проверки, хотя он долго потом чесал затылок, прикидывал в уме и ругал кривого черта вдогонку.

Иногда Петр Васильич показывался на прииске верхом на своей желтой кобыле и разыгрывал «заплутавшегося человека», иногда приходил прямо в приисковую контору и предлагал какой-нибудь харч по очень сходной цене и т. д. Вместе с практикой развились его изобретательность и нахальство. Его уже знали на промыслах, и в большинстве случаев ему стоило только показаться где-нибудь поблизости, как слетались сейчас же хищники. А золота в Кедровской даче оказалось достаточно. Везде шла самая горячая работа, хотя особенно богато золота, о котором гласила стоустая молва, и не оказалось. Все-таки работать было можно, и тысячи рабочих находили здесь кусок хлеба.

Добытое таким нелегким путем золото сдавалось Ястребову за 20 копеек, то есть он прибавлял за каждый золотник 20 копеек премии. Сначала Петр Васильич был чрезвычайно доволен, потому что в счастливый день зашибал рублей до трех, да, кроме того, наживал еще на своих провесах и обсчетах рабочих. В общем получались довольно кругленькие денежки. Но с Петром Васильичем повторилось то же самое, что с матерью. Его охватило такое же чувство жадности, и ему все казалось мало. В самом деле, он наживал с золотника 20 копеек, а Ястребов за здорово живешь сдавал в казну этот же золотник за 4 рубля 50 копеек и получал целый рубль. Конечно, Ястребов давал деньги на золото, разносил его по книгам со своих приисков и сдавал в казну, но Петр Васильич считал свои труды больше, потому что шлялся с уздой, валял дурака и постоянно рисковал своей шкурой как со стороны хозяев, так и от рабочих. И шею могут накостылять, и ограбить, и начальству головой выдать, а пожаловаться некому. Природная трусость Петра Васильича исчезла под магическим освещением золота, и он действовал смелее самых опытных скупщиков. Ах, если бы у него были свои деньги, что

можно было бы сделать! Почище Ястребова подвел бы механику. С тем же Кишкиным вошел бы в соглашение, чтобы записывать скупленное золото на Сиротку. Но лиха беда заключалась в том, что не хватало силы, а пустяками не стоило пока заниматься. Конечно, все эти затаенные мысли Петр Васильич хранил до поры до времени про себя и Ястребову не показывал вида, что недоволен.

По предварительному уговору, с внешней стороны Петр Васильич и Ястребов продолжали разыгрывать комедию взаимной вражды. Петр Васильич привязывался к каждому пустяку в качестве хозяина и ругал Ястребова при всем народе.

– Мамынька, это ты пустила постояльца! – накидывался Петр Васильич на мать. – А кто хозяин в дому?.. Я ему покажу… Он у меня споет голландским петухом. Я ему нос утру…

Баушка Лукерья выбивалась из сил, чтобы утишить блажившего сынка, но из этого ничего не выходило, потому что и Ястребов тоже лез на стену и несколько раз собирался поколотить сварливого кривого черта. Но особенно ругал жильца Петр Васильич в кабаке Фролки, где народ помирал со смеху.

– Надулся пузырь и думает: шире меня нет!.. – выкрикивал он по адресу Ястребова. – Нет, погоди, брат… Я тебе смажу салазки. Такой же мужик, как и наш брат. На чужие деньги распух…

Когда Ястребов на своей тройке проезжал мимо кабака, Петр Васильич выскакивал на дорогу, отвешивал низкий поклон и кричал:

– Возьми меня с собой в Сибирь, Никита Яковлич. Одному-то тебе скучно будет ехать.

Дело доходило до того, что Ястребов жаловался на него в волость, и Петра Васильича вызывали волостные старички для внушения.

– Ты не показывай из себя богатого-то, – усовещивали старички огрызавшегося Петра Васильича, – как раз насыплем, чтобы помнил. Чего тебе Ястребов помешал, кривой ерахте?

– А вот это самое и помешал, – не унимался Петр Васильич. – Терпеть его ненавижу… Чем я знаю, какими он делами у меня в избе занимается, а потом с судом не расхлебаешься. Тоже можем свое понятие иметь…

– Отодрать тебя, пса, вот и весь разговор… Что больно перья-то распустил?

**IV**

Известие о бегстве Фени от баушки Лукерьи застало Родиона Потапыча в самый критический момент, именно, когда Рублиха выходила на роковую двадцатую сажень, где должна была произойти «пересечка». Старик был так увлечен своей работой, что почти не обратил внимания на это новое горшее несчастье, или только сделал такой вид, что окончательно махнул рукой на когда-то самую любимую дочь. Укрепился старик и не выдал своего горя на посмеянье чужим людям.

Рабочих на Рублихе всего больше интересовало то, как теперь Карачунский встретится с Родионом Потапычем, а встретиться они были должны неизбежно, потому что Карачунский тоже начинал увлекаться новой шахтой и следил за работой с напряженным вниманием. Эта встреча произошла на дне Рублихи, куда спустился Карачунский по стремянке.

– Обманула, видно, нас двадцатая-то сажень? – спокойно проговорил Карачунский, осматривая забой.

– Сдвиг дала жила, – так же спокойно ответил Родион Потапыч. – Некуда ей деваться… Не иголка.

Больше между ними не было сказано ни одного слова. Дело в том, что Родион Потапыч резко разделял для себя Карачунского-управляющего от Карачунского-соблазнителя Фени. Первого он в настоящую трудную минуту даже любил, потому что Карачунский в достаточной степени заразился верой в эту самую Рублиху и с лихорадочным вниманием следил за каждым шагом вперед. Дело усложнялось тем, что промысловый год уже был на исходе, первоначальная смета на разработку Рублихи давно перерасходована, и от одного Карачунского зависело выхлопотать у компании дальнейшие ассигновки. Инженер Оников с самого начала был против новой шахты и, конечно, со своей стороны мог много повредить делу. Одним словом, дорога была каждая минута, и нужно было поставить Карачунского в такое положение, когда об отступлении нечего было бы и думать. Родион Потапыч слишком хорошо, по личному опыту, изучил все признаки промысловой горячки и в Карачунском видел своего единомышленника, от которого зависело все. Новая история с Феней была тут ни при чем.

Когда Родион Потапыч в ближайшую субботу вернулся домой и когда Устинья Марковна повалилась к нему в ноги со своими причитаньями и слезами, он ответил всего одним словом:

– Знаю…

Больше о Фене в зыковском доме ничего не было сказано, точно она умерла. Когда старик узнал о бегстве Марьи на Фотьянку, то только махнул рукой, точно сбежала кошка. В этом сказался мужицкий взгляд на девку в семье как на что-то чужое, что не сегодня-завтра вспорхнет и улетит. Была Марья, не стало Марьи – лишний рот с костей долой. Захотела своего девичьего хлеба отведать, ну и пусть ее… Устинья Марковна в глубине души была рада, что все обошлось так благополучно, хотя и наблюдала потихоньку грозного мужа, который как будто немного даже рехнулся.

«Хоть бы для видимости построжил, – даже пожалела про себя привыкшая всего бояться старуха. – Какой же порядок в дому без настоящей страсти? Вон Наташка скоро заневестится и тоже, пожалуй, сбежит, или зять Прокопий задурит».

Устинья Марковна с душевной болью чувствовала одно, что в своем собственном доме Родион Потапыч является чужим человеком, точно ему вдруг стало все равно, что делается в своем гнезде. Очень уж это было обидно, и Устинья Марковна потихоньку от всех разливалась рекой.

Когда Родион Потапыч вернулся на свой Ульянов кряж, там произошло целое событие, о котором толковала вкривь и вкось вся Фотьянка. Дело в том, что Тарас Мыльников, благодаря ходатайству Фени, получил делянку чуть не рядом с главной шахтой, всего в каких-нибудь ста саженях. Сначала Родион Потапыч не поверил собственным ушам и отправился на место действия. Дудку Мыльникова от компанейской работы отделяла одна небольшая еловая заросль. Когда старик пришел на место, там уже кипела горячая работа. Сам Тарас стоял по грудь в заложенной дудке и короткой лопатой выкидывал землю – «пустяк» на полати, устроенные из краденых с шахты досок. Окся сваливала «пустяк» в тачку и отвозила в сторону, где уже желтела новая свалка.

– Да ты с ума сошел, безумная голова? – накинулся Родион Потапыч на непризнанного зятя. – Куда залез-то?..

– Родиону Потапычу сорок одно с кисточкой… – весело ответила голова Тараса из ямы. – Аль завидно стало? Не бойсь, твоего золота не возьму… Разделимся как-нибудь.

– Да ведь здесь компанейское место, пес кудлатый!.. Ступай на Краюхин увал: там ваше место.

– Сам ступай, коли так поглянулось, а я здесь останусь. Промежду прочим, сам Степан Романыч соблаговолил отвести деляночку… Его спроси.

– Ну, это уж ты врешь!..

– Вот что я тебе скажу, Родион Потапыч: и чего нам ссориться? Слава Богу, всем матушки-земли хватит, а я из своих двадцати пяти сажен не выйду и вглубь дальше десятой сажени не пойду. Одним словом, по положению, как все другие прочие народы… Спроси, говорю, Степан-то Романыча!.. Благодетель он…

Старый штейгер плюнул на конкурента, повернулся и ушел.

– Эй, Родион Потапыч, не плюй в колодец! – кричал вслед ему Мыльников, – как бы самому же напиться не пришлось… Всяко бывает. Я вот тебе такое золото обыщу, что не поздоровится. А ты, Окся, что пнем стала? Чему обрадовалась-то?

Родион Потапыч уже на месте сообразил, какими путями Мыльников добился своей делянки, и только покачал головой.

«Эх, слаб Степан Романыч до женского полу и только себя срамит поблажкой. Тот же Мыльников охает его везде. Пес и есть пес: добра не помнит».

Карачунский, действительно, не показывался на Рублихе с неделю: он совестился неподкупного старого штейгера.

А Мыльников копал себе да копал, как крот. Когда нельзя было выкидывать землю, он поставил деревянный вороток, какие делались над всеми старательскими работами, а Окся «выхаживала» воротом добытую в дудке землю. Но двоим теперь было трудно, и Мыльников прихватил из фотьянского кабака старого палача Никитушку, который все равно шлялся без всякого дела. Это был рослый сгорбленный старик с мутными, точно оловянными глазами, взъерошенной головой и длинными, необыкновенно сильными руками. Когда-то рыжая окладистая борода скатывалась войлоком цвета верблюжьей шерсти. Ходил Никитушка в оборванном армяке и опорках, но всегда в красной кумачевой рубахе, которая для него являлась чем-то вроде мундира. Городские купцы дарили ему каждый год по нескольку таких рубах, заставляя петь острожные варнацкие песни и приплясывать.

– Эй, тятенька, шевели бородой! – покрикивал Мыльников палачу из своей ямы.

Это была, во всяком случае, оригинальная компания: отставной казенный палач, шваль Мыльников и Окся. Как ухищрялся добывать Мыльников пропитание на всех троих, трудно сказать; но пропитание, хотя и довольно скудное, все-таки добывалось. В котелке Окся варила картошку, а потом являлся ржаной хлеб. Палач Никитушка, когда был трезвый, почти не разговаривал ни с кем, – уставит свои оловянные глаза и молчит. Поест, выкурит трубку и опять за работу. Мыльников часто приставал к нему с разными пустыми разговорами.

– Поди, в другой раз ночью пригрезится, как полосовал прежде каторжан, – страшно сделается? Тоже ведь и в палаче живая душа… а?..

– Отстань, смола…

Но стоило выпить Никитушке один стаканчик водки, как он делался совершенно другим человеком, – пел песни, плясал, рассказывал все подробности своего заплечного мастерства и вообще разыгрывал кабацкого дурачка. Все знали эту слабость Никитушки и по праздникам делали из нее род спорта.

Втроем работа подвигалась очень медленно и чем глубже, тем медленнее. Мыльников в сердцах уже несколько раз побил Оксю, но это мало помогало делу. Наступившие заморозки увеличивали неудобства: нужно было и теплую одежду и обувь, а осенний день невелик. Даже Мыльников задумался над своим диким предприятием. Дудка шла все еще на пятой сажени, потому что попадался все чаще и чаще в «пустяке» камень-ребровик, который точно черт подсовывал.

– Теперь уж скоро жилка будет, – уверял самого себя Мыльников. – Мне еще покойный Кривушок сказывал, когда, бывало, вместе пировали. Родион-то Потапыч достигает ее на глыби, а она вся поверху расщепилась. Расшибло ее, жилу…

Это была совершенно оригинальная теория залегания золотоносных жил, но нужно было чему-нибудь верить, а у Мыльникова, как и у других старателей, была своя собственная геология и терминология промыслового дела. Наконец в одно прекрасное утро терпение Мыльникова лопнуло. Он вылез из дудки, бросил оземь мокрую шапку и рукавицы и проговорил:

– А черт с ней и с дудкой… Через этот самый «пустяк» и с диомидом не пролезешь. Глыбко ушла жила… Должно полагать, спьяну наврал проклятый Кривушок, не тем будь помянут покойник.

Палач угрюмо молчал, Окся тоже. Мыльников презрительно посмотрел на своих сотрудников, присел к огоньку и озлобленно закурил трубочку. У него в голове вертелись самые горькие мысли. В самом деле, рыл-рыл землю, робил-робил и, кроме «пустяка», ни синь-пороха. Хоть бы поманило чем-нибудь… Эх, жисть! Лучше бы уж у Кишкина на Мутяшке пропадать.

– Так, значит, тово… пошабашим? – спрашивал палач совершенно равнодушно, как о деле решенном.

– Кто это тебе сказал? – воспрянул духом Мыльников, раздумье с него соскочило, как с гуся вода. – Ну нет, брат… Не таковский человек Тарас Мыльников, чтобы от богачества отказался. Эй, Окся, айда в дудку…

– Не полезу… – решительно заявила Окся, угрюмо глядя на запачканный свежей глиной родительский азям.

Мыльников сразу остервенился и избил несчастную Оксю влоск, – надо же было на ком-нибудь сорвать расходившееся сердце.

– Я тебя, курву, вниз головой спущу в дудку! – орал Мыльников, устав от внушения. – Палач, давай привяжем ее за ногу к канату и спустим.

Палач был согласен. Ввиду такого критического положения Окся, обливаясь слезами, сама спустилась в дудку, где с трудом можно было повернуться живому человеку. Ее обрадовало то, что здесь было теплее, чем наверху, но, с другой стороны, стенки дудки были покрыты липкой слезившейся глиной, так что она не успела наложить двух бадей «пустяка», как вся промокла, – и ноги мокрые, и спина, и платок на голове. Присела Окся и опять заревела. Как

она пойдет с Ульянова кряжа на Фотьянку – околеет дорогой. А Мыльников уже ругался наверху, прислушиваясь к всхлипыванию Окси.

– Вот я тебя! – кричал он, бросая сверху комья мерзлой глины. – Я тебя выучу, как родителя слушать… То-то наказал Господь-батюшка дурой неотесанной!.. Хоть пополам разорвись…

Тяжело достался Оксе этот проклятый день… А когда она вылезла из дудки, на ней нитки не было сухой. Наверху ее сразу охватило таким холодом, что зуб на зуб не попадал.

– Беги бегом, дура, согреешься на ходу! – пожалел ее чадолюбивый папаша. – А то как раз замерзнешь еще… Наотвечаешься за тебя!..

Окся действительно бросилась бежать, но только не по дороге в Фотьянку, а в противоположную сторону к Рублихе.

– Не туда, дура!.. – кричал ей вслед Мыльников. – Ах, дура… Не туда!..

Но Окся быстро скрылась в еловой заросли, а потом прибежала прямо на компанейскую шахту и забралась в теплую конторку самого Родиона Потапыча. Как на грех, самого старика в этот критический момент не случилось дома – он закладывал шнур в шахте, а в конторке горела одна жестяная лампочка. Оксю охватила приятная теплота жарко натопленной комнаты. Сначала она посидела у стола, а потом быстро разомлела и комом свалилась на широкую лавку, на которой спал старик, подложив под себя шубу. Окся так измучилась, что сейчас же захрапела, как зарезанная. Можно было представить удивление и негодование Родиона Потапыча, когда он вернулся в свою конторку и на своем ложе нашел спящую невинную приисковую девицу.

– Эй ты, птаха… – тряс ее за плечо рассерженный старик. – Не туда залетела!.. Чья ты будешь-то?

Окся открыла глаза, села и решительно ничего не могла сказать в свое оправдание, а только что-то такое мычала несуразное. Странная вещь – ее спасла та приисковая глина, которой было измазано все платье, ноги, руки и лицо. У Родиона Потапыча существовало какое-то органическое чувство уважения именно к этой глине, которая покрывает настоящего рабочего человека. И сейчас он подумал, что не шатущая эта девка, коли вся в глине, черт чертом. От мокрого платья Окси валил пар, как от загнанной лошади, – это тоже послужило смягчающим обстоятельством.

– Из дудки только вылезла… – коротко объяснила Окся, оглядывая свой незамысловатый костюм, состоявший из пестрядинной станушки, ветхого ситцевого сарафанишка и кофточки на каком-то собачьем меху. – Едва не околела от холоду…

– Может, и поесть хочешь?

– С утра не едала…

Разговор был вообще не сложный. Родион Потапыч добыл из сундука свою «паужину» и разделил с Оксей, которая глотала большими кусками, с жадностью бездомной собаки, и даже жмурилась от удовольствия. Старик смотрел на свою гостью, и в его суровую душу закрадывалась предательская жалость, смешанная с тяжелым мужицким презрением к бабе вообще.

– Откудова ты взялась-то, птаха?..

– А с дудки… от Мыльникова.

– Так он тебя в дудку запятил? То-то безголовый мужичонка… Кто же баб в шахту посылает: такого закону нет. Ну и дурак этот Тарас… Как ты к нему-то попала? Фотьянская, видно?

– Дочь я Тарасу, Окся…

Родион Потапыч нахмурился и отвернулся от внучки. Этого он уж никак не ожидал… Вот так внучка! Закусив, Окся опять прилегла, и у нее начали опять слипаться глаза.

– Ну, теперь ступай… – сурово проговорил старик, не повертываясь. – Поела, согрелась и ступай.

– Вот еще выдумал! Куды я пойду-то. Тоже и сказал.

– Да ты с кем разговариваешь-то?

– Отстань, что привязался-то!.. Вот еще выискался…

Родион Потапыч хотел еще сказать что-то и раскрыл даже рот, но Окся уже храпела. Он посмотрел на нее, покачал головой и на цыпочках вышел из своей конторки. Паровая машина, откачивающая воду, мерно гудела, из шахты доносились предсмертные хрипы, лязг железных скреплений и методические постукивания шестерен. Родион Потапыч подошел к паровым котлам, присел у топки, и вырвавшееся яркое пламя осветило на сердитом старческом лице какую-то детскую улыбку, которая легкой тенью мелькнула на губах, искоркой вспыхнула в глазах и сейчас же схоронилась в глубоких морщинах старческого лица.

– Ведь сама пришла, птаха… – вслух думал старик, испытывая какое-то необыкновенное радостное настроение. – Вот и поди, потолкуй с ней!.. Как домой пришла…

Вся Рублиха, то есть машинист, кочегары, штейгера и рабочие были сконфужены ежедневным появлением Окси в конторке Родиона Потапыча. Она приходила сюда точно домой и в несколько дней натащила какого-то бабьего скарба, тряпиц и «переменок». Старик все выносил терпеливо. Даже свою лавочку он уступил Оксе, а себе поставил у противоположной стены другую. Положим, все знали, что Окся – родная внучка Родиону Потапычу и что в пребывании ее здесь нет ничего зазорного, но все-таки вдруг баба на шахте, – какое уж тут золото.

– Ты бы, Родион Потапыч, и то выгнал Оксюху-то, – советовал подручный штейгер. – Негожее дело, когда бабий дух заведется в таком месте… Не модель, одним словом.

Родион Потапыч, к общему удивлению, на такие разумные речи только усмехался. Поговорят да перестанут…

**V**

С первым выпавшим снегом большинство работ в Кедровской даче прекратилось, за исключением пяти-шести больших приисков, где промывка шла в теплых казармах. Один такой прииск был у Ястребова на Генералке, существовавший специально для того, чтобы в его книгу списывать хищническое золото. Кишкин бился на своей Сиротке до последней крайности, пока можно было работать, но с первым снегом должен был отступить: не брала сила. От летней работы у него оставалось около ста рублей, но на них далеко не уедешь. Попробовал Кишкин обратиться опять к своему доброхоту, секретарю Каблукову, но получил суровый отказ.

– Жирно будет, пожалуй, подавишься…

– Да ведь дело-то верное, Илья Федотыч!.. Вот только бы теплушку-казарму поставить… Вернее смерти. На золотник вышли бы.[3]

– Ладно, рассказывай… Слыхали мы про ваши золотники. Все вы рехнулись с этой Кедровской дачей…

– Так и не дашь?

– И сам не дам и другому закажу, чтобы не давал.

– Ирод ты после этого… Своей пользы не понимаешь! У Ястребова есть заявка на Мутяшке, верстах в десяти от моего прииска… Болотинка в берег ушла, ну, он пошурфовал и бросил. Знаки попадали, а настоящего ничего нет. Как-то встречаю его, разговорились, а он мне: «Бери хоть даром болотину-то…» А я все к ней приглядывался еще с лета: приличное местечко. В том роде, как тогда на Фотьянке. Так вот какое дело выпадает, а ты: «жирно будет». Своего счастья не понимаешь. Вторая Фотьянка будет, уж ты поверь моему слову…

Это предложение рассмешило сердитого секретаря до слез.

– Так своего счастья не понимаю? Ах вы, шуты гороховые… Вторая Фотьянка… ха-ха… Попадешь ты в сумасшедшую больницу, Андрошка… Лягушек в болоте давить, а он богатства ищет. Нет, ты святого на грех наведешь.

Посмеялся секретарь Каблуков над «вновь представленным» золотопромышленником, а денег все-таки не дал. Знаменитое дело по доносу Кишкина запало где-то в дебрях канцелярской волокиты, потому что ушло на предварительное рассмотрение горного департамента, а потом уже должно было появиться на общих судебных основаниях. Именно такой оборот и веселил секретаря Каблукова, потому что главное – выиграть время, а там хоть трава не расти. На прощанье он дружелюбно потрепал Кишкина по плечу и проговорил:

– Только ты себя осрамил, Андрошка… Выйдет тебе решение как раз после морковкина заговенья. Заварить-то кашу заварил, а ложки не припас… Эх ты, чижиково горе!..

– А что, разве есть слухи?

– Ну, уж это тебя не касается. Ступай да поищи лучше свою вторую фотьянскую россыпь… Лягушатник тебе пожертвует Ястребов.

– Ах, ирод… Будешь после ногти грызть, да только поздно. Помянешь меня, Илья Федотыч…

– Помяну в родительскую субботу…

Итак, все ресурсы были исчерпаны вконец. Оставалось ждать долгую зиму, сидя без всякого дела. На Кишкина напало то глухое молчаливое отчаяние, которое известно только деловым людям, когда все их планы рушатся. В таком именно настроении возвращался Кишкин на свое пепелище в Балчуговский завод, когда ему на дороге попал пьяный Кожин, кричавший что-то издали и размахивавший руками.

– Слышал новость, Андрон Евстратыч?

– Черт с печи упал?..

– Хуже… Тарас-то Мыльников ведь натакался на жилу. Верно тебе говорю… Сказывают, золото так лепешками и сидит в скварце, хоть ногтями его выколупывай. Этакой жилки, сказывают, еще не бывало сроду. Окся эта самая робила в дудке и нашла…

– Ты куда, Акинфий Назарыч, едешь-то?

– А сам не знаю… В город мчу, а там видно будет.

– Поедем-ка лучше на Фотьянку: продует ветерком дорогой. Дай отдохнуть вину-то…

– Не я пью, Андрон Евстратыч: горе мое лютое пьет. Тошно мне дома, вот и мыкаюсь… Мамынька посулила проклятие наложить, ежели не остепенюсь.

– Так едем… Жилку у Тараса поглядим. Вот именно, что дуракам счастье… И Окся эта самая глупее полена.

Они вместе отправились на Фотьянку. Дорогой пьяная оживленность Кожина вдруг сменилась полным упадком душевных сил. Кишкин тоже угнетенно вздыхал и время от времени встряхивал головой, припоминая свой разговор с проклятым секретарем. Он жалел, что разболтался относительно болота на Мутяшке, – хитер Илья Федотыч, как раз подошлет кого-нибудь к Ястребову и отобьет. От него все станется… Под этим впечатлением завязался разговор.

– Какие подлецы на белом свете живут, Акинфий Назарыч…

– Это вы насчет меня?

– Нет… Я про одного человека, который не знает, куда ему с деньгами деваться, а пришел старый приятель, попросил денег на дело, так нет. Ведь не дал… А школьниками вместе учились, на одной парте сидели. А дельце-то какое: повернее в десять раз, чем жилка у Тараса. Одним словом, богачество… Уж я это самое дело вот как знаю, потому как еще за казной набил руку на промыслах. Сотню тысяч можно зашибить, ежели с умом…

– Сотню?

– Больше…

Кожин как-то сразу прочухался от такой большой цифры и с удивлением посмотрел на своего спутника, который показался ему таким маленьким и жалким.

– Руку легкую надо на золото… – заметил в раздумье Кожин, впадая опять в свое полусонное состояние.

– А кто фотьянскую россыпь открыл?..

– Это точно… Ах, волк тебя заешь. Правильно… Сколько тебе денег-то надобно?

– Самые пустяки: рублей пятьсот на первый раз…

– Пять катеринок… Так он, друг-то, не дал?.. А вот я дам… Что раньше у меня не попросил? Нет, раньше-то я и сам бы тебе не дал, а сейчас бери, потому как мои деньги сейчас счастливые… Примета такая есть.

– Это ты насчет Федосьи Родионовны?

– Об ней, об самой… Для чего мне деньги, когда я жизни своей постылой не рад, ну, они и придут ко мне.

Все это было так неожиданно, что Кишкин ушам своим не верил. И примета самая правильная…

– Только уговор дороже денег, Андрон Евстратыч: увези меня с собой в лес, а то все равно руки на себя наложу. Феня моя, Феня… родная… голубка…

Нужно было ехать через Балчуговский завод; Кишкин повернул лошадь объездом, чтобы оставить в стороне господский дом. У старика кружилась голова от неожиданного счастья, точно эти пятьсот рублей свалились к нему с неба. Он так верил теперь в свое дело, точно оно уже было совершившимся фактом. А главное, как приметы-то все сошлись: оба несчастные, оба не знают, куда голову приклонить. Да тут золото само полезет. И как это раньше ему Кожин не пришел на ум?.. Ну, да все к лучшему. Оставалось уломать Ястребова.

Открытие Мыльниковым новой жилки произвело потрясающее впечатление. Вся Фотьянка встрепенулась. Золото оказалось под боком и какое золото!.. В несколько дней выросла целая легенда об «Оксиной жиле». Рассказывали чудеса о том, как жила не давалась самому Мыльникову и палачу, а все-таки не могла уйти от невинной приисковой девицы. Сама Окся, сколько ее ни допрашивали, ничего не умела рассказать, а только скалила свои белые зубы и глупо ухмылялась. Зимой народ оставался опять без работы и промышлял «около домашности», поэтому неожиданное счастье Мыльникова особенно бросалось всем в глаза. В кабаке Фролки собирались все новости, обсуждались и разносились во все стороны. Мыльников являлся в кабак по нескольку раз в день и рассказывал такие несообразности, что даже желавшие ему верить должны были только качать головой. Очень уж он врал…

– Это от Кривушка отшиблась жила-то, – объяснял Мыльников, отчаянно жестикулируя. – Он сам сказывал: «Так, грит, самоваром золото-то и ушло вглыбь…» Ну, канпания свою Рублиху наладила, а самовар-то вон куда отшатился. Из глаз ушло золото-то у Родиона Потапыча…

В несколько дней Мыльников совершенно преобразился: он щеголял в красной кумачовой рубахе, в плисовых шароварах, в новой шапке, в новом полушубке и новых пимах (валенках). Но его гордостью была лошадь, купленная на первые деньги. Иметь собственную лошадь всегда было недосягаемой мечтой Мыльникова, а тут вся лошадь в сбруе и с пошевнями – садись и поезжай.

Мыльников для пущей важности везде ездил вместе с палачом Никитушкой, который состоял при нем в качестве адъютанта. Это производило еще большую сенсацию, так как маршрут состоял всего из двух пунктов: от кабака Фролки доехать до кабака Ермошки и обратно. Впрочем, нужно отдать справедливость Мыльникову: он с первыми деньгами заехал домой и выдал жене целых три рубля. Это были первые деньги, которые получила в свои руки несчастная Татьяна во все время замужества, так что она даже заплакала.

– Озолочу всех… – бахвалился Мыльников перед женой.

Чем существовала Татьяна с ребятишками все это время, как Тарас забросил свое сапожное ремесло, – трудно сказать, как о всех бедных людях. Но она как-то перебилась и сама теперь удивлялась этому.

– Погоди, Татьяна, такой дворец выстроим, – хвастался Мыльников. – В том роде, как была «пьяная контора»… Сказал: всех озолочу!

В следующий раз Мыльников привез жене бутылку мадеры и коробку сардин, чем окончательно ее сконфузил. Впрочем, мадеру он выпил сам, а сардинки велел сварить. Одним словом, зачудил мужик… В заключение Мыльников обошел кругом свою проваленную избенку, даже постучал кулаком в стены и проговорил:

– Дыра какая-то анафемская!..

У него сейчас мелькнул в голове план новенького полукаменного домика с раскрашенными ставнями. И на Фотьянке начали мужики строиться – там крыша новая, там ворота, там сруб, а он всем покажет, как надо строиться.

Именно в этот момент торжества Мыльникова на Фотьянку и приехал Кишкин с Кожиным. Их по дороге обогнал Мыльников, у которого в пошевнях сидела целая ватага пьяных мужиков.

– Андрону Евстратычу!.. – кричал Мыльников, размахивая шапкой. – Что больно скукожился? Хошь денег? Вот только четвертной билет разменяю в заведении.

– Эх, вино-то в тебе разыгралось, Тарас!.. – подивился Кишкин. – Очень уж перья-то распустил… Да и приятелей хороших нашел.

– Ох, и не говори: такая канпания, что знакомому черту подарить, так не возьмет… А какова у меня лошадка, Акинфий Назарыч? Сорок цалковых дадено…

– Замучишь, только и всего, – заметил Кожин, хозяйским глазом посмотрев на взмыленную лошадь. – Не к рукам конь…

На Фотьянку Кишкин приехал прямо к Петру Васильичу, чтобы сейчас же покончить все дело с Ястребовым, который, на счастье, случился дома. Им помешал только Ермошка, который теперь часто наезжал в Фотьянку; приманкой для него служила Марья Родионовна, на которую он перенес сейчас все симпатии. Если не судил Бог жениться на Фене, так надо взять, видно, Марью, – девица вполне правильная, без ошибочки. Да и Марья Родионовна в какой-нибудь месяц совершенно изменилась: пополнела, сделалась такой бойкой, а в глазах огоньки так и играют.

– Погодите, Марья Родионовна, пусть только моя Дарья издохнет, – уговаривался Ермошка вперед, – сейчас же сватов зашлю…

– Андроны едут, когда-то будут, – отшучивалась Марья. – Да и мое-то девичье время уж прошло. Помоложе найдете, Ермолай Семеныч.

– В самый вы раз мне подойдете, Марья Родионовна… Как на заказ.

Именно такой разговор и был прерван появлением Кишкина и Кожина. Ермошка сразу нахмурился и недружелюбно посмотрел на своего счастливого соперника, расстроившего все его планы семейной жизни. Пока Кишкин разговаривал с Ястребовым в его комнате, все трое находились в очень неловком положении. Кожин упрямо смотрел на Марью Родионовну и молчал.

– Вы не насчет ли золота? – спросила она его.

– Желаю попробовать счастья, Марья Родионовна: где наше не пропадало. Вот с Кишкиным в канпанию вступаю…

– И весьма напрасно-с, – заметил Ермошка, – пустой старичонка и пустые слова разговаривает…

Ермошка вообще чувствовал себя не в своей тарелке и постарался убраться под каким-то предлогом. Кожин оставался и продолжал молчать.

– А что Феня? – тихо спросил он. – Знаете, что я вам скажу, Марья Родионовна: не жилец я на белом свете. Чужой хожу по людям… И так мне тошно, так тошно!.. Нет, зачем я это говорю?.. Вы не поймете, да и не дай Бог никому понимать…

– Вы Богу молиться попробуйте, Акинфий Назарыч…

– Ах, пробовал… Ничего не выходит. Какие-то чужие слова, а настоящего ничего нет… Молитвы во мне настоящей нет, а так корчит всего. Увидите Феню, поклончик ей скажите… скажите, как Акинфий Назарыч любил ее… ах, как любил, как любил!.. Еще скажите… Да нет, ничего не нужно. Все равно, она не поймет… она… теперь вся скверная… убить ее мало…

– Что вы говорите, Акинфий Назарыч! Опомнитесь…

– Да, да… Опять не то. Это ведь я скверный весь, и на душе у меня ночь темная… А Феня, она хорошая… Голубка, Феня… родная!..

Кожин не замечал, как крупные слезы катились у него по лицу, а Марья смотрела на него, не смея дохнуть. Ничего подобного она еще не видала, и это сильное мужское горе, такое хорошее и чистое, поразило ее. Вот так бы сама бросилась к нему на шею, обняла, приголубила, заговорила жалкими бабьими словами, вместе поплакала… Но в этот момент вошел в избу Петр Васильич, слегка пошатывавшийся на ногах… Он подозрительно окинул своим единственным оком гостя и сестрицу, а потом забормотал:

– Кто здесь хозяин? а?.. Ты о чем ревешь-то, Кожин?.. Эх, брат, у баб последнее рукомесло отбиваешь…

Марья подошла к хозяину, повернула его и потихоньку вытолкала в дверь.

– Ступай, ступай, Петр Васильич, – наговаривала она. – Потом придешь. Без тебя тошно…

– Марьюшка, а кто хозяин в дому? а? А Ястребова я распатроню!.. Я ему по-ка-жу-у… Я, брат, Марья, с горя маненько выпил. Тоже обидно: вон какое богачество дураку Мыльникову привалило. Чем я его хуже?..

Открытая Мыльниковым жилка совсем свела с ума Петра Васильича, который от зависти пировал уже несколько дней и несколько раз лез даже в драку со счастливым обладателем сокровища.

– Только товар портишь, шваль! – ругался Петр Васильич. – Что добыл, то и стравил канпании ни за грош… По полтора рубля за золотник получаешь. Ах, дурак Мыльников… Руки бы тебе по локоть отрубить… утопить… дурак, дурак! Нашел жилку и молчал бы, а то растворил хайло: «Жилку обыскал!» Да не дурак ли?.. Язык тебе, подлому, отрезать…

Совещание Кишкина с Ястребовым продолжалось довольно долго. Ястребов неожиданно заартачился, потому что на болоте уже производилась шурфовка, но потом он так же неожиданно согласился, выговорив возмещение произведенных затрат. Ударили по рукам, и дело было кончено. У Кишкина дрожали руки, когда он подписывал условие.

– Ну, владай, твое счастье! – смеялся Ястребов. – У меня и без Мутяшки дела по горло. Один Ягодный чего стоит…

**VI**

Карачунский переживал свой медовый месяц. Вся его долгая жизнь представляла непрерывную цепь любовных приключений, причем он любил делать резкие переходы от одной категории женщин к другой. Были у него интрижки с женщинами «из общества», при поджигающей обстановке постоянной опасности, сцен ревности, изящных слез и неизящных попреков. Да, женщины любили его, но он не отдавался вполне ни одной и вел свои дела так, что всегда было готово отступление. Это была сама житейская мудрость, которая завершалась письмами. Ах, какая это была своеобразная литература, если бы кто-нибудь имел терпенье проследить ее во всех стадиях! Карачунского обвиняли во всех преступлениях, грозили, умоляли, и постепенно все дело сводилось к желанному концу, то есть «на нет». Что возмущало Карачунского, так это то, что все эти женщины из общества повторяли одна другую до тошноты – и радость, и горе, и восторги, и слезы, и хитрость носили печать шаблонности. И достоинство тоже было одно: все эти «сюжеты» умели молчать. Параллельно с этим Карачунский в виде отдыха позволял себе легкие удовольствия с «детьми природы», которые у него фигурировали мимолетно под видом горничных или экономок. До сих пор все они кончались очень печально: дитя природы устраивало крупный скандал с угрозой жаловаться мировому и пр. Но «дети природы» имели одну общую слабость: Карачунский откупался от них деньгами. Знакомые смотрели на все это как на милые шалости старого холостяка, а Карачунский был счастлив тем, что с ним не случилось никаких «органических последствий». У него не было детей, и это его спасало.

Из этой установившейся долголетней практики Карачунского совершенно выбила история с Феней. Это была совершенно незнакомая ему натура. О деньгах тут не могло быть и речи, а, с другой стороны, Карачунский чувствовал, как он серьезно увлекся этой странной девушкой, не походившей на других женщин. Прежде всего в ней много было природного такта и того понимания, которое читает между строк. Последнее было даже тяжело, потому что Карачунский привык третировать всех женщин свысока, в самых изысканных, но все-таки обидных формах. Здесь же все было на виду, каждое движение, каждое слово, каждая мысль. Карачунский знал, что Феня уйдет от него сейчас же, как только заметит, что она лишняя в этом доме. Эта благородная женская гордость, эта готовность к самопожертвованию заставила его уважать именно эту простую, но полную жизни женскую натуру. Больше: Карачунский с ужасом почувствовал, что он теряет свою опытную волю и что делается тем жалким рабом, который в его глазах всегда возбуждал презрение. Мужчина должен быть полным хозяином в той сфере, где женщине самой природой отведена пассивная и подчиненная роль. Одним словом, он почувствовал, что серьезно влюблен в первый еще раз в жизни. Это открытие испугало его и опечалило. Он долго рассматривал свое цветущее старческой красотой лицо, вздохнул и подумал вслух:

– Ведь это не любовь, а старость… бессильная, подлая старость, которая цепенеющими руками хватается за чужую молодость!.. Неужели я, Карачунский, повторю других, выживших из ума, стариков?

И Феня все это понимает, хотя словами, вероятно, и не сумела бы объяснить всего происходившего. Она и тогда это чувствовала, когда он заезжал на Фотьянку к баушке Лукерье под разными предлогами, а в сущности для того, чтобы увидеть Феню и перекинуться с ней несколькими словами. Сначала его удивляло то, почему Феня не вернулась к Кожину, но потом понял и это: молодое счастье порвалось, и склеить его во второй раз было невозможно, а в нем она искала ту тихую пристань, к какой рвется каждая женщина, не утратившая лучших

женских инстинктов. В нем, в Карачунском, Феня чутьем угадала существование таких душевных качеств, о которых он сам не знал. Прежде всего он не был злым человеком, а затем в нем сохранилось формальное чувство известной внешней порядочности. Вот те два пункта, на которых возникли их отношения.

Но это было еще не все. Однажды за утренним чаем Феня неожиданно заявила:

– Позвольте мне уйти, Степан Романыч…

– Куда уйти?.. Что такое случилось?..

– Да уж так нужно… Не хочу вас срамить.

Феня опустила глаза и раскраснелась. Карачунский посмотрел на нее с каким-то испугом, точно над его головой пронеслось что-то такое громадное и грозное. Феня молчала, оставаясь в той же позе. Карачунский зашагал по столовой, заложив руки в карманы. Вот когда оно случилось, то, на что он меньше всего рассчитывал в течение всей своей жизни и что подкралось совершенно неожиданно. Да, вот эта девушка хочет подарить отцовскую радость… Мысль о жене и детях мелькала иногда в голове Карачунского, окруженная каким-то радужным ореолом. Ведь жена – это особенное существо, меньше всего похожее на всех других женщин, особенно на тех, с которыми Карачунский привык иметь дело, а мать – это такое святое и чистое слово, для которого нет сравнения. И вдруг эта Феня будет матерью его собственного ребенка… Карачунский весь как-то похолодел, начиная переживать что-то вроде ненависти к ней, вот к этой Фене. В каком-то тумане перед ним пронесся Кожин, потом Фотьянка, и какое-то гаденькое чувство ревности к ее прошлому заныло в его душе.

– Куда же ты хочешь уйти? – машинально спрашивал он.

– В город… – коротко ответила Феня. – А там уж как-нибудь поправлюсь.

– Так… да…

Ни слез, ни жалоб, ни упреков, а то молчаливое горе, которое лежит в душевной глубине бесформенной тяжестью.

Карачунский провел бессонную ночь, терзаемый самыми противоположными чувствами и мыслями. Прежде всего приходилось мириться с фактом, безжалостным и неумолимым фактом. Ничтожный промежуток времени, и на свет появится таинственный пришлец, маленькое человеческое существо, с которым рождается и умирает вселенная. Тут нет ни сделок, ни компромиссов, ни обходов, а одна жестокая зоологическая правда. «Вы меня не звали и не ждали, а вот я и пришел…» Это вечная тайна жизни, которая умрет с последним человеком. И рядом с ней, с этой тайной, уживаются такие низкие инстинкты, животный эгоизм и жалкие страсти. В Карачунском проснулось смутное сознание своей несправедливости, и он с ужасом оглянулся назад, где чередой проходили тени его прошлого.

Это была ужасная ночь, полная молчаливого отчаяния и бессильных мук совести. Ведь все равно прошлого не вернешь, а начинать жить снова поздно. Но совесть – этот неподкупный судья, который приходит ночью, когда все стихнет, садится у изголовья и начинает свое жестокое дело!.. Жениться на Фене? Она первая не согласится… Усыновить ребенка – обидно для матери, на которой можно жениться и на которой не женятся. Сотни комбинаций вертелись в голове Карачунского, а решение вопроса ни на волос не подвинулось вперед.

Ранним утром Карачунский уехал на Рублиху, чтобы проветриться после бессонной ночи. Он в

первый раз вздохнул свободно, когда очутился на свежем воздухе. Да, есть еще свежий воздух, и снежные зимние дни, и это низкое, серое зимнее небо. Пара закормленных вяток неслась вихрем; особенно играла пристяжка. Карачунский заметил, что и кучер сегодня в новом армяке и с удовольствием правит выхоленной парой. Это был старый промысловый кучер Агафон, ездивший постоянно только с Карачунским. Он имел странный, специально кучерский характер. Несколько месяцев ничего не пил, сберегал каждую копейку, обзаводился платьем, а потом спускал все в несколько дней в обществе одной и той же солдатки, которую безжалостно колотил в заключение фестиваля. Карачунский каждый год собирался ему отказать, но каждый раз отказывался от этого решения, потому что все кучера на свете одинаковы. Агафон, конечно, был человек с большими недостатками, но зато любил лошадей и ездил мастерски. Все эти пустяки теперь проходили в голове Карачунского, страшным образом связываясь с тем, что осталось там, дома. Феня, например, не любила ездить с Агафоном, потому что стеснялась перед своим братом-мужиком своей сомнительной роли полубарыни, затем она любила ходить в конюшню и кормить из рук вот этих вяток и даже заплетала им гривы.

Потом Карачунский заставил себя думать о Рублихе, чтобы отвлечь мысль от домашней заботы. Он сделал все, чего добивался Родион Потапыч, и представил относительно новых жильных работ громадную смету. Вопрос главным образом шел о вассер-штольне, при помощи которой предполагалось отвести воду из главной шахты в Балчуговку. Нужно было пробить Ульянов кряж поперек, что стоило громадных денег, так как работы должны были вестись в твердых породах березита, сланцев и песчаников. Многолетний опыт показал, что вода начинает «долить» на горизонте тридцати сажен, с этого пункта должна была выйти и вассер-штольня. Все это было очень рискованно, и Карачунский знал, что Оников уже интригует против него, но это только усилило его упрямство. Можно сказать, что именно с этого пункта и началось увлечение Карачунского новой жилой.

– Вот наши старателишки на Фотьянку лопочут, – заметил кучер Агафон, с презрением кивая головой на толпу оборванных рабочих. – Отошла, видно, Фотьянка-то… Отгуляла свое, а теперь до вешней воды сиди-посиди.

В этих словах сказывалось ворчанье дворовой собаки на волчью стаю, и Карачунский только пожал плечами. А вид у рабочих был некрасив, – успели проесть летние заработки и отощали. По старой привычке они снимали шапки, но глаза смотрели угрюмо и озлобленно. Карачунский являлся для них живым олицетворением всяческих промысловых бед и напастей.

Родион Потапыч отнесся к Карачунскому как-то особенно неприветливо и все отворачивался от него, не желая встречаться глазами. Эти неловкие отношения Карачунский объяснял про себя домашними причинами и обрадовался, когда Родион Потапыч проговорился начистоту.

– Что же это такое, Степан Романыч, – ворчал старик, – житья мне не стало…

– Что опять случилось?

– Да как же: под носом Мыльникову жилу отдали… Какой же это порядок? Теперь в народе только и разговору, что про мыльниковскую жилу. Галдят по кабакам, ко мне пристают… Проходу не стало. А главное, обидно уж очень. На смех поднимают.

– Ну, это все пустяки! – успокаивал Карачунский. – Другой делянки никому не дадим… Пусть Мыльников, по условию, до десятой сажени дойдет, и конец делу. Свои работы поставим… Да и убытка компании от этой жилки нет никакого: он обязан сдавать по полтора рубля золотник… Даже расчет нам иметь даровую разведку. Вот мы сами ничего не можем найти, а Мыльников нашел.

– И еще другое дело, Степан Романыч: зятя сманил Мыльников-то, моего, значит, зятя Прокопия. Он раньше-то в доводчиках на золотопромывальной фабрике ходил, а теперь точно белены объелся. Жену бросил, ребятишек бросил, а сам точно прилип к жилке… Тоже сын Яшка. Ах, отодрать его, подлеца, было нужно тогда, Степан Романыч, чтоб малый не баловался. Лето-то пошатался в Кедровской даче, а теперь у Мыльникова – вместе пируют. Еще был у меня машинист на Спасо-Колчеданской шахте, Семенычем звать, – хороший машинист, и его Мыльников сманил. Это как?..

– Это ваши семейные дела, дедушка… Меня это не касается.

– Нет, все от тебя, Степан Романыч: ты потачку дал этому змею Мыльникову. Вот оно и пошло… Привезут ведро водки прямо к жилке и пьют. Тьфу… На гармонии играют, песни орут, – разве это порядок?..

– Хорошо, хорошо, все разберем. А вот как наши дела?..

– Пока ничего не обозначилось… Заложили рассечку на полдень, – все тот же ребровик.

– А штольня?

– На девятую сажень выбежала… Мы этой самой штольней насквозь пройдем весь кряж, и все обозначится, что есть, чего нет. Да и вода показалась. Как тридцатую сажень кончили, точно ножом отрезало: везде вода. Во всей даче у нас одно положенье…

Стоило Карачунскому только свести разговор на шахту, как старый штейгер весь преобразился. В конторке на столе были разложены планы работ, на которых детально были разрисованы все «пройденные» породы и проектированные «рассечки» в разных горизонтах и в разных направлениях. Карачунский и Родион Потапыч боялись только одного, чтобы не получилось той же геологической картины, как в Спасо-Колчеданской шахте. Тогда бросай все работы, особенно если покажется роковой «красик». Общих признаков, конечно, было много, но обращали внимание главным образом на особенности напластования, мощность отдельных пород и тот порядок, в котором они следовали одна за другой. Пока в этом смысле все шло хорошо, хотя жилы не было и звания, а только изредка попадались пустые прожилки кварца.

Среди этой деловой беседы у Карачунского мелькнула мысль, заставившая его похолодеть. Он взглянул на убежденное умное лицо своего собеседника, потер лоб и проговорил:

– Послушайте, Родион Потапыч, ведь мы попали на так называемую блуждающую жилу? Это совершенно ясно… Мы бьемся над пустым местом. Лучшее доказательство: шахта Мыльникова…

Зыков, в свою очередь, посмотрел на главного управляющего, разгладил свою окладистую седую бороду и ответил:

– А откуда Кривушок взял свое золото, Степан Романыч? Прямо говорит, самоваром оно ушло в землю… Это как?

– Однако мы ничего еще пока не нашли? Или жила расщепилась, или она… Да нет, это с нашей стороны громадная ошибка.

Карачунский опять посмотрел на главного штейгера и теперь понял все: перед ним сидел сумасшедший человек, какие встречаются только в рискованных промышленных предприятиях. Да, совершенно сумасшедший, который похоронит и себя и его вот в этой

шахте-могиле. Никакие слова, доводы и убеждения здесь не могли иметь места, раз человек попал на эту мертвую точку. А всего хуже было то, что он, Карачунский, попался как мальчишка, которого следовало выдрать за уши. И отступать было поздно, потому что дело слишком далеко зашло. Самое лучшее было забросить эту проклятую Рублиху, но в переводе это значило загубить свою репутацию, а, продолжая работы, можно было, по меньшей мере, выиграть целый год времени. Мало ли что может случиться: можно наткнуться на случайную жилу, на новое «гнездо» и т. д. Тогда возместится хоть часть произведенных расходов, чтобы отступить с честью. Проклятая Рублиха съест все, и, главное, ее остановить нельзя. Карачунский чувствовал, как все начинает вертеться у него перед глазами, и паровая машина работала точно у него в голове.

– Только бы нам штольню пройти… – повторял Родион Потапыч. – Тогда все обозначится, как на ладони.

– Да нечему обозначаться-то…

Карачунский отвечал машинально. Он был занят тем, что припоминал разные случаи семейной жизни Родиона Потапыча, о которых знал через Феню, и приходил все больше к убеждению, что это сумасшедший, вернее – маньяк. Его отношения к Яше Малому, к Фене, к Марье – все подтверждало эту мысль.

**VII**

Своим поведением Мыльников удивил даже людей, видавших всякие виды. Случаи дикого счастья время от времени перепадали и в Балчуговском заводе и на Фотьянке, когда кто-нибудь находил «гнездо» золота или случайно натыкался на хороший пропласт золотоносной россыпи где-нибудь в бортах. Эти случаи сейчас же иллюстрировались непременно лошадью-новокупкой, новой одеждой, пьянством и новыми крышами на избах, а то и всей избой. За последнее лето таких новых изб появилось на Фотьянке до десятка, а новых крыш и того больше. Куда только заглядывал золотой луч, сейчас сказывалось его чудотворное влияние. Тихо было только в Балчуговском заводе, потому что из балчуговцев никому не посчастливило кедровское золото. Мыльников, отыскав жилку, поступал так, как никто до него еще не делал. Он не работал «сплошь», день за день, а только тогда, когда были нужны деньги…

– Не велика жилка в двадцати-то пяти саженях, как раз ее в неделю выробишь! – объяснял он. – Добыл все, деньги пропил, а на похмелье ничего и не осталось… Видывали мы, как другие прочие потом локти кусали. Нет, брат, меня не проведешь… Мы будем сливочками снимать свою жилку, по удоям.

Так Мыльников и делал: в неделю работал день или два, а остальное время «компанился». К нему приклеился и Яша Малый, и зять Прокопий, и машинист Семеныч. Было много и других желающих, но Мыльников чужим всем отказывал. Исключение представлял один Семеныч, которого Мыльников взял назло дорогому тестюшке Родиону Потапычу.

– Пусть старый черт чувствует… – хихикал Мыльников. – Всю его шахту за себя переведу. Тоже родню Бог дал…

Появление зятя Прокопия было следствием той же политики, подготовленной еще с лета Яшей Малым. Хоть этим старались донять грозного старика, семья которого распалась на крохи меньше чем в один год. Все разбрелись, куда глаза глядят, а в зыковском доме оставались только сама Устинья Марковна с Анной да рябятишками. Произошел полный разгром крепкой старинной семьи, складывавшейся годами. Устинья Марковна как-то совсем опустилась и

отнеслась к бегству Прокопия почти безучастно: это была та покорность судьбе, какая вызывается стихийным несчастьем. Не так посмотрела на дело Анна. Эта скромная и не поднимавшая голоса женщина молча собралась и отправилась прямо на Ульянов кряж, где и накрыла мужа на самом месте преступления: он сидел около дудки и пил водку вместе с другими. Как вскинулась Анна, как заголосила, как вцепилась в мужа – едва оттащили.

– Разоритель! погубитель!.. По миру всех пустил… – причитала Анна, стараясь вырваться из державших ее рук. – Жива не хочу быть, ежели сейчас же не воротишься домой… Куда я с ребятами-то денусь?.. Ох, головушка моя спобедная…

– Перестаньте, любезная сестрица Анна Родивоновна, – уговаривал Мыльников с ядовитой любезностью. – Не он первый, не он последний, ваш-то Прокопий… Будет ему сидеть у тестя на цепи.

– Ах ты… Да я тебе выцарапаю бесстыжие-то глаза!.. Всех только сомущаешь, пустая башка… Пропьете жилку, а потом куда Прокопий-то?

– Ах, сестричка Анна Родивоновна: волка ноги кормят. А что касаемо того, что мы испиваем малость, так ведь и свинье бывает праздник. В кои-то годы Господь счастья послал… А вы, любезная сестричка, выпейте лучше с нами за канпанию стаканчик сладкой водочки. Все ваше горе как рукой снимет… Эй, Яша, сдействуй нащет мадеры!..

– Да я вас, проклятущих, и видеть-то не хочу, не то что пить с вами! – ругалась любезная сестрица и даже плюнула на Мыльникова.

У Мыльникова сложился в голове набор любимых слов, которые он пускал в оборот кстати и некстати: «канпания», «руководствовать», «модель» и т. д. Он любил поговорить по-хорошему с хорошим человеком и обижался всякой невежливостью вроде той, какую позволила себе любезная сестрица Анна Родивоновна. Зачем же было плевать прямо в морду? Это уж даже совсем не модель, особенно в хорошей канпании…

Так Анна и ушла ни с чем для первого раза, потому что муж был не один и малодушно прятался за других. Оставалось выжидать случая, чтобы поймать его с глазу на глаз и тогда рассчитаться за все.

Мы должны теперь объяснить, каким образом шла работа на жилке Мыльникова и в чем она заключалась. Когда деньги выходили, Мыльников заказывал с вечера своим компаньонам выходить утром на работу.

– У меня чтобы в самую точку, как в казенное время… – уговаривался он для внешности. – Ужо колокол повешу, чтобы на работу и с работы отбивать. Закон требует порядка…

Утром рано все являлись на место действия. В дудку Мыльников никого не пускал, а лез сам или посылал Оксю. Дудка углублялась на какой-нибудь аршин. Сначала поднимали «пустяк»; теперь «воротниками» или «вертелами» состояли Яша Малый и Прокопий, а отвозил добытый «пустяк» в отвал Семеныч. При четверых мужиках работа спорилась, не то, что когда работали сначала, при палаче Никитушке. Кстати, последний не вынес пьянства и куда-то скрылся. Затем добывалась самая «жилка», то есть куски проржавевшего кварца с вкрапленным в него золотом. Обыкновенно и при хорошем содержании «видимого золота» не бывает, за исключением отдельных «гнездовок», а «Оксина жила» была сплошь с видимым золотом. В отдельных кусках благородный металл «сидел медуницами».

– Точно плюнуто золотом-то! – объяснял сам Мыльников, когда привозил свою жилку на

золотопромывальную фабрику. – А то как масло коровье али желток из куричьего яйца…

Из ста пудов кварца иногда «падало» до фунта, а это в переводе означало больше ста рублей. Значит, день работы обеспечивал целую неделю гулянки. В одну из таких получек Мыльников явился в свою избушку, выдал жене положенные три рубля и заявил, что хочет строиться.

– И то пора бы, – согласилась Татьяна. – Все равно пропьешь деньги.

– Молчать, баба! Не твоего ума дело… Таку стройку подымем, что чертям будет тошно.

Архитектурные планы у Мыльникова были свои собственные. Он сначала поставил ворота. Это было нечто грандиозное: столбы резные, наверху шатровая крыша, скоба луженая, а на крыше вырезанный из жести петух, который повертывался на ветру. Ворота были поставлены в несколько дней, и Мыльников все время не знал покоя. Но, истощив свою архитектурную энергию, он бросил все и уехал на Фотьянку. Избушка при новых воротах казалась еще ниже, точно она от огорчения присела. Соседи поднимали Мыльникова на смех, но он только посмеивался: хороший хозяин сначала кнут да узду покупает, а потом уж лошадь заводит.

Мы уже сказали выше, что Петр Васильич ужасно завидовал дикому счастью Мыльникова и громко роптал по этому поводу. В самом деле, почему богатство «прикачнулось» дураку, который пустит его по ветру, а не ему, Петру Васильичу?.. Сколько одного страху наберется со своей скупкой хищнического золота, а прибыль вся Ястребову. Тут было о чем подумать… И Петр Васильич все думал и думал… Наконец он придумал, что было нужно сделать. Встретив как-то пьяного Мыльникова на улице, он остановил его и слащаво заговорил:

– Все еще портишь товар-то, беспутная голова?..

– А тебе какое горе приключилось от этого, кривая ерахта?

– Да так… Вчуже на дураков-то глядеть тошно.

– Это ты к чему гнешь?

Петр Васильич огляделся, нет ли кого поблизости, хлопнул Мыльникова по плечу и шепотом проговорил:

– Дурак ты, Тарас, верно тебе говорю… Сдавай в контору половину жилки, а другую мне. По два с полтиной дам за золотник… Как раз вдвое выходит супротив компанейской цены. Говорю: дурак… Товар портишь.

Мыльников задумался. Дурак-то он дурак, это верно, но и «прелестные речи» Петра Васильича тоже хороши. Цена обидная в конторе, а все-таки от добра добра не ищут.

– Нет, брат, неподходящая мне эта модель, – ответил Мыльников, встряхивая головой. – Потому как лицо у меня чистое, незамаранное.

– Ах, дурак, дурак…

– Таков уродился… Говорю: не подвержен, чтобы такая, например, модель.

– Да не дурак ли… а? Да ведь тебе, идолу, башку твою надо пустую расшибить вот за такие слова.

Такие грубые речи взорвали деликатные чувства Мыльникова. Произошла настоящая ругань, а

потом драка. Мыльников был пьян, и Петр Васильич здорово оттузил его, пока сбежался народ и их разняли.

– Вот тебе, новому золотопромышленнику, старому нищему! – ругался Петр Васильич, давая Мыльникову последнего пинка. – Давайте я его удавлю, пса…

Мыльников поднялся с земли, встряхнулся, поправил свой пострадавший во время свалки костюм и, покрутив головой, философски заметил:

– Наградил Господь родней, нечего сказать…

Это родственное недоразумение сейчас же было залито водкой в кабаке Фролки, где Мыльников чувствовал себя как дома и даже часто сидел за стойкой, рядом с целовальником, чтобы все видели, каков есть человек Тарас Мыльников.

Но Петр Васильич не ограничился этой неудачной попыткой. Махнув рукой на самого Мыльникова, он обратил внимание на его сотрудников. Яшка Малый был ближе других, да глуп, Прокопий, пожалуй, и поумнее, да трус, – только телята его не лижут… Оставался один Семеныч, который был чужим человеком. Петр Васильич зазвал его как-то в воскресенье к себе, велел Марье поставить самовар, купил наливки и завел тихие любовные речи.

– Трудненько, поди, тебе, Семеныч, с казенного-то хлеба прямо на наше волчье положенье перейти? – пытал Петр Васильич, наигрывая единственным оком. – Скучненько, поди, а?

– Сперва-то сумневался, это точно, а потом приобык…

– Оно, конечно, привычка, а все-таки… При машине-то в тепле сидел, а тут на холоду да на погоде.

Семеныч от наливки и горячего чая заметно захмелел, и язык у него стал путаться. А тут Марья все около самовара вертится и на него поглядывает.

– Не заглядывайся больно-то, Марьюшка, а то после тосковать будешь, – пошутил Петр Васильич. – Парень чистяк, уж это что говорить!

– Наш, поди, балчуговский, без тебя знаю… – смело отвечала Марья, за словом в карман не лазившая вообще. – Почитай в суседях с Петром Семенычем жили…

– В субботу, когда с шахты выходил домой, мимо вас дорога была, Марья Родивоновна… Тошно, поди, вам здесь на Фотьянке-то?.. Одним словом, кондовое варнацкое гнездо.

– А ты, Марьюшка, маненько как будто уничтожься… – шепнул Петр Васильич, моргая оком. – Дельце у нас с Петром Семенычем.

Марья вышла с большой неохотой, а Петр Васильич подвинулся еще ближе к гостю, налил ему еще наливки и завел сладкую речь о глупости Мыльникова, который «портит товар». Когда машинист понял, в какую сторону гнул свою речь тароватый хозяин, то отрицательно покачал головой. Ничего нельзя поделать. Мыльников, конечно, глуп, а все-таки никого в дудку не пускает: либо сам спускается, либо посылает Оксю.

– Так, так… – соглашался Петр Васильич, жалея, что напрасно только стравил полуштоф наливки, а парень оказался круглым дураком. – Ну, Семеныч, теперь ты тово… ступай, значит, домой.

Когда Семеныч, пошатываясь, выходил из избы, в полутемных сенях его остановила Марья, – она его караулила здесь битый час.

– Петр Семеныч, голубчик, не верьте вы ни единому слову Петра-то Васильича, – шепнула она. – Неспроста он улещал вас… Продаст.

Вместо ответа Семеныч привлек к себе бойкую девушку и поцеловал прямо в губы. Марья вся дрожала, прижавшись к нему плечом. Это был первый мужской поцелуй, горячим лучом ожививший ее завядшее девичье сердце. Она, впрочем, сейчас же опомнилась, помогла спуститься дорогому гостю с крутой лестницы и проводила до ворот. Машинист, разлакомившись легкой победой, хотел еще раз обнять ее, но Марья кокетливо увернулась и только погрозила пальцем.

– Ужо выходи вечерком за ворота… – упрашивал разгоревшийся Семеныч.

– Больно ускорился… Ступай да неси и не потеряй.

Когда Марья вихрем взлетела на крыльцо, охваченная пожаром своего позднего счастья, ее встретила баушка Лукерья. Старуха молча ухватила племянницу за ухо и так увела в заднюю избу.

– Ты это что придумала-то, негодница?

– Баушка, миленькая… золотая…

– Я тебе покажу баушку! Фенька сбежала, да и ты сбежишь, а я с кем тут останусь? Ну, диви бы молоденькая девчонка была, у которой ветер на уме, а то… тьфу!.. Срам и говорить-то… По сеням женихов ловишь, срамница!

Марья терпеливо выслушала ворчанье и попреки старухи, а сама думала только одно: как это баушка не поймет, что если молодые девки выскакивают замуж без хлопот, так ей надо самой позаботиться о своей голове. Не на кого больше-то надеяться… Голова у Марьи так и кружилась, даже дух захватывало. Не из важных женихов машинист Семеныч, а все-таки мужчина… Хорошо баушке Лукерье теперь бобы-то разводить, когда свой век изжила… Тятенька Родион Потапыч такой же: только про себя и знают.

Много было подходов к Мыльникову от своих и чужих, желавших воспользоваться его жилкой, но пока все проходило благополучно. Мыльников твердо вел свою линию и знать ничего не хотел. Так, он вовремя был предупрежден относительно готовившейся ночной экспедиции на его жилку и устроил засаду. Воры попались. Затем, чтобы предупредить подобные покушения, он прикрыл свою дудку тяжелой западней, запиравшейся на два громадных замка. Но и все эти меры не спасли Мыльникова от хищения: воры оказались хитрее его и предупредительнее. Вышло это следующим образом. Мыльников спускался в дудку сам или посылал Оксю, когда самому не хотелось. Последнее вошло мало-помалу в обычай, так что с середины зимы сам Мыльников перестал совсем спускаться в дудку, великодушно предоставив это Оксе.

– Эй, Оксюха, поворачивай! – кричал он ей сверху. – Не осрами своего родителя…

В ответ слышалось легкое ворчанье Окси или какой-нибудь пикантный ответ. Окся научилась огрызаться, а на дне дудки чувствовала себя в полной безопасности от родительских кулаков. Когда требовалась мужицкая работа, в дудку на канате спускался Яша Малый и помогал Оксе, что нужно. Вылезала из дудки Окся черт чертом, до того измазывалась глиной, и сейчас же отправлялась к дедушке на Рублиху, чтобы обсушиться и обогреться. Родион Потапыч

принимал внучку со своей сердитой ласковостью.

– Опять ты пришла свинья свиньей, Аксинья: рылом-то пошто в глину тыкалась?..

– Посадить бы самого в дудку, так поглядела бы я на тебя, каким бы ты анделом оттуда вылез, – отвечала Окся.

– По закону бабам совсем не полагается в подземные работы лазать. Я вот тебя еще в тюрьму посажу.

– А мне все одно: сади. Эк, подумаешь, испугал…

Родион Потапыч любил разговаривать с Оксей и даже советовался с ней относительно «рассечек» в шахте, потому что у Окси была легкая рука на золото.

Никто не знал только одного: Окся каждый раз выносила из дудки куски кварца с золотом, завернутые в разном тряпье, а потом прятала их в дедушкиной конторке, – безопаснее места не могло и быть. Она проделывала всю операцию с ловкостью обезьяны и бесстрастным спокойствием лунатика.

# Часть четвертая

## I

Заручившись заключенным с Ястребовым условием, Кишкин и Кожин, не теряя времени, сейчас же отправились на Мутяшку. Дело было в январе. Стояли страшные холода, от которых птица замерзала на лету, но это не удержало предпринимателей. Особенно торопил Кожин, точно за ним кто гнался по пятам.

– Увези ты меня в лес, Андрон Евстратыч! – упрашивал он. – Может, в лесу отойду…

– Смотри, уговор на берегу: не сбеги из лесу-то. Не сладко там теперь…

– Сам буду работать, своими руками, как простой рабочий, только бы избыть свою муку мученическую.

– Ну, от этого вылечим, а на молодом теле и не такая беда изнашивается.

Партия составилась из Матюшки, Турки и Мины Клейменого, которые работали летом, да прибавилось еще двое молодых рабочих. Недоставало Мыльникова, Петра Васильича и Яши Малого, но о них Кишкин не жалел: хороши, когда спят, а днем на работе точно их нет. Лошади такие бывают, которые на оглобли оглядываются, чтобы лишнего не перебежать. Зимняя дорога в Кедровскую дачу была гораздо удобнее, да и пробили ее на промысла, как прииск Ягодный. Снег выпал в два аршина, так что лошадь тонула в нем, стоило сбиться с накатанного «полоза». Зимние сани поэтому делались на высоких копыльях, чтобы не запруживало в передок снегом. На таких санях и ехали новые компаньоны.

– Посмотри, благодать-то какая! – умиленно повторял Кишкин, окидывая взглядом зеленые стены дремучего ельника. – Силища-то прет из земли… А тут снежком все подернуло.

Действительно, трудно представить себе что-нибудь лучше такого ельника зимой, когда он стоит по колена в снегу, точно очарованный. Траурная зелень приятно контрастировала с девственной белизной снега. Мертвое молчание такого леса напоминало сказочный

богатырский сон. Не шелохнет, не скрипнет, не пискнет, – торжественное молчание охватило все кругом, как на молитве. Именно такое молитвенное настроение испытывал Кожин, когда они ехали с Фотьянки на Мутяшку. Точно мерзлая глыба, отваливалась с души… Еще есть белый свет, и не клином сошлась земля. Давно ничего подобного не переживал Кожин, и ему хотелось плакать от радости. Уйти от своей беды, схорониться от всех в лесу, уложить здесь свою силу богатырскую – да какого же еще счастья нужно? Он припоминал своих раскольничьих старцев, спасавшихся в пустыне, печальные раскольничьи «стихи», сложенные вот по таким дебрям, и ему начинал казаться этот лес бесконечно родным, тем старым другом, к которому можно прийти с бедой и найти утешение. А мороз какой здоровый – так и хватает прямо за душу! Дышать больно. Снег слепит глаза, а впереди несметной ратью встает все тот же красавец лес, заснувший богатырским сном.

Зимний день короток, чуть заря с зарей не сходится. На Мутяшку приехали под вечер, когда между деревьями начали кутаться быстрые зимние сумерки.

– Вот, слава Богу, мы и дома! – весело сказал Кишкин, вылезая из саней в снег. – А вон и дворец…

На берегу Мутяшки к самому лесу приткнулась старательская землянка, полузанесенная снегом. Пришлось ее отгребать, а потом заново сложить печку-каменку, какие устраиваются на живую руку по охотничьим зимовьям. Весь пол был устлан сейчас же свежей хвоей, а также широкие нары, устроенные из тяжелых деревянных плах. Когда вспыхнул в каменке веселый огонек и красным языком лизнул старую сажу в отдушине, все точно повеселело кругом. Весело загремел в лесу топор, а синий дымок потянул столбом кверху, как это бывает только в сильные морозы. Закипел первый котелок, повешенный над самым «пальмом», и промысловый ужин был готов.

– Чаю мы с тобой завтра напьемся, – утешал Кишкин притихшего компаньона. – Ужо надо выйти из балагана-то, а то как раз угоришь; от сырости всегда угарно бывает.

Ночь выпала звездная, светлая. На искрившийся синими огоньками снег было смотреть больно. Местность было трудно узнать – так все кругом изменилось. Именно здесь случился грустный эпизод неудачного поиска свиньи. Кишкин только вздохнул и заметил Мине Клейменому:

– Ведь нашла, подлая, жилку, а нам не хотела указать…

– Отодрать бы ее тогда на этом самом месте, – ответил старый каторжанин. – Небось, сказала бы…

Долго смотрел Кишкин на заветное местечко и про себя сравнивал его с фотьянской россыпью: такая же береговая покать, такая же мочежинка языком влизалась в берег, так же река сделала к другому берегу отбой. Непременно здесь должно было сгрудиться золото: некуда ему деваться. Он даже перекрестился, чтобы отогнать слишком корыстные думы, тяжелой ржавчиной ложившиеся на его озлобленную старую душу.

И ночью Кишкину не спалось. То шаги какие-то слышатся, то птичий клекот, то шушуканье, – не совсем чистое место. А зато намерзшийся за день Кожин спал мертвым сном. Известно, молодое дело: только до места – и готов. Сто раз пересчитал Кишкин свой капитал и высчитал вперед по дням, сколько можно продержаться на эти деньги. Не велик капитал, а ко времени дорог… Перед самым утром едва забылся старик, да и тут увидел такой сон, что сейчас же проснулся. Видел он во сне старое дуплистое дерево, а на вершине сидели два ворона и

клевали сердцевину. Как будто и хорошо, и как будто не совсем.

Утром на другой день поднялись все рано и успели закурить и напиться чаю еще до свету. На берегу началась и работа. Предварительно были осмотрены ястребовские шурфы, пробитые по первым заморозкам. Только опытный промысловый глаз мог открыть едва заметные холмики, состоявшие из земли и снега. Летом исследовать содержание болота было трудно, а из-под льда удобнее: прорубалась прорубь, и землю вычерпывали со дна большими промысловыми ковшами на длинных чернях. Такая работа требовала умелых рук. Кожин не мог себе представить, что можно было сделать с таким болотом. Сейчас эти условия работы окончательно облегчались тем обстоятельством, что болото промерзло насквозь, и вода оставалась только в глубоких колдобинах и болотных «окнах». Кишкин еще с лета рассмотрел болото в мельчайших подробностях и про себя вырешил вопрос, как должна была расположиться предполагаемая россыпь – где ее «голова» и где «хвост». Главным действующим лицом в образовании ее, конечно, являлась река Мутяшка, которая раньше подбивалась здесь к самому берегу и наносила золотоносный песок, а потом, размыв берег, ушла, оставив громадную заводь, постепенно превратившуюся в болото. Для Кишкина картина всей этой геологической работы была ясна, как день, и он еще летом наметил пункты, с которых нужно было начать разведку.

– Ну, братцы, с Богом, – проговорил Кишкин, очерчивая пешней размеры первого шурфа. – Акинфий Назарыч, давай-ка начни, благословясь… Твоя рука легкая.

Рабочие очистили снег, и Кожин принялся топором рубить лед, который здесь был в аршин. Кишкин боялся, что не осталась ли подо льдом вода, которая затруднила бы работу в несколько раз, но воды не оказалось – болото промерзло насквозь. Сейчас подо льдом начиналась смерзшаяся, как камень, земля. Здесь опять была своя выгода: земля промерзла всего четверти на две, тогда как без льда она промерзла на все два аршина. Заложив шурф, Кожин присел отдохнуть. От него пар так и валил.

– Что, хорошо, Акинфий Назарыч?

– Лучше не бывает.

– То-то, тебе в охоту поработать. Молодой человек, не знаешь, куда с силой деваться.

Пока Кожин отдыхал, его место занял Матюшка, у которого работа спорилась вдвое. Привычный человек: каждое движение рассчитано. Кишкин всегда любовался на матюшкину работу. До обеда еще прошли всего один аршин, а после обеда началась уже легкая работа, потому что шла талая земля, которую можно было добывать кайлом и лопатой. На глубине двух аршин встретился первый фальшивый пропласток мясниковатого песку, перемешанного с синей речной глиной. Кишкин долго рассматривал кусок этой глины и молча передал ее Мине Клейменому.

– Эта не обманет… – задумчиво проговорил старый каторжанин, растирая на ладони глину. – Мать наша эта синяя глинка.

– Случается и пустая, – заметил Кишкин.

Уже к самому вечеру вышли на настоящий песок, так что пробу пришлось делать уже в избушке. Эта операция производилась в большом азиатском ковше. Кишкин набрал полный ковш песку и начал медленно размешивать песок вместе с водой, сбрасывая гальки и хрящ и сливая мутную воду. Последовательно продолжая отмучивать глину и выбирать крупный песок, он встряхивал ковш, чтобы крупинки золота, в силу своего удельного веса, осаждались на

самое дно, вместе с блестящим черным песочком – по-приисковому «шлихи». Эти последние, как продукт разрушения бурого железняка, осаждались на самое дно в силу своей тяжести; шлихов получилось достаточное количество, и, когда вода уже не взмучивалась, старик долго и внимательно их рассматривал.

– Поблескивает одна золотинка… – проговорил он.

– Не корыстное дело, – ответил за всех Турка.

Так открылись зимние работы. Ежедневно выбивалось от двух до трех шурфов, причем Кожин быстро «наварлыжился» в земляной работе и уступал только одному Матюшке. Пробу производил постоянно сам Кишкин, не доверявший никому такого ответственного дела. В хвосте россыпи было таким образом пробито десять шурфов, а затем перешли прямо к «голове». Это было уже через неделю, как партия жила в лесу. День выдался теплый, и падал мягкий снежок. Первый шурф был пробит еще до обеда, и Кишкин стал делать пробу тут же около огонька, разложенного на льду. Рабочие отдыхали. Кожин сидел у самого костра и задумчиво смотрел на весело трещавший огонек.

– Ну, так как же насчет свиньи-то, дедка? – спрашивал Матюшка, обращаясь к Мине Клейменому. – Должна она быть беспременно…

– Куда ей деваться? – уверенно отвечал старик. – Только вот взять-то ее умеючи надо… К рукам она, свинья эта самая. На счастливого, одно слово…

– Уползла, видно, она к Мыльникову, – подшутил Турка. – Мы ее здесь достигаем, а она вон где обозначилась: зарылась в Ульяновом кряжу, еще и не одна, а с поросятами вместе…

– Ну, то другая статья, – авторитетно заметил Матюшка, закуривая цигарку. – Одно – жилка, другое – россыпь…

В этот момент Кишкин слабо вскрикнул, точно его что придавило, и выпустил ковш из рук. Все оглянулись на него.

– Ох, как стрелило… – прошептал Кишкин, хватаясь за живот. – Инда свет из глаз выкатился. Смотрю в ковш-то, а меня как в становую жилу ударит…

– Это от наклону кровь в голову кинулась, – объяснил Мина.

Покрывшееся мертвой бледностью лицо Кишкина служило лучшим доказательством схватившей его немочи.

– Перцовкой бы тебе поясницу натереть, Андрон Евстратыч, – посоветовал очнувшийся от своего забытья Кожин. – Кровь-то и забило бы…

– Да еще запустить этой самой перцовки в нутро, – прибавил Матюшка, – горошком соскочил бы…

Кишкин с трудом поднялся на ноги, поохал для «прилику», взял ковш и выплеснул пробу в шурф.

– И не поманило… – объяснил он равнодушным тоном. – Вот тебе и синяя глина… Надо ужо теперь по самой середке шурф ударить.

– А отчего не здесь? – спросил Матюшка. – Надо для счету шурфов пять пробить, а потом и в середку болотины ударить…

– Нет, здесь не надо, – решительно заявил Кишкин. – Попусту только время потеряем…

Этот спор продолжался и в землянке, пока обедали рабочие. Сам Кишкин ни к чему не притронулся и, лежа на нарах, продолжал охать.

– Пожалуй, ты еще окочуришься у нас… – пошутил над ним Турка. – Тоже дело твое не молоденькое, Андрон Евстратыч.

– Ничего, отлежусь как-нибудь, а вы пока в средине болота шурф пробейте…

Кишкин едва дождался, когда рабочие кончат свой обед и уйдут на работу. У него кружилась голова и мысли путались.

– Господи, что же это такое? – повторял он про себя, чувствуя, как спирает дыхание. – Не поблазнило ли уж мне грешным делом…

Наконец все ушли на работу, и Кишкин остался один в землянке. Он несколько времени лежал с закрытыми глазами, потом осторожно поднялся и выглянул в дверь, – рабочие уже были на середине болота. Это его успокоило. Приперев плотно дверь и поправив в очаге огонь, Кишкин присел к нему и вытащил из кармана правую руку с онемевшими пальцами: в них он все время держал щепотку захваченной из ковша пробы. Оглянувшись кругом еще раз, он бережно высыпал высохшие шлихи на ладонь и принялся рассматривать их с жадным вниманием. На ладони блестели крупинки золота. Счетом их было больше двадцати. Господи, да ведь это богатство, страшное богатство, о каком он не смел и мечтать когда-нибудь! По приблизительному расчету, можно было на сто пудов песку положить золотника три, а при толщине пласта в полтора аршина и при протяжении россыпи чуть не на целую версту в общем можно было рассчитывать добыть пудов двадцать, то есть по курсу на четыреста тысяч рублей.

– Господи, что же это такое?.. – изнеможенно повторял Кишкин, чувствуя, как у него на лбу выступают капли холодного пота.

Он бережно собрал всю пробу в бумажку и замер над ней, не веря своим старым глазам. Да, это было богатство, страшное богатство.

Для чего Кишкин скрыл свое открытие и выплеснул пробу в шурф, в первую минуту он не давал отчета и самому себе, а действовал по инстинкту самосохранения, точно кто-то мог отнять у него добычу из рук. О, никто не может ничего сделать. С Ястребовым покончено по всей форме, с Кожиным можно развязаться. Странно, что сейчас Кишкин вдруг возненавидел своего компаньона с его жалкими пятьюстами рублей. Просто взять и прогнать его – вот и весь разговор. Ведь он сдуру забрался в лес. А деньги можно будет отдать назад, да еще с такими процентами, каких никто не видал. Отлично… Сказаться больным, шурфовку забастовать, а потом и начать тепленькое дельце в полной форме.

С другой стороны, к радостному чувству примешивалось горькое и обидное сознание: двадцать лет нищеты, убожества и унижения и дикое счастье на закате жизни. К чему теперь деньги, когда и жить-то осталось, может быть, без году неделя? Кишкину сделалось до того горько, что он даже всплакнул старческими, бессильными слезами. Эх, раньше бы такое богатство прикачнулось… Затем у него явилась мысль о сделанном доносе. Для чего он заварил всю эту кашу? Воров не переведешь, а про себя славу худую пустишь… Ах, нехорошо, да еще как нехорошо-то! Конечно, он со злости подстроил всю механику, чтобы отомстить старым

недругам, а теперь это совсем было лишним.

– С горя и помутился тогда, – вслух думал Кишкин.

Когда вечером рабочие вернулись в землянку, Кишкин лежал на нарах, закутавшись в шубу.

– Ну что, Андрон Евстратыч, аль ущемило?

– Разнемогся совсем, братцы… – слабым голосом ответил хитрый старик. – Уж бросим это болото да выедем на Фотьянку. После Ястребова еще никто ничего не находил… А тебе, Акинфий Назарыч, деньги я ворочу сполна. Будь без сумления…

В заключение Кишкин неожиданно расхохотался до того, что закашлялся. Все с изумлением смотрели на него.

– Илья-то Федотыч… Илья-то Федотыч в каких дураках! – прохрипел наконец Кишкин, бессильно отмахиваясь рукой. – Илья-то Федотыч…

Кожин решил про себя, что старик сорвался с винта.

**II**

Дальнейшее поведение Кишкина убедило всех окончательно, что старик рехнулся. Во-первых, он бросил разведки на Мутяшке и вывел свою партию на Фотьянку, где и произвел всем полный расчет, а Кожину возвратил все взятые у него деньги. Это последнее поставило всех в недоумение, потому что откуда быть деньгам у Кишкина? Впрочем, Кожин интересовался этим меньше всех. Он заметно остепенился в лесу и бросил пить, так что вернулся в Тайболу совершенно трезвым. Кишкин оставался в Фотьянке и что-то, видимо, замышлял. Пока он квартировал у Петра Васильича, занимая ту комнату, в которой жил Ястребов, уехавший до весны в город.

Мысль о деньгах засела в голове Кишкина еще на Мутяшке, когда он обдумал весь план, как освободиться от своих компаньонов, а главное от Кожина, которому необходимо было заплатить деньги в первую голову. С этой мыслью Кишкин ехал до самой Фотьянки, перебирая в уме всех знакомых, у кого можно было бы перехватить на такой случай. Таких знакомых не оказалось, кроме все того же секретаря Ильи Федотыча.

«Нет, брат, к тебе-то уж я не пойду! – думал Кишкин, припоминая свой последний неудачный поход. – Разве толкнуться к Ермошке?.. Этому надо все рассказать, а Ермошка все переплеснет Кожину – опять нехорошо. Надо так сделать, чтобы и шито и крыто. Пожалуй, у Петра Васильича можно было бы перехватить на первый раз, да уж больно завистлив пес: над чужим счастьем задавится… Еще уцепится, как клещ, и не отвяжешься от него…»

Так ничего и не придумал Кишкин: у богатства без гроша очутился. То была какая-то ирония судьбы. Но его осенила счастливая мысль. Одна удача не приходит.

Вечером, когда уже все спали, он разговорился с баушкой Лукерьей, которая жаловалась на племянницу Марью, отбившуюся от рук на глазах у всех.

– Ведь скромница была, как жила у отца, – рассказывала старуха, – а тут девка из ума вон. Присунулся этот машинист Семеныч, голь перекатная, а она к нему… Стыд девичий позабыла, никого не боится, только и ждет проклятущего машиниста. Замуж, говорит, выйду за него… Ох, согрешила я с этими девками!..

– Ну, что же делать, баушка… – утешал Кишкин. – Всякая живая душа калачика хочет.

– Тьфу ты, срамник!.. Ему дело говорят, а он… тьфу!.. Распустили ноне девок, вот и дурят…

Эта старушечья злость забавляла Кишкина: очень уж смешно баушка Лукерья сердилась. Но, глядя на старуху, Кишкину пришла неожиданно мысль, что он ищет денег, а деньги перед ним сидят… Да, лучше и не надо. Не теряя времени, он приступил к делу сейчас же. Дверь была заперта, и Кишкин рассказал во всех подробностях историю своего богатства. Старушка выслушала его с жадным вниманием, а когда он кончил, широко перекрестилась.

– Умненько я сделал, баушка? Комар носу не подточит… Всех отвел и остался один, сам большой – сам маленький.

– Ох, умно, Андрон Евстратыч! Столь-то ты хитер и дошл, что никому и не догадаться… В настоящие руки попало. Только ты, смотри, не болтай до поры до времени… Теперь ты сослался на немочь, а потом вдруг… Нет, ты лучше так сделай: никому ни слова, будто и сам не знаешь, – чтобы Кожин после не вступался… Старателишки тоже могут к тебе привязаться. Ноне вон какой народ пошел… Умен, умен, нечего сказать: к рукам и золото.

Чтобы еще больше разжечь старуху, Кишкин достал бумажку с пробой и показал блестевшие крупинки золота.

– Плохо я вижу, голубчик… – шептала баушка Лукерья, наклоняясь к самой бумажке. – Слепой курице все пшеница.

– От ста пудов песку золотника с три падет, баушка… Я уж все высчитал. А со всего болота снимем пудов с двадцать…

– Н-но-о?..

– Вернее смерти.

В заключение Кишкин рассказал, как он просил денег у Ильи Федотыча и брал его в пай, а тот пожадничал и отказался.

– То-то он взвоет теперь, секретарь-то!.. Жаднящий до денег, а тут сами деньги приходили на дом: возьми, ради Христа. Ха-ха!.. На стену он полезет со злости.

Баушка Лукерья заливалась дребезжащим старческим смехом над промахнувшимся секретарем и даже ударила Кишкина по плечу, точно сама принимала участие во всей этой истории.

– А тебе денег-то сколько достанется, Андрон Евстратыч?

– Ох, и говорить-то страшно… Считай: двадцать тысяч за пуд золота, за десять пудов это выйдет двести тысяч, а за двадцать все четыреста. Ничего, кругленькая копеечка… Ну, за работу придется заплатить тысяч шестьдесят, не больше, а остальные голенькими останутся. Ну, считай для гладкого счета триста тысяч.

– Триста тысяч?.. Этак ты всю нашу Фотьянку купишь и продашь… Ловко!.. Умен, тебе и деньгами владать.

– Взять их только надо умненько, баушка… Так никто мне не даст, значит, зря, а надо будет

открыться.

– Что ты, что ты!.. Ни под каким видом не открывайся – все дело испортишь. Загалдят, зашумят… Стравят и Ястребова и Кожина, – не расхлебаешься потом. Тихонько возьми у какого-нибудь верного человека.

Кишкин только развел руками: нет такого верного человека, который дал бы тихонько. После некоторой паузы он сказал:

– Баушка, ссуди меня сотней-другой… Разочтемся потом. За рубль два отдам…

Старуха испуганно замахала обеими руками, точно ее обожгли.

– Что ты, миленький, какие у меня деньги? Да двух-то сотельных я отродясь не видывала! На похороны себе берегу две красненьких – только и всего…

– Ну, тогда придется идти к Ермошке. Больше не у кого взять, – решительно заявил Кишкин. – Его счастье – все одно, рубль на рубль барыша получит не пито – не едено.

Баушку Лукерью взяло такое раздумье, что хоть в петлю лезть: и дать денег жаль, и не хочется, чтобы Ермошке достались дикие денежки. Вот бес-сомуститель навязался… А упустить такой случай – другого, пожалуй, и не дождешься. Старушечья жадность разгорелась с небывалой еще силой, и баушка Лукерья вся тряслась, как в лихорадке. После долгого колебания она заявила:

– У меня у самой-то ничего нет, а попытаюсь добыть у одного знакомого старичка… Мне-то он, может, поверит.

– Ну, мне это все одно: кто ни поп, тот и батька.

Конечно, все это была одна комедия.

Баушка Лукерья не спала всю ночь напролет, раздумывая, дать или не дать денег Кишкину. Выходило надвое: и дать хорошо, и не дать хорошо. Но ее подмывало налетевшее дикое богатство, точно она сама получит все эти сотни тысяч. Так бывает весной, когда полая вода подхватывает гнилушки, крутит и вертит их и уносит вместе с другим сором.

«Омманет еще, – думала тысячу первый раз старуха. – Нет, шабаш, не дам… Пусть поищет кого-нибудь побогаче, а с меня что взять-то».

Эти разумные мысли разлетелись, как сон, когда баушка Лукерья встретилась утром с Кишкиным. Ей вдруг сделалось так легко, точно она это делала для себя.

– Ну, что твой старичок? – спрашивал Кишкин, лукаво подмигивая. – Вон секретарь Илья Федотыч от своего счастья отказался, может, и твой старичок на ту же руку…

Баушка Лукерья опять засмеялась: очень уж глупым оказал себя секретарь-то… Нет, старичок, видно, будет маленько поумнее…

– А ты мне расписку напиши… – настаивала старуха, хватаясь за последнее средство.

– На что тебе расписка-то: ведь ты неграмотная. Да и не таковское это дело, баушка… Уж я тебе верно говорю.

Передача денег происходила в ястребовской комнате. Сначала старуха притащила завязанные в платке бумажки и вогнала Кишкина в три пота, пока их считала. Всего денег оказалось меньше двухсот рублей.

– Мало… – заявил Кишкин. – Пусть старичок-то серебреца поищет.

– Ох, уж и не знаю, право, Андрон Евстратыч… Окружил ты меня и голову с живой сымаешь.

– Давай серебро-то, а ворочу золотом. Понимаешь, банк будет выдавать по ассигновкам золотыми, и я тебе до последней копеечки золотом отдам… На, да не поминай Кишкина лихом!..

Что было отвечать на такие змеиные слова? Баушка Лукерья молча принесла свое серебро, пересчитала его раз десять и даже прослезилась, отдавая сокровище искусителю. Пока Кишкин рассовывал деньги по карманам, она старалась не смотреть на него, а отвернулась к окошку.

– Ну, теперь прощай, баушка…

Старуха только махнула рукой, – ее душило от волнения. Впрочем, она догнала Кишкина уже на дворе и остановила.

– Забыла словечко тебе молвить, Андрон Евстратыч… Разбогатеешь, так и меня, старуху, может, помянешь.

– В чем дело?

– Не женись на молоденькой… Ваша братья, старики, больно льстятся на молодых, а ты бери вдову или девицу в годках. Молодая-то хоть и любопытнее, да от людей стыдно, да еще она же рукавом растрясет все твое богатство…

– Вот тоже придумала! – изумился Кишкин, ухмыляясь.

До настоящего момента мысль о женитьбе не приходила ему в голову.

– Жалеючи тебя говорю… Попомни старушечье словечко.

Марья была на дворе и слышала всю эту сцену. У ней в голове остались такие слова, как «богачество» и «девица в годках», а остального она не поняла. Ее удивило больше всего то, что у баушки завелись какие-то дела с Кишкиным, тогда как раньше она и слышать о нем не хотела, как о первом смутьяне и затейщике, сбивавшем с толку мужиков. Что-то неладное творится, ежели Кишкин обошел самое баушку Лукерью… Впрочем, эти свои бабьи мысли Марья оставила про себя до встречи с милым дружком, которому рассказывала все, что делалось в доме. Когда она поднималась на крыльцо, перед ней точно из земли вырос Петр Васильич.

– Какие такие дела завел Шишка с мамынькой? – зыкнул он на нее.

– А я почем знаю?.. Спроси сам баушку…

– У, змея!.. – зашипел Петр Васильич, грозя кулаком. – Ужо, девка, я доберусь до тебя.

– Руки коротки…

Марья заметила, что в задних воротах мелькнула какая-то тень, – это был Матюшка, как она убедилась потом, поглядев из-за косяка.

С Петром Васильичем вообще что-то сделалось, и он просто бросался на людей, как чумной бык. С баушкой у них шли постоянные ссоры, и они старались не встречаться. И с Марьей у баушки все шло «на перекосых», – зубастая да хитрая оказалась Марья, не то что Феня, и даже помаленьку стала забирать верх в доме. Делалось это само собой, незаметно, так что баушка Лукерья только дивилась, что ей самой приходится слушаться Марьи.

– Лукавая девка… – ворчала старуха. – Всех обошла, а себя раньше других…

За Кишкиным уже следили. Матюшка первый заподозрил, что дело не чистое, когда Кишкин прикинулся больным и бросил шурфовку. Потом он припомнил, что Кишкин выплеснул пробу в шурф и не велел бить следующих шурфов по порядку. Вообще все поведение Кишкина показалось ему самым подозрительным. Встретившись в кабаке Фролки с Петром Васильичем, Матюшка спросил про Кишкина, где он ночует сегодня. Слово за слово – разговорились. Петр Васильич носом чуял, где неладно, и прильнул к Матюшке, как пластырь.

– Обыскали свинью-то? – приставал он к Матюшке.

– С поросятами оказалась наша свинья…

Распили полуштоф; захмелевший Матюшка рассказал Петру Васильичу свои подозрения.

– А что бы ты думал, андел мой?.. – схватился Петр Васильич. – Ведь ты верно… Неспроста Шишка бросил шурфовку. Вон какой оборотень…

– Хорошую пробу, видно, добыл, да нас всех и сплавил. Не захотел поделиться… Кожин, известно, дурак, а Кишкин и нас поопасился.

– Ах, старый пес… Ловкую штуку уколол. А летом-то, помнишь, как тростил все время: «Братцы, только бы натакаться на настоящее золото – никого не забуду». Вот и вспомнил… А знаки, говоришь, хорошие были?

– Попервоначалу средственные, а потом уж обозначились… Выплеснул он пробу-то. Невдомек никому это было, покеда он болесть на себя не накинул и не пошабашил всю шурфовку…

– Хоть бы глазком поглядеть на пробу-то… Можно ведь добыть ее и без него?

– Отчего не добыть, да толку от этого не будет: все одно – прииск по контракту сейчас Кишкина. Кабы раньше…

Петр Васильич даже застонал от мысли, что ведь и он мог взять у Ястребова это самое болото ни за грош, ни за копеечку, а прямо даром. С горя он спросил второй полуштоф.

– Да тебе-то какая печаль? – удивлялся Матюшка.

– А такая!.. Вот погляди ты на меня сейчас и скажи: «Дурак ты, Петр Васильич, да еще какой дурак-то… ах, какой дурак!.. Недаром кривой ерахтой все зовут… Дурак, дурак!..» Так ведь?.. а?.. Ведь мне одно словечко было молвить Ястребову-то, так болото-то и мое… а?.. Ну, не дурак ли я после того? Убить меня мало, кривого подлеца…

В избытке усердия он схватил себя за волосы и начал стучать головой в стену, так что

Матюшка должен был прекратить этот порыв отчаяния.

– Будет баловаться, Петр Васильич.

– Нет, ты лучше убей меня, Матюшка!.. Ведь я всю зиму зарился на жилку Мыльникова, как бы от нее свою пользу получить, а богачество было прямо у меня в дому, под носом… Ну как было не догадаться?.. Ведь Шишка догадался же… Нет, дурак, дурак, дурак!.. Как у свиньи под рылом все лежало…

– Погоди печаловаться раньше времени, – тихонько заметил Матюшка. – А Кишкин наших рук не минует… Мы его еще обработаем, дай срок. Он всех ладит обмануть…

– Верно! – обрадовался Петр Васильич. – Так достигнем, говоришь? Ах, андел ты мой, ничего не пожалею…

Чтобы не терять напрасно времени, новые друзья принялись выслеживать Кишкина со следующего же утра, когда он уходил от баушки Лукерьи.

Странная вещь, вся Фотьянка узнала об открытой Кишкиным богатой россыпи раньше, чем кто-нибудь мог подозревать об этом: сам Кишкин сказал только баушке Лукерье, а потом Матюшка сообщил свою догадку Петру Васильичу – только и всего. И Кишкин, и баушка Лукерья, и Матюшка, и Петр Васильич знали только про себя, а между тем загалдела вся Фотьянка, как один человек, точно пчелиный улей, по которому ударили палкой. Когда Кишкин на другой день приехал в город, молва уже опередила его, и первым поздравил его секретарь Илья Федотыч.

– Хорошее дело, кабы двадцать лет назад оно вышло… – ядовито заметил великий делец, прищуривая один глаз. – Досталась кость собаке, когда собака съела все зубы. Да вот еще посмотрим, кто будет расхлебывать твою кашу, Андрон Евстратыч: обнес всех натощак, а как теперь сытый-то будешь повыше усов есть. Одним словом, в самый раз.

**III**

Открытие Кишкина подняло на ноги всю Фотьянку, – точно пробежала электрическая искра. Время было самое глухое, народ сидел без работы, и все мечты сводились на близившееся лето. Положим, и прежде было то же самое, даже гораздо хуже, но тогда эти зимние голодовки принимались как нечто неизбежное, а теперь явились мысли и чувства другого порядка. Дело в том, что прежде фотьяновцы жили сами собой, крепкие своими каторжными заветами и распорядками, а теперь на Фотьянке обжились новые люди, которые и распускали смуту. Поднялись разговоры о земельном наделе, как в других местах, о притеснениях компании, которая собакой лежит на сене, о других промыслах, где у рабочих есть и усадьбы, и выгон, и покосы, и всякое угодье, о посланных ходоках «с бумагой», о «члене», который наезжал каждую зиму ревизовать волостное правление. У волости и в кабаке Фролки эти разговоры принимали даже ожесточенный характер: кому-то грозили, кому-то хотели жаловаться, кого-то ожидали. Расчеты на Кедровскую дачу оправдались вполовину: летние работы помазали только по губам, а зимой там оставался один прииск Ягодный да небольшие шурфовки. Народу нечего было делать, и опять должны были идти на компанейские работы, которых тоже было в обрез: на Рублихе околачивалось человек пятьдесят, на Дернихе вскрывали новый разрез до сотни, а остальные опять разбрелись по своим старательским работам – промывали борта заброшенных казенных разрезов, били дудки и просто шлялись с места на место, чтобы как-нибудь убить время.

На зимних работах опять проявилось неуклонное бдение старого штейгера Зыкова,

притеснявшего старателей всеми мерами и средствами, как своих заклятых врагов.

– Когда только он дрыхнет? – удивлялись рабочие. – Днем по старательским работам шляется, а ночь в своей шахте сидит, как коршун.

– Сбросить его в дудку куда-нибудь, чтобы не заедал чужой хлеб, – предлагали решительные люди.

– Не беспокойся: другой почище выищется…

– Ну, другого такого компанейского пса не сыскать: один у нас Родька на всю округу.

Но что показалось обиднее всего промысловым рабочим, так это то, что Оников допустил на Рублиху «чужестранных» рабочих, чем нарушил весь установившийся промысловый строй и вековые порядки. Отцы и деды робили, и дети будут робить тут же… Рабочая масса так срослась со своим исконным промысловым делом, что не могла отделить себя от промыслов, несмотря на распри с компанией и даже тяжелые воспоминания о казенном времени. Все это были свои семейные, домашние дела, а зачем чужестранных-то рабочих ставить на наши работы? Дело вышло из-за какого-то пятачка прибавки конным рабочим, жаловавшимся на дороговизну овса, но Оников уперся, как пень, и нанял двух посторонних рабочих. Это возмутило всю Фотьянку до глубины души, как самое кровное оскорбление, какого еще не бывало. Даже Родион Потапыч не советовал Оникову этой крутой меры: он хотя и теснил рабочих, но по закону, а это уж не закон, чтобы отнимать хлеб у своих и отдавать чужим.

– Пустяки, – уверял Оников со спокойной усмешечкой. – Надо их подтянуть…

– И подтянуть умеючи надо, Александр Иваныч, – смело заявил старший штейгер. – Двумя чужестранными рабочими мы не управим дела, а своих раздразним понапрасну… Тоже и по человечеству нужно рассудить.

– Послушайте, каналья, вы должны слушать, что вам говорят, а не пускаться в рассуждения! С вас нужно начать…

Разговор происходил в корпусе над шахтой. Родион Потапыч весь побледнел от нанесенного оскорбления и дрогнувшим голосом ответил:

– Пятьдесят лет, ваше благородие, хожу в штегерях, а такого слова не слыхивал даже в каторжное время… Да!

– Молчать!

Результатом этой сцены было то, что враги очутились на суде у Карачунского. Родион Потапыч не бывал в господском доме с того времени, как поселилась в нем Феня, а теперь пришел, потому что давно уже про себя похоронил любимую дочь.

– Рассуди нас, Степан Романыч, – спокойно заявил старик. – Уж на что лют был покойничек Иван Герасимыч Оников, живых людей в гроб вгонял, а и тот не смел такие слова выражать… Неужто теперь хуже каторжного положенья? Да и дело мое правое, Степан Романыч… Уж я поблажки, кажется, не даю рабочим, а только зачем дразнить их напрасно.

– Все это правда, Родион Потапыч, но не всякую правду можно говорить. Особенно не любят ее виноватые люди. Я понимаю вас, как никто другой, и все-таки должен сказать одно: ссориться нам с Ониковым не приходится пока. Он нам может очень повредить… Понимаете?.. Можно

ссориться с умным человеком, а не с дураком…

«Вот это так сказал, как ножом обрезал… – думал Родион Потапыч, возвращаясь от Карачунского. – Эх, золотая голова, кабы не эта господская слабость…»

С Ониковым у Карачунского произошла, против ожидания, крупная схватка. Уступчивый и неуязвимый Карачунский не выдержал, когда Оников сделал довольно грубый намек на Феню.

– Вы… вы забываетесь, молодой человек! – проговорил Карачунский, собирая все свое хладнокровие. – Моя личная жизнь никого не касается, а вас меньше всего.

– В данном случае именно касается, потому что и старик Зыков и старатель Мыльников являются вашими креатурами… Это подает дурной пример другим рабочим, как всякая поблажка. Вообще вы распустили рабочих и служащих…

– Относительно служащих я согласен с вами, а поэтому попрошу вас оставить меня: я говорю с вами как ваш начальник.

Выгнав зазнавшегося мальчишку, Карачунский долго не мог успокоиться. Да, он вышел из себя, чего никогда не случалось, и это его злило больше всего. И с кем не выдержал характера – с мальчишкой, молокососом. Положим, что тот сам вызвал его на это, но чужие глупости еще не делают нас умнее. Глупо и еще раз глупо.

А рабочие продолжали волноваться, причем, как это ни странно сказать, в числе побудительных причин являлась и открытая Кишкиным новая россыпь, названная им Богоданкой. Собственно, логической связи тут не было никакой, кроме разве того, что на фоне этого налетевшего вихрем богатства еще ярче выступала своя промысловая голь и нищета. Со своей стороны, сам Кишкин подал повод к неудовольствию тем, что не взял никого из старых рабочих, точно боялся этих участников своего приискового мытарства. Это подняло общий ропот, потому что им не давали прохода другие рабочие своими шутками и насмешками.

– Нашли Кишкину свинью, а теперь ступайте на подножный корм! Эх вы, вороны…

Особенно озлобился Матюшка, которого подзуживал постоянно Петр Васильич, снедаемый ревностью. Матюшка запил с горя и не выходил из кабака. Там же околачивались Мина Клейменый и старый Турка. Теперь только и было разговоров, что о Богоданке. Недавние сотрудники Кишкина припомнили все мельчайшие подробности, как Кишкин надул их всех, как надул Ястребова и Кожина и как надует всякого.

– Известно, старая конторская крыса! – рычал Матюшка. – У них у всех одна вера-то… Кровь нашу пьют.

– А вон Мыльников тоже вместе с ними старался, а теперь как взвеселил себя…

– Тоже через контору: Фенька подсдобила делянку.

– А мы чем грешнее Мыльникова? Ему отвели делянку, и нам отводи. Пойдем, братцы, в контору… Оников вон пообещал на шахте всех рабочих чужестранных поставить. Двух поставил спервоначалу, а потом и других поставит… Старый пес Родька заодно с ним. Мы тут с голоду подыхай…

– Удавить их всех, а контору разнести в щепы! – кричал Матюшка в пьяном азарте. – Двух смертей не будет, а одной не миновать. Да и Шишку по пути вздернуть на первую осину.

Волнения с Фотьянки перекинулись на Балчуговский завод, где в кабаке Ермошки собиралась своя приисковая голытьба. Жаловались на притеснение конторы, не хотевшей отводить новых делянок, задерживавшей протолчку добытого старателями золотоносного кварца, выдачу денег и т. д. Здесь поводом к неудовольствию послужили главным образом старые «шламы», то есть уже промытые пески, получившиеся от протолчки кварца. Эти шламы образовали на дворе фабрики целую гору, и компания пустила их в промывку уже для себя. В шламах оставалось еще небольшое содержание золота, добыть которое с некоторой выгодой можно было только при массовой промывке десятков тысяч пудов. В результате получалась самая ничтожная прибыль, но рабочие считали шламы своими и волновались. Эта операция была ошибкой со стороны Карачунского. В другое время на нее никто не обратил бы внимания, а теперь она вызывала громкий ропот. Карачунский, со своей стороны, не хотел уступать из принципа, чтобы не показать перед рабочими своей несостоятельности. Нужно было выдержать характер именно в таких пустяках, а то требования и претензии разрастутся без конца. Конечно, все это было глупо, и Карачунский мог только удивляться самому себе, как он не предвидел этого раньше. Рублиха, делянка Мыльникова, чужестранные рабочие, шламы – это был последовательный ряд тех ненужных ошибок, которые делаются, кажется, только потому, что без них так легко обойтись. Чтобы исправить последнюю ошибку с промывкой шламов, Карачунский велел отвести несколько десятков новых делянок старателям и ослабить надзор за промывкой старых разрезов – это была косвенная уступка, которая была хуже, чем если бы Карачунский отказался от своих шламов.

– Эх, Степан Романыч… – заметил старик Зыков, в отчаянии качая головой. – Из лесу выходят одной дорогой. Как раз взбеленятся наши старателишки, ежели разнюхают…

Это предсказание оправдалось скорее, чем можно было предполагать, именно: на Дернихе старатели, промывавшие старый отвал, наткнулись случайно на хорошее содержание и прогнали компанейского штейгера, когда тот хотел ограничить какую-то делянку. На место смуты полетел Родион Потапыч, но его встретили чуть не кольями и даже близко не пустили к работам. Услужливая молва из этой случайной стычки сделала именно то, чего боялся в настоящую минуту Карачунский: ничтожный по существу случай мог поднять на ноги всю рабочую массу бестолково и глупо, как это бывает при таких обстоятельствах. Оников торжествовал: он все это предвидел и вперед предупреждал. Минута выходила критическая, и необходимо было все уладить домашними средствами, без лишней огласки и шума. Карачунский лично отправился на Дерниху, один, как всегда ездил, и не велел объездным штейгерам и отводчикам показываться близко, чтобы напрасно не раздражать взволнованной массы старателей.

Его появление произвело именно то впечатление, на какое он рассчитывал.

– Что такое случилось? – спрашивал он, вмешиваясь в толпу рабочих.

– Мы не согласны!.. – крикнул чей-то голос сзади. – Достаточно…

– Что вам нужно? Объясните, кто потолковее…

Из толпы выделился Матюшка. Он даже не снял шапки и дерзко смотрел Карачунскому прямо в глаза.

– Первое дело, Степан Романыч, ты нас не тронь… – грубо заявил Матюшка. – Мы не дадим отвал… Вот тебе и весь сказ. А твоих штейгеров мы в колья…

Карачунский вместо ответа спустился в старательскую яму, из-за которой вышло все дело,

осмотрел работу и, поднявшись наверх, сказал:

– Хорошо. Работайте… Дня на два еще хватит вашего золота. А ты, молодец, тебя Матвеем звать? Из Фотьянки?.. Ты получишь от меня кружку для золота и будешь доставлять мне ее лично вместо штейгера.

Этого никто не ожидал, а всех меньше сам Матюшка. Карачунский с деловым видом осмотрел старый отвал, сказал несколько слов кому-то из стариков, раскурил папиросу и укатил на свою Рублиху. Рабочие несколько времени хранили молчание, почесывались и старались не глядеть друг на друга.

– Вот это так орел… – заметил наконец кричавший давеча голос. – Как топором зарубил Матюшку-то!.. Ловко… Сразу компанейским песиком сделался. Ужо жалованье тебе положат четыре недели на месяц.

В числе бунтовщиков оказался и Петр Васильич, который от Карачунского спрятался за чужие спины, а теперь лаялся за четырех. Матюшка сумрачно молчал, ошеломленный ловкой выходкой управляющего. Даже Петр Васильич пожалел его.

– Не весь голову, Матюшка, не печалуй хозяина! За нами с тобой и не это пропадало.

Карачунский возвращался домой успокоенный и даже довольный. Оников рано торжествовал свою победу… В таком настроении он вернулся к себе и прошел прямо в комнату Фени, сильно беспокоившейся за него.

– Ну вот, все и кончилось, – проговорил он, обнимая ее. – Оников напрасно только беспокоился устроить мне пакость. Я уверен, что все это его штуки.

– А я так боялась… Наши мужики озвереют, так на части разорвать готовы. Сейчас наголодались… злые поневоле… Прежде-то я боялась, что тятеньку когда-нибудь убьют за его строгость, а теперь…

Феня последние месяцы находилась в самом угнетенном настроении и почти не выходила из своей комнаты. Промысловые новости она знала через лакея Ганьку, который рассказывал ей все подробности о жилке Мыльникова, об открытии Богоданки, о всех знакомых и родственниках. Ее занимало теперь больше всего, конечно, собственное положение, полное такой фальши и неопределенности. Она часто чувствовала на себе пристальный взгляд Карачунского – взгляд холодный, проверявший свои собственные противоречия. Да, она могла быть его любовницей, а не женой, тем больше не матерью его ребенка. Теперь встало и ее прошлое, до которого раньше никому не было дела: Карачунский ревновал ее к Кожину, ревновал молча, тяжело, выдержанно, как все, что он делал. Это новое чувство, граничившее с физической брезгливостью, иногда просто пугало Феню, а любви Карачунского она не верила, потому что в своей душе не находила ей настоящего ответа. Разве можно полюбить во второй раз?.. Нет, довольно и того, что было.

Карачунский весь день чувствовал себя необыкновенно хорошо. Чтобы не портить настроения, он не пошел вечером даже в контору. Но беда пришла сама в дом. Когда сидели в столовой за самоваром, Ганька подал полученное из города письмо и повестку от следователя по особо важным делам. Карачунский на последнюю не обратил никакого внимания, а письмо узнал по адресу: такими прямыми буквами писали только старинные повытчики да знаменитый горный секретарь Илья Федотыч. «Считаю долгом предупредить вас, что вам грозит крупная неприятность по делу Кишкина, – писал старик своими прямыми буквами: – подробности передам лично, а пока имейте в виду, что грозит опасность даже вашему имуществу. Пишу это

по сердечному расположению к вам и вашему настоящему семейному положению, а письмо мое уничтожьте». Сначала Карачунский даже улыбнулся, а потом вдруг почувствовал, как чайный стол точно пошатнулся и вместе с ним зашатались стены.

– Что с вами, Степан Романыч?.. – со страхом спрашивала Феня.

– Ничего… так…

**IV**

Мыльников провел почти целых три месяца в каком-то чаду, так что это вечное похмелье надоело наконец и ему самому. Главное, куда ни приди – везде на тебя смотрят, как на свой карман. Это в конце концов было просто обидно. Правда, Мыльников успел поругаться по нескольку раз со своими благоприятелями, но каждое такое недоразумение заканчивалось новой попойкой.

– Монетный двор у меня, что ли? – выкрикивал Мыльников, когда к нему приставали с требованием денег его подручные: Яша Малый, зять Прокопий и Семеныч. – На вас никаких денег не напасешься…

Пьяная расточительность, когда Мыльников бахвалился и сорил деньгами, сменялась трезвой скупостью и даже скаредностью. Так, он, как настоящий богатый человек, терпеть не мог отдавать заработанные деньги все сразу, а тянул, сколько хватало совести, чтобы за ним походили. Далее Мыльников стал относиться необыкновенно подозрительно ко всем окружающим, точно все только и смотрели, как бы обмануть его.

– Тарас, будет тебе богатого-то показывать! – корил его даже добродушный Яша Малый. – Над кем изневаживаешься?..

– А ты меня не учи… Терпеть ненавижу!.. Все вы около меня, как тараканы за печкой.

В результате выходило так, что сотрудники Мыльникова довольствовались в чаянии каких-то благ крохами, руководствуясь общим соображением, что свои люди сочтутся. Исключение составлял один Семеныч, которому Мыльников, как чужому человеку, платил поденщину сполна. Свои подождут, а чужой человек и молча просит, как голодное брюхо.

Семеныч вообще держал себя на особицу и мало «якшил»[4] с остальными родственниками. Впрочем, это продолжалось только до тех пор, пока Мыльников не сообразил о тайных делах Семеныча с сестрицей Марьей и, немедленно приобщив к лику своих родственников, перестал платить исправно.

– Ты это что же, Тарас? – удивился Семеныч. – Что расчет-то недодаешь?

– А так, голубь мой сизокрылый… Не чужие, слава Богу, сочтемся, – бессовестно ответил Мыльников, лукаво подмигивая. – Сестрице Марье Родивоновне поклончик скажи от меня… Я, брат, свою родню вот как соблюдаю. Приди ко мне на жилку сейчас сам Карачунский: милости просим – хошь к вороту вставай, хошь на отпорку. А в дудку не пущу, потому как не желаю обидеть Оксю. Вот каков есть человек Тарас Мыльников… А сестрицу Марью Родивоновну уважаю на особицу за ее развертной карахтер.

Так и пошло. Новый родственник ничего не мог сказать в ответ. Сестрица Марья быстро забрала его в руки и торопила свадьбой, только не хватало денег на первое обзаведенье. Она была старше жениха лет на шесть, но казалась совсем молоденькой, охваченная огнем своей

первой девичьей страсти. У Семеныча был тайный расчет, что когда умрет старик Родион Потапыч, то Марья получит свою часть наследства из несметных богатств старого штейгера, а пока можно будет перебиться и в черном теле. Сестрица Марья сама навела его на эту счастливую мысль разными обиняками, хотя прямо ничего и не говорила с чисто женской осторожностью. Пока между ними условлено было окончательно только то, что свадьба будет сыграна сейчас после Фоминой недели. Свадьба предполагалась самокрутка, чтобы меньше расходов, как делали в Балчуговском заводе. А пока время летело птицей, от одного свиданья до другого, как у всех влюбленных. Деловитая и энергичная Марья понимала, что Семенычу нечего делать у Тараса и что он только напрасно теряет время, а поэтому, когда проездом на свою Богоданку Кишкин остановился у баушки Лукерьи, она улучила минутку и, подавая самовар, ласково проговорила:

– Андрон Евстратыч, вы мне не откажете, если я попрошу вас об одном дельце?

– Как попросишь, тоже умеючи надо просить… хе-хе!.. Ишь, какая вострая стала на Фотьянке-то!.. Ну, проси…

Марья мигом села к нему на колени, обняла одной рукой за шею и еще ласковее зашептала:

– Голубчик, Андрон Евстратыч, есть у меня один человек… то есть парень…

– Вот и неладно: ты себе проси, коза. Ничего не пожалею.

– Себе? Ну, а кто у вас на Богоданке хозяйничать будет?.. Надо и за тряпкой приглядеть, и горницы прибрать, и старичку угодить… старенькому, седенькому, богатенькому, хитренькому старичку.

– Так, так… Верно. Ай да коза… Ну, а дальше?..

– Дальше-то опять про парня… Какое-нибудь местечко ему приткнуться. Парень на все руки, а женится после Фоминой – жена будет на приисковой конторе чистоту да всякий порядок соблюдать. Ведь без бабы и на прииске не управиться…

– Ах, Марья Родивоновна: бойка, да речиста, да увертлива… Быть, видно, по-твоему. Только умей ухаживать за стариком… По-настоящему. Нарочно горенку для тебя налажу: сиди в ней канарейкой. Вот только парень-то… ну, да это твое девичье дело. Уластила старика, егоза…

Разыгравшаяся сестрица Марья даже расцеловала размякшего старичка, а потом взвизгнула по-девичьи и стрелой унеслась в сени. Кишкин несколько минут сидел неподвижно, точно в каком тумане, и только моргал своими красными веками. Ну, и девка: огонь бенгальский… А Марья уж опять тут – выглядывает из-за косяка и так задорно смеется.

– Цып, цып… – манил ее Кишкин, сыпля на пол мелкое серебро. – Цып, курочка!..

– Ну, этим ты меня не купишь! – рассердилась сестрица Марья. – Приласкать да поцеловать старичка и так не грешно, а это уж ты оставь…

– Цып, цып… Старичку все можно, Машенька: никто ничего не скажет.

– Ах, бесстыдник…

Когда баушка Лукерья получила от Марьи целую пригоршню серебра, то не знала, что и подумать, а девушка нарочно отдала деньги при Кишкине, лукаво ухмыляясь: вот-де тебе и

твоя приманка, старый черт. Кое-как сообразила старуха, в чем дело, и только плюнула. Она вообще следила за поведением Кишкина, особенно за тем, как он тратил деньги, точно это были ее собственные капиталы.

– Ты, бесстыдница, чего это над стариком галишься?[5] – строго заметила она Марье. – Смотри, довертишь хвостом… Ох, согрешила я с этими проклятущими девками!

– Молодо-зелено, погулять велено, – заступился Кишкин, находившийся под впечатлением охватившей его теплоты. – И стыд девичий до порога… Вот это какое девичье дело.

Мыльников хотя и хвастался своими благодеяниями родне, а сам никуда и глаз не показывал. Дома он повертывался гостем, чтобы сунуть жене трешницу.

– Когда же строиться-то мы будем? – спрашивала Татьяна каждый раз. – Уж пора бы, а то все равно пропьешь деньги-то.

– Ученого учить – только портить. Мне и самому надоело пировать-то. Родня на шею навязалась – вот главная причина. Никак развязаться не могу.

– Ты бы хоть Оксю-то приодел. Обносилась она. У других девок вон приданое, а у Окси только и всего, что на себе. Заморил ты ее в дудке… Даже из себя похудела девка.

– Всех ублаготворю, а Оксю на особицу… Нет, брат, теперь шабаш: за ум возьмусь. Канпанию к черту, пусть отдохнут кабаки-то…

У Мыльникова, действительно, были серьезные хозяйственные намерения. Он даже подрядил плотников срубить для новой избы сруб и даже выдал задаток, как настоящий хозяин. Постройкой приходилось торопиться, потому что зима была на исходе, – только успеют вывезти бревна из лесу, а поставят сруб о Великом посте. Первый транспорт бревен привел Мыльникова в умиление: его заветная мечта поставить новую избу осуществлялась. Когда весь двор был завален бревнами, Мыльниковым овладело такое нетерпение, что он решил сейчас же сломать старую избушку. Такое быстрое решение даже испугало Татьяну: столько лет прожили в ней, и вдруг ломать.

– А куда я-то с ребятишками денусь? – взмолилась она.

– На фатеру определю… А то и у батюшки-тестя поживешь. Не велика важность, две недели околотиться. Немного мы видели от тестюшки.

Без дальних слов Мыльников отправился к Устинье Марковне и обладил дело живой рукой. Старушка тосковала, сидя с одной Анной, и была рада призреть Татьяну. Родион Потапыч попустился своему дому и, все равно, ничего не скажет.

– Да ведь я заплачу, – с гордостью заявлял Мыльников. – Всю родню теперь воспитываю.

Неприятность вышла только от Анны, накинувшейся на него с худыми бабьими словами. Она в азарте даже тыкала в нос Мыльникову грудным ребенком.

– Любезная сестрица, Анна Родивоновна, вот какая есть ваша благодарность мне? – удивлялся Мыльников. – Можно сказать, головы своей не жалею для родни, а вы неистовство свое оказываете…

– Перестань, Анна, – оговорила дочь Устинья Марковна, – не одни наши мужики помутились с

золотом-то, а Тарас тут ни при чем…

– Куда мы с ребятами-то? – голосила Анна. – Вот Наташка с Петькой объедают дедушку, да мои, да еще Тарасовы будут объедать… От соседей стыдно.

– Молчи! – крикнула мать. – Зубы у себя во рту сосчитай, а чужие куски нечего считать… Перебьемся как-нибудь. Напринималась Татьяна горя через число: можно бы и пожалеть.

– И как еще напринималась-то!.. – соглашался Мыльников. – Другая бы тринадцать раз повесилась с таким муженьком, как Тарас Матвеевич… Правду надо говорить. Совсем было измотал я семьишку-то, кабы не жилка… И удивительное это дело, тещенька любезная, как это во мне никакой совести не было. Никого, бывало, не жаль, а сам в кабаке день-деньской, как управляющий в конторе.

Пристроив семью, Мыльников сейчас же разнес пепелище в щепы и даже продал старые бревна кому-то на дрова. Так было разрушено родительское гнездо…

– Теперь, брат, на господскую руку все наладим, – хвастался Мыльников на всю улицу.

Занятый постройкой, он совсем забросил жилку, куда являлся только к вечеру, когда на фабрике «отдавали свисток с работы». Он приезжал к дудке, наклонялся и кричал:

– Окся, ты тут?

– Здесь, тятенька, – откликался из земных недр Оксин голос.

– То-то, у меня смотри…

Работа шла уже на седьмой сажени. Окся не только добывала «пустяк» и «жилку», но сама крепила шахту и вообще отвечала за настоящего ортового рабочего. Жила она на Рублихе, в конторе дедушки Родиона Потапыча, полюбившего свою внучку какой-то страстной любовью. Он все прощал Оксе, даже грубости, чего никогда не простил бы родным дочерям, и молча любовался непосредственностью этой придурковатой от избытка здоровья девушки. Ей точно лень быть умной. Не один раз они ссорились, и Родион Потапыч грозился выгнать Оксю, но та только ухмылялась.

– Куды я пойду-то, ты подумай, – усовещивала она старика. – Мужику это все одно, а девка сейчас худую славу наживет… Который десяток на свете живешь, а этого не можешь сообразить.

– К отцу ступай, дура… Не в чужие люди гоню.

– У меня и отец такой же, как ты: ничего сообразить не может.

– Ах, Окся, Окся… да не Окся ли?!. Какие ты слова выражаешь?..

В начале марта провернулось несколько теплых весенних деньков. На пригревах дорога почернела, а снег потерял сразу свою ослепительную белизну. Воздух сделался совсем особенный, такой бодрящий и свежий. Вешняя вода была близко, и все опять заволновались, как это происходило каждую весну. Рабочая лихорадка охватила и Фотьянку и Балчуговский завод. В прошлом году в Кедровской даче шли только разведки, а нынче пойдут настоящие работы. Старатели сбивались артелями и ходили с Фотьянки на Балчуговский завод и обратно, выжидая нанимателей. Издали они походили на проснувшихся после зимней спячки пчел,

ползавших по своему улью. В числе других ходил и Матюшка, оставшийся без работы: золото в Дернихе кончилось ровно через два дня, как сказал Карачунский. Встречая на дороге Мыльникова, Матюшка несколько раз говорил:

– Тарас Матвеевич, что меня не возьмешь на жилку?..

– У меня своей родни девать некуда…

– Родня – родней, а старую хлеб-соль забывать тоже нехорошо. Вместе бедовали на Мутяшке-то…

Первое дыхание весны всех так и подмывало. Очухавшийся Мыльников только чесал затылок, соображая, сколько стравил за зиму денег по кабакам… Теперь можно было бы в лучшем виде свои работы открыть в Кедровской даче и получать там за золото полную цену. Все равно на жилку надеяться долго нельзя: много продержится до осени, ежели продержится.

– Бить некому было старого черта! – вслух ругал Мыльников самого себя. – Еще как бить-то надо было, бить да приговаривать: не пируй, варнак! Не пируй, каторжный!..

Именно в таком тревожном настроении раз утром приехал Мыльников на свою дудку. «Родственники» не ожидали его и мирно спали около огонька. Мыльников пришел к вороту, наклонился к отверстию дудки и крикнул:

– Эй, Оксюха, жива, что ли?..

Ответа не последовало, только проснулись сконфуженные родственники.

– Где же Окся? – грозно накинулся на них Мыльников. – Эй, Окся, не слышишь без очков-то!.. Уж не задавило ли ее грешным делом?

– Мы ее на свету спустили в дудку, – объяснял сконфуженный Яша. – Две бадьи подала пустяку, а потом велела обождать…

Встревоженный Мыльников спустился в дудку: Окси не было. Валялись кайло и лопатка, а Окси и след простыл. Такое безобразие возмутило Мыльникова до глубины души, и он «на той же ноге» полетел на Рублиху, – некуда Оксе деваться, окромя Родиона Потапыча. Появление Мыльникова произвело на шахте общую сенсацию.

– Была твоя Окся, да вся вышла…

– Да вы толком говорите, омморошные!.. Она с дудки, надо полагать, опять ушла сюда…

– Поищи, может, найдешь. А вернее, братцы, что на Оксе черт уехал по своим делам.

Родион Потапыч вышел на шум из своей конторки и молча нахмурился, завидев дорогого зятя.

– Оксю потерял, Родион Потапыч… Была в дудке, а тут как сквозь землю провалилась. Работнички-то мои проспали.

– Выгоните этого дурака, – коротко приказал грозный старик. – Здесь не кабак, чтобы шум подымать…

– Меня?.. Да я…

Чадолюбивого родителя без церемоний вытолкали за дверь.

Мыльников с Рублихи отправился прямо на Фотьянку к баушке Лукерье… Окси и там не было; потом – в Балчуговский завод, – Окся точно в воду канула. Так и пропала девка.

Вместе с Оксей ушло и счастье Мыльникова. Через неделю дудку его залило подступившей вешней водой, а машину для откачки воды старатели не имели права ставить, и ему пришлось бросить работу. От всего богатства Мыльникова остались одни новые ворота да сотни три бревен, которые подрядчик увез к себе, потому что за них не было заплачено. С горя Мыльников опять засел в кабак к Ермошке и начал пропивать помаленьку нажитое добро: сначала лошадь, потом кошевку, лошадиную сбрую и наконец всю одежу с себя. Наступало лето, и одежда была не нужна.

Раз, когда Мыльников сидел в кабаке, Ермошка сказал:

– А Окся-то твоя ловкую штуку уколола: за Матюшку замуж вышла…

– Н-но-о? – изумился Мыльников.

– Приданое, слышь, вынесла: целый фунт твоего-то золота Матюшка продал Петру Васильичу за четыре сотельных билета… Она, брат, Окся-то, поумнее всех оказала себя.

– Ах, курва… Да я ее растерзаю на мелкие части!

– Ну, теперь дудки: Матюшка-то изувечит всякого… Другую такую-то дуру наживай.

**V**

На Рублихе дела оставались в прежнем положении. Углубляться было нельзя, пока не кончена штольня. Работы в последней подвигались к концу, что вызывало общее возбуждение. Штольная пробуравила Ульянов кряж поперек, но в этом горизонте, к общему удивлению, ничего интересного не было найдено: пласты березитов, сланцы, песчаники, глина – и только. Кварц встречался ничтожными прослойками без всякого содержания золота. Все надежды теперь сосредоточились именно на этой штольне, потому что она отведет всю рудную воду в Балчуговку, и тогда можно начать углубление в центральной шахте. Родион Потапыч спускался в штольню по два раза в день и оставался там часов до пяти. Работы шли под его личным руководством. Старик никому не доверял и все делал сам. Что неприятно поражало Родиона Потапыча, так это то, что Карачунский как будто остыл к Рублихе и совершенно равнодушно выслушивал подробные доклады старого штейгера, точно все это не касалось его. Так продолжалось месяца два, а потом Карачунский точно проснулся. Он «зачастил» на Рублиху и подолгу оставался здесь. То спустится в шахту и бродит по рассечкам, то сидит наверху. Вообще с ним что-то «попритчилось», как решили все.

– Скоро ли? – спрашивал он каждый день Родиона Потапыча.

– Еще восемнадцать аршин осталось… К реке скорее пойдем, потому там ребровик да музга пойдут.

Музгой рабочие называют всякую смесь, а в данном случае музга состояла из глины и разрушившихся песчаников. Попадались еще прослойки белой вязкой глины с крупинками кварца, носившей название «кавардака». Вероятно, оно дано было сначала кем-нибудь из горных инженеров и было подхвачено рабочими, да так и пошло гулять по всем промыслам, как забористое и зубастое словечко, тем более, что такой белой глины рабочие очень не

любили – лопата ее не брала, а кайло вязло, как в воске. Такой «кавардак» встречался только в полосе березитов как продукт их разрушения.

Новое увлечение Карачунского Рублихой находилось в связи с его душевным настроением: это была его последняя ставка. «Оправдает себя» Рублиха, и Карачунский спасен… Часто он совершенно забывался, сидя где-нибудь у машины и прислушиваясь к глухой работе и тяжелым вздохам шахты. Там, в темной глубине, творилась медленная, но отчаянная борьба со скупой природой, спрятавшей в какой-то далекий угол свое сокровище. И в душе у человека, в неведомых глубинах, происходит такая же борьба за крупицы правды, добра и чести. Ах, сколько тьмы лежит на каждой душе, и какими родовыми муками добываются такие крупицы… Большинство людей счастливо только потому, что не дает себе труда заглянуть в такие душевные пропасти и вообще не дает отчета в пройденном пути. Родион Потапыч потихоньку наблюдал Карачунского издали и старался в такие минуты не мешать барину «раздумываться». Ничего, пусть подумает… Раз они встретились глазами именно в такую минуту, и Карачунский весело улыбнулся.

– Знаешь, о чем я думал сейчас, Родион Потапыч?

– Не могу знать, Степан Романыч… У господ свои мысли, у нас, мужиков, свои, а чужая душа потемки… А тебе пора и подумать о своем-то лакомстве… У всех господ одна зараза, а только ты попревосходней других себя оказал.

– Вся разница в том, Родион Потапыч, что есть настоящие господа и есть поддельные. Настоящий барин за свое лакомство сам и рассчитывается… А мужик полакомится – и бежать.

– Видал я господ всяких, Степан Романыч, а все-таки не пойму их никак… Не к тебе речь говорится, а вообще. Прежнее время взять, когда мужики за господами жили, – правильные были господа, настоящие: зверь так зверь, во всю меру, добрый так добрый, лакомый так лакомый. А все-таки не понимал я, как это всякую совесть в себе загасить… Про нынешних и говорить нечего: он и зла-то не может сделать, засилья нет, а так, одно званье что барин.

– А как ты меня понимаешь, Родион Потапыч?..

– Тебя-то? Бочка меду да ложка дегтю – вот как я тебя понимаю. Кабы не твое лакомство, цены бы тебе не было… Всякая повадка в тебе настоящая, и в слове тверд даже на редкость.

Карачунский приезжал на Рублиху даже ночью. Он вдруг потерял сон и ужасно этим мучился. А тут проехаться верст пять по свежему воздуху – отлично… Весна уже брала свое. За день дорога сильно подтаивала, а к ночи все подмерзало. Заторы и колдобины покрывались тонким, как стекло, льдом, который со звоном хрустел под лошадиными копытами и санным полозом. А как легко дышится в такую весеннюю ночь… Небо бледное, звезды лихорадочно светят, в воздухе разлита чуткая дремота. Вообще хорошо. Нервы напряжены, а в теле разливается такая бодрая теплота, как в ранней молодости. В такие минуты хорошо думается и хорошо чувствуется. Раз, когда ночью Карачунский ехал один, ему вдруг пришла мысль: а что, если бы умереть в такую ночь?.. Умереть бодрым, полным сил, в полном сознании, а не беспомощным и жалким. Кучер, должно быть, вздремнул на козлах, потому что лошади поднимались на Краюхин увал шагом; колокольчик сонно бормотал под дугой, когда коренник взмахивал головой; пристяжная пряла ушами, горячим глазом вглядываясь в серый полумрак. Именно в этот момент точно из земли вырос над Карачунским верховой; его обдало горячее дыхание лошади, а в седле неподвижно сидел, свесившись на один бок по-киргизски, Кожин. Карачунский узнал его и почувствовал, как по спине пробежала холодная струйка. Кучер встрепенулся и подтянул вожжи.

– Эй ты, подальше, полуночник! – крикнул кучер.

Кожин ничего не ответил, а только пустил лошадь рядом. Карачунский инстинктивно схватился за револьвер.

– Не бойся, не трону, – ответил Кожин, выпрямляясь в седле. – Степан Романыч, а я с Фотьянки… Ездил к подлецу Кишкину: на мои деньги открыл россыпь, а теперь и знать не хочет. Это как же?..

– У вас условие было какое-нибудь? – спрашивал Карачунский, сдерживая волнение.

– Какие там условия…

– Ну, тогда ничего не получите.

Кожин молча повернул лошадь, засмеялся и пропал в темноту. Кучер несколько раз оглядывался, а потом заметил:

– Не с добром человек едет…

– А что?

– Да уж так… Куда его черт несет ночью? Да и в словах мешается… Ночным делом разве можно подъезжать этак-ту: кто его знает, что у него на уме.

– Пустяки…

Ночью особенно было хорошо на шахте. Все кругом спит, а паровая машина делает свое дело, грузно повертывая тяжелые чугунные шестерни, наматывая канаты и вытягивая поршни водоотливной трубы. Что-то такое было бодрое, хорошее и успокаивающее в этой неумолчной гигантской работе. Свои домашние мысли и чувства исчезали на время, сменяясь деловым настроением.

– Разве так работают… – говорил Карачунский, сидя с Родионом Потапычем на одном обрубке дерева. – Нужно было заложить пять таких шахт и всю гору изрыть – вот это разведка. Тогда уж золото не ушло бы у нас…

– Куда ему деваться; Степан Романыч… В горе оно спряталось.

– Да и вообще все наши работы ничего не стоят, потому что у нас нет денег на большие работы.

– Это ты правильно… Кабы настоящим образом ударить тот же Ульянов кряж…

Карачунский рассказывал подробно, как добывают золото в Калифорнии, в Африке, в Австралии, какие громадные компании основываются, какие страшные капиталы затрачиваются, какие грандиозные работы ведутся и какие баснословные дивиденды получаются в результате такой кипучей деятельности. Родион Потапыч только недоверчиво покачивал головой, а с другой стороны, очень уж хорошо рассказывал барин, так хорошо, что даже слушать его обидно.

– Мы как нищие… – думал вслух Карачунский. – Если бы настоящие работы поставить в одной нашей Балчуговской даче, так не хватило бы пяти тысяч рабочих… Ведь сейчас старатель сам себе в убыток работает, потому что не пропадать же ему голодом. И компании от его голода тоже нет никакой выгоды… Теперь мы купим у старателя один золотник и наживем на нем два

с полтиной, а тогда бы мы нажили полтину с золотника, да зато нам бы принесли вместо одного пятьдесят золотников.

– Ну, это уж невозможно! – сказал Родион Потапыч. – Им, подлецам, сколько угодно дай – все равно потащат к Ястребову.

– Тогда мы стали бы платить столько же, сколько платит Ястребов: если ему выгодно, так нам в сто раз выгоднее. Главное-то свои работы…

На этом пункте они всегда спорили. Старый штейгер относился к вольному человеку – старателю – с ненавистью старой дворовой собаки. Вот свои работы – другое дело… Это настоящее дело, кабы сила брала. Между разговорами Родион Потапыч вечно прислушивался к смешанному гулу работавшей шахты и, как опытный капельмейстер, в этой пестрой волне звуков сейчас же улавливал малейшую неверную ноту. Раз он соскочил совсем бледный и даже поднял руку кверху.

– Что случилось?

– Вода, Степан Романыч… – прошептал старик, опрометью бросаясь к насосу.

Несмотря на самое тщательное прислушиванье, Карачунский ничего не мог различить: так же хрипел насос, так же лязгали шестерни и железные цепи, так же под полом журчала сбегавшая по «сливу» рудная вода, так же вздрагивал весь корпус от поворотов тяжелого маховика. А между тем старый штейгер учуял беду… Поршень подавал совсем мало воды. Впрочем, причина была найдена сейчас же: лопнуло одно из колен главной трубы. Старый штейгер вздохнул свободнее.

– Ну, это не велика беда, – говорил он с улыбкой. – А я думал, не вскрылась ли настоящая рудная вода на глуби. Беда, ежели настоящая-то рудная вода прорвется: как раз одолеет и всю шахту зальет. Бывало дело…

Они, кажется, переговорили обо всем, кроме главного, что лежало у обоих на душе. Родион Потапыч не проронил ни одного слова о Фене, а Карачунский молчал о деле Кишкина. Но это последнее неотступно преследовало его, получив неожиданный оборот. Следователь по особо важным делам вызывал Карачунского в свою камеру уже три раза. Эти вызовы производили на Карачунского страшно двойственное впечатление: знакомый человек, с которым он много раз играл в клубе в карты и встречался у знакомых, и вдруг начинает официальным тоном допрашивать о звании, имени, отчестве, фамилии, общественном положении и подробностях передачи казенных промыслов.

– Господин Карачунский, вы не могли, следовательно, не знать, что принимаете приисковый инвентарь только по описи, не проверяя фактически, – тянул следователь, записывая что-то, – чем, с одной стороны, вы прикрывали упущения и растраты казенного управления промыслами, а с другой – вводили в заблуждение собственных доверителей, в данном случае компанию.

– Господин следователь, вам небезызвестно, что и в казенном доме и в частном есть масса таких формальностей, какие существуют только на бумаге, – это известно каждому. Я сделал не хуже, не лучше, чем все другие, как те же мои предшественники… Чтобы проверить весь инвентарь такого сложного дела, как громадные промысла, потребовались бы целые годы, и затем…

– И затем?

– И затем я не желал подводить под обух своих предшественников, которые, как я глубоко убежден, были виноваты столько же, сколько я в данный момент.

– Вот это и важно, что вы сознательно прикрывали существовавшие злоупотребления!

– Позвольте, господин следователь, я этого совсем не желал сказать и не мог… Я хотел только объяснить, как происходят подобные вещи в больших промышленных предприятиях.

– Это одно и то же, только вы говорите другими словами, господин Карачунский.

Такой прием злил Карачунского, и он чувствовал, как следователь берет над ним перевес своим профессиональным бесстрастием. Правосудие должно было быть удовлетворено, и козлом отпущения являлся именно он, Карачунский. Конечно, он мог свалить на своих предшественников, но такой маневр был бы просто глупым, потому что он сейчас не мог ничего доказать. И следователь был по-своему прав, выматывая из него душу и цепляясь за разные мелочи и пустяки. В конце концов Карачунский чувствовал себя в положении травленого зверя, которого опутывали цепкими тенетами. Могла разыграться очень скверная штука вообще, да, кажется, в этом сейчас не могло быть и сомнения. По крайней мере Карачунский в этом смысле ни на минуту не обманывал себя с первого момента, как получил повестку от следователя.

Интересная была произведенная следователем очная ставка Карачунского с Кишкиным. Присутствие доносчика приподняло Карачунского, и он держал себя с таким леденящим достоинством, что даже у следователя заронилось сомнение. Кишкин все время чувствовал себя смущенным…

– Господин Карачунский, я желаю взять назад свой донос… – заявил Кишкин в конце концов, виновато опуская глаза.

– Я уже сказал вам, что это невозможно, – сухо ответил следователь, продолжая писать.

– А если я по злобе это сделал?.. Просто от неприятности, и сейчас сам не помню, о чем писал… Бедному человеку всегда кажется, что все богатые виноваты.

– Теперь вы, кажется, разбогатели и не можете жаловаться на судьбу… Одним словом, это к делу не относится…

Когда Карачунский вышел на подъезд следовательской квартиры, Кишкин догнал его и торопливо проговорил:

– А я не виноват, Степан Романыч… Про вас-то я ни одного слова не говорил, а про других.

– Что вам от меня нужно?.. – спросил Карачунский, меряя старика с ног до головы. – Я вас совсем не знаю и не желаю знать…

Это презрение образумило Кишкина, точно на него пахнуло холодным воздухом, и он со злобой подумал:

«Погоди, шляхта, ужо запоешь матушку-репку, когда приструнят…»

Карачунскому этот подлый старичонка-доносчик внушал непреодолимое отвращение, как пресмыкающаяся гадина. Сознавая всю опасность своего положения, он гордился тем, что ничего не боится и встретит неминучую беду с подобающим хладнокровием. Теперь уже в

отношениях собственных служащих он замечал свое фальшивое положение: его уже начинали игнорировать, особенно Монморанси, которых он прокармливал. Из допросов следователя Карачунский понимал, что, кроме доноса Кишкина, был еще чей-то дополнительный донос прямо о нем, и подозревал, что его сделал Оников. Этот молодой человек старательно избегал встреч с Карачунским, чем еще больше подтверждал подозрения. Промысловые служащие, конечно, знали о всем происходившем и смотрели на Карачунского как на обреченного человека. Все это создавало взаимно фальшивые отношения, и Карачунский желал только одного: чтобы все это поскорее разрешилось так или иначе.

Вот о чем задумывался он, проводя ночи на Рублихе. Тысячу раз мысль проходила по одной и той же дороге, без конца повторяя те же подробности и производя гнетущее настроение. Если бы открыть на Рублихе хорошую жилу, то тогда можно было бы оправдать себя в глазах компании и уйти из дела с честью: это было для него единственным спасением.

В то время, пока Карачунский все это думал и передумывал, его судьба уже была решена в глубинах главного управления компании Балчуговских промыслов: он был отрешен от должности, а на его место назначен молодой инженер Оников.

**VI**

На Фоминой вековушка Марья сыграла свадьбу-самокрутку и на свое место привела Наташку, которая уже могла «отвечать за настоящую девку», хотя и выглядела тоненьким подростком. Баушку Лукерью много утешало то, что Наташка лицом напоминала Феню, да и характером тоже.

– Живи и слушайся баушки, – наказывала строго Марья. – И к делу привыкнешь и, может, свою судьбу здесь-то и найдешь… У дедушки немного бы высидела, да там и без тебя полная изба едоков.

Наташка была рада этой перемене и только тосковала о своем братишке Петруньке, который остался теперь без всякого призора. Отец Яша вместе с Прокопьем пропадали где-то на промыслах и дома показывались редко.

– Смаялась я с девками, – ворчала баушка Лукерья. – На одном году четвертую беру… А все промысла. Грех один с этими девками…

Марья с мужем поступила к Кишкину на Богоданку, где весной закипела горячая работа. На берегу Мутяшки по щучьему велению выросла новая контора, а при ней была налажена обещанная стариком горенка для Марьи. Весело было на Богоданке, как в праздник. Рабочих набралось больше трехсот человек. Со стороны Мутяшки еще зимой была устроена из глины и хвороста плотина, а затем вся вода из болота выкачана паровой машиной. Зимой же половина россыпи была вскрыта, и верховик пошел на плотину, так что зараз делалось два дела. Пески промывали бутарой, которая гремела день и ночь, как прожорливое чудовище с железным брюхом. Россыпь оказалась прекрасной, в среднем около полутора золотников содержания. Кишкин жил в своей конторе и сам смотрел за всем, не доверяя постороннему глазу. При нем происходила доводка золота в полдень и вечером, и он сам отжигал на огне полученную «сортучку», как называют на промыслах соединение ртути с золотом. Мелкое золото улавливалось ртутью. Несколько старательских артелей были допущены только для выработки бортов, как на больших промыслах, и Кишкин каялся в этом попущении, потому что вечно подозревал старателей в воровстве. Старик ни в чем не изменил образа жизни и ходил в таком же рваном архалуке, как и в прошлом году. Единственная роскошь, которую он позволил себе, – была трубка с длинным черешневым чубуком. Жил он очень грязно, ходил в грязном

белье и скупился ужасно. Даже чай ходил пить к своему штейгеру Семенычу, чтобы сэкономить на этой разорительной привычке. Марья, впрочем, не подавала вида, что замечает эту старческую жадность, и охотно угощала старика всем, что было под рукой.

– Все кричат: богатство! – жаловался Кишкин. – А только вот я не вижу его до сих пор… Нечем долг заплатить баушке Лукерье. Тут тебе паровая машина, тут вскрышка, тут бутара, тут плотина… За все деньги подай, а деньги из одного кармана.

– А как же баушка-то Лукерья? Завидная она до денег…

– Проценты плачу… Ох, разоренье, Марьюшка!..

– Ну, как-нибудь, Андрон Евстратыч. Бог не без милости…

– Главное, всем деньги подавай: и штейгеру, и рабочим, и старателям. Как раз без сапогов от богачества уйдешь… Да еще сколько украдут старателишки. Не углядишь за вором… Их много, а я-то ведь один. Не разорваться…

Всего больше Кишкин не любил, когда на прииск приезжали гости, как тот же Ястребов. Знаменитый скупщик делал такой вид, что ему все равно и что он нисколько не завидует дикому счастью Кишкина.

– Старайся, старайся, старичок Божий… – весело говорил он, похлопывая Кишкина своей тяжелой рукой по плечу. – Любая половина моих рук не минует… Пряменько скажу тебе, Андрон Евстратыч. Быль молодцу не укор…

– Знаю я вас, разбойников! – брюзжал Кишкин. – Только ведь со мной шутки-то плохие, Никита Яковлич…

– Не пугай, ради Христа… ха-ха!.. А что сделаешь?

– А вот это самое… Я, брат, дубленый: все ваши ходы и выходы знаю. Меня, брат, не проведешь…

В другой раз Ястребов привез с собой самого Илью Федотыча, ездившего по промыслам для собственного развлечения.

– Посмотреть приехал на тебя, чудо-юдо, – пошутил секретарь милостиво. – Разбогател, так и меня знать не хочешь.

– Он ныне гордый стал, – поддержал Ястребов расшутившегося секретаря. – Голой рукой и не возьмешь…

– А еще однокашники, – продолжал Илья Федотыч. – Скоро, пожалуй, на улице встретит и не узнает… Вот тебе и дружба. Хе-хе… А еще говорят, что старая хлеб-соль впереди.

Сильный был человек Илья Федотыч, так что Кишкин для него послал в Балчуговский завод за бутылкой мадеры, благо секретарь остается ночевать в Богоданке.

– Да, вот какие дела, Андрон… – говорил он вечером, когда они остались в конторе одни. – Приехал получить с тебя должок. Разве забыл?

– Все отдам, Илья Федотыч, только дай с деньгами собраться… – жалостливо уверял Кишкин. – Никак не могу сбиться с деньгами-то. Вот еще свои в землю закапываю…

– Перестань врать!.. Других морочь, а меня-то оставь.

Марья вертелась на глазах целый вечер и сумела угодить Илье Федотычу. Она подала и сливок к чаю и ягод, а на ужин состряпала такие пельмени, что язык проглотишь. Кишкин только поморщился, что разгулялась баба на чужую провизию, но Марья успокоила его: она все делала из своего.

– Нельзя же кое-как, Андрон Евстратыч, – уговаривала она старика своим уверенным тоном. – Пригодится еще Илья Федотыч… Все за ним ходят, как за кладом.

– Ох, знаю, Марьюшка… Да мне-то какая от этого корысть?.. Свою голову не знаю, как прокормить… Ты расхарчилась-то с какой радости?

– Нельзя, Андрон Евстратыч: порядок того требует. Тоже видали, как добрые люди живут…

Илья Федотыч за бутылкой хереса сообщил Кишкину последнюю новость, именно о назначении Оникова главным управляющим Балчуговских промыслов.

– А куда же Карачунский? – удивился Кишкин.

– Ну, это его дело… Может, ты же ему место-то приспособил своим доносом. Влетел он в это самое дело, как кур во щи… Ах, Андрошка, бить-то тебя было некому!..

– От бедности очертел тогда, – согласился Кишкин. – Терпел-терпел и надумал…

За бутылкой вина старики разговорились о старине, о прежних людях, о похороненном казенном времени, о нынешних порядках и нынешних людях. Илья Федотыч как-то осовел и точно размяк.

– Пожалеют балчуговские-то о Карачунском, – повторял секретарь. – И еще как пожалеют… В узле держал, а только с толком. Умный был человек… Надо правду говорить. Оников-то покажет себя…

– Народ изварначился ныне, Илья Федотыч…

– Ну, это тоже суди на волка и суди по волку. Промысла-то везде одинаковы, – сегодня вскачь, а завтра хоть плачь.

– Разжалобился ты что-то уж очень, Илья Федотыч… У себя в канцелярии так зверь зверем сидишь, а тут жалость напустил.

– Ох, помирать скоро, Андрошка… О душе надо подумать. Прежние-то люди больше нас о душе думали: и греха было больше и спасения было больше, а мы ни Богу свеча, ни черту кочерга. Вот хоть тебя взять: напал на деньги и съежился весь. Из пушки тебя не прошибешь, а ведь подохнешь, с собой ничего не возьмешь. И все мы такие, Андрошка… Хороши, пока голодны, а как насосались – и конец.

– Тебе в попы идти, Илья Федотыч, – рассердился Кишкин. – В самый раз с постной молитвой ездить…

Это жалостливое настроение Ильи Федотыча, впрочем, сменилось быстро игривым. Он долго смотрел на Марью, а потом весело подмигнул и заметил:

– Игрушка?..

– Хороша Маша, да не наша… С мужем живет.

– Что же, это еще лучше, коли с мужем… хи-хи!.. Из-за мужа-то и хозяина пожалеет…

Илья Федотыч рано утром был разбужен неистовым ревом Кишкина, так что в одном белье подскочил к окну. Он увидел каких-то двух мужиков, над которыми воевал Андрон Евстратыч. Старик расходился до того, что, как петух, так и наскакивал на них и даже замахивался своей трубкой. Один мужик стоял с уздой.

– Грабить меня пришли?! – орал Кишкин. – Петр Васильич, побойся ты Бога, ежели людей не стыдишься… Знаю я, по каким делам ты с уздой шляешься по промыслам!..

– Мы насчет работы, Андрон Евстратыч, – заявил другой мужик. – Чем мы грешнее других-прочих?.. Отвел бы делянку – вот и весь разговор.

Это были Петр Васильич и Мыльников, шлявшиеся по промыслам каждый по своему делу. На крик Кишкина собрались рабочие и подняли гостей на смех.

– Ты их обыщи, Андрон Евстратыч, – советовал кто-то. – Мыльников-то заместо коромысла отвечает у Петра Васильича.

– Ну и обыщи, коли на то пошло! – согласился Петр Васильич, распоясываясь. – Весь тут… Хоть вывороти.

– А мне надо сестрицу Марью повидать, – заявил Мыльников не без достоинства. – Кожин тебе кланяется, Андрон Евстратыч.

Выскочившая на шум Марья увела родственников к себе в горенку и этим прекратила скандал.

– Скупщики… – коротко объяснил Кишкин недоумевавшему гостю. – Вот этот, кривой-то, настоящий и есть змей… От Ястребова ходит.

– Ну, у хлеба не без крох, – равнодушно заметил секретарь. – А я думал, что тебя уж режут…

– И зарежут…

Мыльников сидел в горнице у сестрицы Марьи с самым убитым видом и говорил:

– Вот, Марьюшка, до чего дожил: хожу по промыслам и свою Оксю разыскиваю. Должна же она своего родителя ублаготворить?.. Конечно, она в законе и всякое прочее, а целый фунт золота у меня стащила…

– Мало ли что зря люди болтают, – успокаивала Марья. – За терпенье Оксе-то Бог судьбу послал, а ты оставь ее. Неровен час, Матюшка-то и бока наломает.

– Прямо убьет, – соглашался Мыльников. – Зятя Бог послал… Ох, Марьюшка, только и жисть наша горемычная.

– Пировал бы меньше, Тарас… Правду надо говорить. Татьяну-то сбыл тятеньке на руки, а сам гуляешь по промыслам.

Мыльников удрученно молчал и чесал затылок. Эх, кабы не водочка!.. Петр Васильич тоже находился в удрученном настроении. Он вздыхал и все посматривал на Марью. Она по-своему истолковала это настроение милых родственников и, когда вечером вернулся с работы

Семеныч, выставила полуштоф водки с закуской из сушеной рыбы и каких-то грибов.

– Не обессудьте на угощении, гостеньки дорогие… – приговаривала она.

– Ах, Марьюшка, родная сестрица! – ахнул Мыльников. – Вот когда ты уважила…

Семеныч чувствовал себя настоящим хозяином и угощал с подобающим радушием. Мыльников быстро опьянел, – он давно не пил, и водка быстро свалила его с ног. За ним последовал и Семеныч, непривычный к водке вообще. Петр Васильич пил меньше других и чувствовал себя прекрасно. Он все время молчал и только поглядывал на Марью, точно что хотел сказать.

– Очертел Шишка-то… – заговорил наконец Петр Васильич, когда остался с глазу на глаз с Марьей. – Как зверь накинулся даве на нас…

– Его не обманешь: насквозь видит каждого.

– Видит, говоришь? – засмеялся Петр Васильич. – Кабы видел, так не бросился бы… Разве я дурак, чтобы среди бела дня идти к нему на прииск с весками, как прежде? Нет, мы тоже учены, Марьюшка…

– Спрятал в лесу где-нибудь весы-то свои?

– Обыкновенно… И Тарас не видал, потому несуразный он человек. Каждое дело мастера боится… Вот твое бабье дело, Марья, а ты все можешь понимать.

Петр Васильич придвинулся к ней поближе и спросил шепотом:

– А есть у тебя какое-нибудь женское дело с Шишкой?

Марья отрицательно покачала головой и засмеялась.

– Себя соблюдаешь, – решил Петр Васильич. – А Шишка, вот погляди, сбрендит… Он теперь отдохнул и первое дело за бабой погонится, потому как хоша и не настоящий барин, а повадку-то эту знает.

– Так поглядывает, а чтобы приставал – этого нет, – откровенно объяснила Марья. – Да и какая ему корысть в мужней жене!.. Хлопот много. Как-то он проезжал через Фотьянку и увидел у нас Наташку. Ну, приехал веселый такой и все про нее расспрашивал: чья да откуда…

– Про Наташку, говоришь? Польстился, значит…

– Не корыстна еще девчонка, а ему любопытно. Востроглазая, говорит… С баушкой-то у него свои дела. Она ему все деньги отвалила и проценты получает…

– Так, как… Ума последнего решилась старуха. Уж я это смекал… Так, своим умом дошел… Ах, пес! Ловко обошел мамыньку… Заграбастал деньги. Пусть насосется хорошенько… Поди, много денег-то у старого черта?

– А кто его знает… Мне не показывает. На ночь очень уж запираться стал; к окнам изнутри сделал железные ставни, дверь двойная и тоже железом окована… Железный сундук под кроватью, так в ем у него деньги-то…

– В сундуке? Так, Марьюшка… А тяжелый сундук-то?

– Да не унести его совсем, потому к полу он привинчен… Я как-то мела в конторе и хотела передвинуть, а сундук точно пришит…

Петр Васильич еще ближе придвинулся к Марье и слушал эти объяснения, затаив дыхание. Когда Марья взглянула на это искаженное конвульсивной улыбкой лицо, то даже отодвинулась от страха.

– Петр Васильич…

– А что?..

– Нет, к чему ты выспрашиваешь-то? Да ты в уме ли? Христос с тобой…

Петр Васильич опомнился и отвернулся. У него стучали зубы от охватившей его лихорадки. Марья схватила его за руку – рука была холодная, как лед.

– Ключик добудь, Марьюшка… – шептал Петр Васильич. – Вызнай, высмотри, куда он его прячет… С собой носит? Ну, это еще лучше… Хитер старый пес. А денег у него неочерпаемо… Мне в городу сказывали, Марьюшка. Полтора пуда уж сдал он золота-то, а ведь это тридцать тысяч голеньких денежек. Некуда ему их девать. Выждать, когда у него большая получка будет, и накрыть… Да ты-то чего боишься, дура?

– Ах, страшно… уйди…

– Одинова страшно-то, а там на всю жисть богачество… Живи себе барыней. Только твоей и работы: ключик от сундука подглядеть.

Побелевшая Марья отчаянно замахала обеими руками. Петр Васильич посмотрел на нее с ненавистью и прошипел:

– Не хочешь, так Наташку приспособим… Девчонка вострая, а старичку это и любопытно.

В ночь Петр Васильич ушел с Богоданки, а Марья осталась, как ошпаренная. Даже муж заметил, что с бабой творится что-то неладное.

– Неможется что-то, – коротко объяснила она.

**VII**

– Когда же ты помрешь, Дарья? – серьезно спрашивал Ермолай свою супругу. – Этак я с тобой всех невест пропущу… У Злобиных было две невесты, а теперь ни одной не осталось. Феня с пути сбилась, Марья замуж выскочила. Докуда я ждать-то буду?

– А Наташка? – виновато отвечала Дарья. – Может, к осени Господь меня приберет, а Наташка к этому времени как раз заневестится…

– Опять омманешь, лахудра!.. – ругался Ермошка, приходя в отчаяние от живучести Дарьи. – Ведь в чем душа держится, а все скрипишь… Пожалуй, еще меня переживешь этак-то.

– Помру, Ермолай Семеныч. Потерпи до осени-то.

С горя Ермошка запивал несколько раз и бил безответную Дарью чем попало. Ледащая бабенка замертво лежала по нескольку дней, а потом опять поднималась.

– Не по тому месту бьешь, Ермолай Семеныч, – жаловалась она. – Ты бы в самую кость норовил… Ох, в чужой век живу! А то страви чем ни на есть… Вон Кожин как жену свою изводит: одна страсть.

– Дурак он, Кожин-то: еще наотвечаешься потом…

Нет такого положения, хуже которого не было бы. Так было и здесь. Плохо жилось Дарье. Она давно записалась в живые покойники, а у Кожиных было хуже. Кожин совсем озверел и на глазах у всех изводил жену. В морозы он выгонял ее во двор босую, гонялся за ней с ножом, бил до беспамятства и вообще проделывал те зверства, на какие способен очертевший русский человек. Знали об этом все соседи, женина родня, вся Тайбола, и ни одна душа не заступилась еще за несчастную бабу, потому что между мужем и женой один Бог судья. Бабенка попалась молоденькая и совершенно безответная. Такую выбрала сама мамынька Маремьяна, желавшая оставаться в дому полной хозяйкой. Даже беременность не спасла эту несчастную, и Кожин бил ее еще сильнее, вымещая свое неизбывное горе. Ведь не могла затяжелеть Феня, – тогда бы все другое вышло. Мамынька Маремьяна пробовала заступаться за невестку, но из этого ничего не вышло.

– Твоя работа: гляди и казнись! – кричал Кожин, накидываясь на жену с новой яростью. – Убью подлюгу… Видеть ее не могу.

В раскольничьем мире нравы не отличаются мягкостью, но все домашние дела покрывались чисто раскольничьим молчанием, из принципа – не выносить сора из дому.

Дошли слухи о зверстве Кожина до Фени и ужасно ее огорчали. В первую минуту она сама хотела к нему ехать и усовестить, но сама была «на тех порах» и стыдилась показаться на улицу. Ее вывел из затруднения Мыльников, который теперь завертывал пожаловаться на свою судьбу.

– Тарас, хоть бы ты усовестил Акинфия Назарыча…

– Могу соответствовать, Фенюшка… Ах, какой грех, подумаешь!

– Ты ему так и скажи, что я его прошу… А то пусть сам завернет ко мне, когда Степана Романыча не будет дома. Может, меня послушает…

– Нет, это не модель, Фенюшка. Тот же Ганька переплеснет все Степану Романычу… Негоже это дело. А я в лучшем виде все оборудую… Я его напугаю, Акинфия-то Назарыча.

– Да ты поскорее, Тарас… Долго ли до греха: убьет еще Акинфий-то Назарыч жену…

Для большего поощрения Феня сунула Тарасу немного денег.

– Живой рукой слетаю, Федосья Родивоновна. Я его сокращу, Акинфия Назарыча… Со мной, брат, короткие разговоры.

Действительно, Мыльников сейчас же отправился в Тайболу. Кстати, его подвез знакомый старатель, ехавший в город. Ворота у кожинского дома были на запоре, как всегда. Тарас «помолитвовался» под окошком. В окне мелькнуло чье-то лицо и сейчас же скрылось.

– Да это я! – кричал Мыльников, влезая на завалинку и заглядывая в окно. – Не узнали, что ли?.. Баушка Маремьяна… а?..

Наконец показался сам Кожин. Он, видимо, был чем-то смущен и неохотно отворил окно.

– Чего лезешь-то? – неприветливо спросил он.

– А дело есть, от того самого и лезу…

– Врешь!

– Вот сейчас провалиться…

– Ну, иди…

Кожин сам отворил и провел гостя не в избу, а в огород, где под березой, на самом берегу озера, устроена была небольшая беседка. Мыльников даже обомлел, когда Кожин без всяких разговоров вытащил из кармана бутылку с водкой. Вот это называется ударить человека прямо между глаз… Да и место очень уж было хорошее. Берег спускался крутым откосом, а за ним расстилалось озеро, горевшее на солнце, как расплавленное. У самой воды стояла каменная кожевня, в которой летом работы было совсем мало.

– Ах, какое приятное место! – восхищался Мыльников. – Только водку пить на таком месте…

– Какое дело-то? Опять золотом обманывать хочешь?

– Нет, брат, с золотом шабаш!.. Достаточно… Да потом я тебе скажу, Акинфий Назарыч: дураки мы… да. Золото у нас под рылом, а мы его по лесу разыскиваем… Вот давай ударим ширп у тебя в огороде, вон там, где гряды с капустой. Ей-богу… Кругом золото у вас, как я погляжу.

Они выпивали и болтали о Кишкине, как тот «распыхался» на своей Богоданке, о старательских работах, о том, как Петр Васильич скупает золото, о пропавшем без вести Матюшке и т. д. Кожин больше молчал, прислушиваясь к глухим стонам, доносившимся откуда-то со стороны избы. Когда Мыльников насторожился в этом направлении, он равнодушно заметил:

– Собака у меня, надо полагать, сбесилась… Ужо пристрелить надо стерву.

Когда Кожин ушел в избу за второй бутылкой, Мыльников не утерпел и побежал посмотреть, что делается в подклети, устроенной под задней избой. Заглянув в небольшое оконце, он даже отшатнулся: ему показалось, что у стены привязан был ремнями мертвец… Это была несчастная жена Кожина, третьи сутки стоявшая у стены в самом неудобном положении, – она не могла выпрямиться и висела на руках, притянутых ремнями к стене. Мыльников перепугался до того, что весь хмель у него вышибло с головы, когда вернулся Кожин. Что было делать? Первая мысль – сейчас бежать и заявить в волости. Нельзя же так тиранить живого человека. Эти кержаки расстервенятся, так кожу готовы снять с живого человека. Но, с другой стороны, ведь вся Тайбола знает, что Кожин изводит жену насмерть, и волостные знают и вся родня, а его дело сторона. Еще по судам учнут таскать… Да и дело совсем чужое, никого не касаемое. Убьет жену Кожин – сам и ответит, а пока жена в живности – никого это не касаемо, потому муж, хоша и сводный.

Так Мыльников ничего и не сказал Кожину, движимый своей мужицкой политикой, а о поручении Фени припомнил только по своем возвращении в Балчуговский завод, то есть прямо в кабак Ермошки. Здесь пьяный он разболтал все, что видел своими глазами. Первым вступился, к общему удивлению, Ермошка. Он поднял настоящий скандал.

– Да разве это можно живого человека так увечить?! – орал он на весь кабак, размахивая руками. – Кержаки – так кержаки и есть… А закон и на них найдем!..

Весь кабак был на его стороне. Много помогал темный антагонизм православного населения к раскольникам, который окрасился сейчас вполне определенными чувствами. В кабацких завсегдатаях и пропойщиках проснулась и жалость к убиваемой женщине, и совесть, и страх, именно те законно хорошие чувства, которых недоставало в данный момент тайбольцам, знавшим обо всем, что делается в доме Кожина. Как это ни странно, но взрыв гуманных чувств произошел именно в кабаке, и в голове этого движения встал отпетый кабатчик Ермошка.

– Нет, братцы, так нельзя! – выкрикивал он своим хриплым кабацким голосом. – Душа ведь в человеке, а они ремнями к стене… За это, брат, по головке не погладят.

– Своими глазами видел… – бормотал Мыльников, не ожидавший такого действия своих слов. – Я думал: мертвяк, и даже отшатнулся, а это она, значит, жена Кожина распята… Так на руках и висит.

– Прямо к прокурору надо объявить, потому что самое уголовное дело, – заявил Ермошка тоном сведущего человека. – Учить жену учи, а это уж другое…

– Да мы сами пойдем и разнесем по бревнышку все кержацкое гнездо! – кричали голоса. – Православные так не сделают никогда… Случалось, и убивали баб, а только не распинали живьем.

– Нет, погодите, братцы, я сам оборудую… – решил Ермошка.

Первым делом он пошел посоветоваться с Дарьей: особенное дело выходило совсем, Дарья даже расплакалась, напутствуя Ермошку на подвиг. Чтобы не потерять времени и не делать лишней огласки, Ермошка полетел в город верхом на своем иноходце. Он проникся необыкновенной энергией и поднял на ноги и прокурорскую власть, и жандармерию, и исправника.

– Застанем либо нет ее в живых! – повторял он в ажитации. – Христианская душа, ваша высокоблагородие… Конечно, все мы, мужики, в зверстве себя не помним, а только и закон есть.

В Тайболу начальство нагрянуло к вечеру. Когда подъезжали к самому селению, Ермошка вдруг струсил: сам он ничего не видал, а поверил на слово пьяному Мыльникову. Тому с пьяных глаз могло и померещиться незнамо что… Однако эти сомнения сейчас же разрешились, когда был произведен осмотр кожинского дома. Сам хозяин спал пьяный в сарае. Старуха долго не отворяла и бросилась в подклеть развязывать сноху, но ее тут и накрыли.

Картина была ужасная. И прокурорский надзор и полиция видали всякие виды, а тут все отступили в ужасе. Несчастная женщина, провисевшая в ремнях трое суток, находилась в полусознательном состоянии и ничего не могла отвечать. Ее прямо отправили в городскую больницу. Кожин присутствовал при всем и оставался безучастным.

– Будет тебе два неполных!.. – заметил ему Ермошка. – Еще бы венчанная жена была, так другое дело, а над сводной зверство свое оказывать не полагается.

Кожин только посмотрел на него остановившимися страшными глазами и улыбнулся. У него по странной ассоциации идей мелькнула в голове мысль, почему он не убил Карачунского, когда ветрел его ночью на дороге, – все равно бы отвечать-то. Произошла раздирательная сцена,

когда Кожина повели в город для предварительного заключения. Старуху Маремьяну едва оттащили от него.

– Оставь, мамынька… – сухо заметил Кожин, а потом у него дрогнуло лицо, и он снопом повалился матери в ноги. – Родимая, прости!

– Голубчик… кормилец… – завыла старуха в исступлении.

– Надо бы и ее, ваше высокоблагородие, старушонку эту самую… – советовал Ермошка. – Самая вредная женщина есть… От нее все…

Когда Кожин сел в телегу, то отыскал глазами в толпе Ермошку и сказал:

– Скажи поклончик Фене, Ермолай Семеныч… А тебя Бог простит. Я не сердитую на тебя…

В толпе показался Мыльников, который нарочно пришел из Балчуговского завода пешком, чтобы посмотреть, как будет все дело. Обратно он ехал вместе с Ермошкой.

– На каторгу обсудят Акинфия Назарыча? – приставал он к Ермошке.

– А это видно будет… На голосах будут судить с присяжными, а это легкий суд, ежели жена выздоровеет. Кабы она померла, ну, тогда крышка… Живучи эти бабы, как кошки. Главное, невенчанная жена-то – вот за это за самое не похвалят.

– И венчанных-то тоже не полагается увечить… – усомнился Мыльников.

– Про венчанную так и говорится: мужняя, а это ничья. Все одно, как пригульная скотина… Я, брат, эти все законы насквозь произошел, потому в кабаке без закону невозможно.

– Уж это известное дело…

По дороге Мыльников завернул в господский дом, чтобы передать Фене обо всем случившемся.

– Управился я с Акинфием Назарычем, – хвастался он. – Обернул его прямо на каторгу на вольное поселение… Теперь шабаш!..

Феня тихо крикнула и едва удержалась на ногах. Она утащила Мыльникова к себе в комнату и заставила рассказать все несколько раз. Господи, да что же это такое? Неужели Акинфий Назарыч мог дойти до такого зверства?..

– Как посадили его на телегу, сейчас он снял шапку и на четыре стороны поклонился, – рассказывал Мыльников. – Тоже знает порядок… Ну, меня увидал и крикнул: «Федосье Родивоновне скажи поклончик!» Так, помутился он разумом… не от ума…

Это происшествие совершенно разбило Феню, так что она слегла в постель, а ночью выкинула мертвого ребенка. Карачунский чувствовал себя тоже ошеломленным, точно над его головой разразился неожиданно удар грома. У него точно что порвалось в душе, та больная ниточка, которая привязывала его к жизни. Больная Феня казалась совсем другой – лицо побледнело, вытянулось, глаза округлились, нос заострился. Она не жаловалась, не стонала, не плакала, а только смотрела своими большими глазами, как смертельно раненная птица. Карачунскому было и совестно и больно за эту молодую, неудовлетворенную жизнь, которую он не мог ни согреть, ни успокоить ответным взглядом.

– Я его больше не люблю… – прошептала Феня в одну из таких молчаливых сцен.

– Девочка, милая…

– А все-таки, Степан Романыч, лучше бы мне умереть…

– Жить еще будем, Феня.

У кабатчика Ермошки происходили разговоры другого характера. Гуманный порыв соскочил с него так же быстро, как и налетел. Хорошие и жалобные слова, как «совесть», «христианская душа», «живой человек», уже не имели смысла, и обычная холодная жестокость вступила в свои права. Ермошке даже как будто было совестно за свой подвиг, и он старательно избегал всяких разговоров о Кожине. Прежде всего начал вышучивать Ястребов, который нарочно заехал посмеяться над Ермошкой.

– С чего ты это сунулся в чужое дело? – приставал Ястребов. – Этак ты и на меня побежишь жаловаться?..

– Стих такой накатился, Никита Яковлич… Обидно стало, что живого человека тиранят.

– Да ты-то разе прокурор?.. Ах, Ермолай, Ермолай… Дыра у тебя, видно, где-нибудь есть в башке, не иначе я это самое дело понимаю. Теперь в свидетели потащат… ха-ха!.. Сестра милосердная ты, Ермошка…

Естественным результатом всей этой истории было то, что Дарья получила науку хуже прежнего. Разозленный Ермошка вымещал теперь на ней свое унижение.

– Скоро ли ты издохнешь, змея подколодная? – рычал он, пиная Дарью тяжелым сапогом. – Убить тебя мало…

Что возмущало Ермошку больше всего, так это то, что Дарья переносила все побои как деревянная, – не пикнет.

**VIII**

Кедровская дача нынешнее лето из конца в конец кипела промысловой работой. Не было такой речки или ложка, где не желтели бы кучки взрытой земли и не чернели заброшенные шурфы, залитые водой. Все это были разведки, а настоящих работ поставлено было пока сравнительно немного. Одни места оказались не стоящими разработки, по малому содержанию золота, другие не были еще отведены в полной форме, как того требовал горный устав. Работало десятка три приисков, из которых одна Богоданка прославилась своим богатством.

Женившийся Матюшка вместе со своей молодайкой исходил всю дачу, присматриваясь к местам. Заявлять свой прииск он не хотел, потому что много хлопот с такими заявками, да и ждать приходилось, пока сделают отвод. Это Кишкину было хорошо, когда своя рука в горном правлении, а мужик жди да подожди. Вместе с Матюшкой ходил старый Турка, Яша Малый и Прокопий. Они артелью кое-где брали старательские делянки на приисках у Ястребова, работали неделю или две, а потом бросали все и уходили. Всех тянуло разыскать настоящее место, вроде Богоданки. Можно было купить готовый прииск у мелких золотопромышленников или взять в аренду.

– Только бы поманило малость, – повторял Матюшка с деловым видом. – Обыщем золото…

Матюшке, впрочем, было с полгоря прохлаждаться, потому что все знали, какие у него деньги запрятаны в кожаном кисете, висевшем на шее. Положим, он своих денег никому не

показывал, но все знали досконально, что Петр Васильич отсчитал четыре сотенных билета за выкраденное Оксей золото. Плохо приходилось Яше Малому и Прокопию, но они крепились: сыты, и то хорошо. Огорчала их носившаяся быстро на работе одежда и обувь, но ведь все это было только пока, временно, а найдется золото, тогда сразу все поправится. Мыльников так и не заплатил им.

– Простому рабочему везде плохо: что у канпании нашей работать, что у золотопромышленников… – жаловался иногда Яша Малый, когда оставался с зятем Прокопием с глазу на глаз. – На что Мыльников, и тот вон как обул нас на обе ноги.

Прокопий по обыкновению молчал. Ему нравилась эта бродячая жизнь, если бы не заботила своя семья. Целые ночи он продумывал о жене Анне и своих ребятишках: что-то они там, как живут, как перебиваются?.. Иногда его брало такое горе, хоть петлю на шею, так в ту же пору. И зачем он ушел тогда с фабрики, – жил бы теперь в тепле, в сухе и без заботы. Но это раздумье разлеталось вместе с ночным сумраком… Разве один он так-то волком бродит по лесу?.. Тысячи рабочих бьются на промыслах, и у всех одно положенье. Стоило вообще мужику или бабе один раз попасть в промысловое колесо, как он сразу делался обреченным человеком.

– Ты, Оксюха, уж постарайся для нас-то, – шутили часто рабочие над своей молодайкой. – Родителю приспособила жилку, ну и нам какое-нибудь гнездышко укажи.

Окся была счастлива коротким бабьим счастьем и даже как будто похорошела. Не стало в ней прежней дикости, да и одевалась она теперь лучше, главным образом потому, чтобы не срамить мужа.

Матюшка часто с удивлением смотрел на нее и только качал своей кудрявой головой. Вот уж поистине от судьбы не уйдешь, – какие девки заглядывались на него, а женился на Оксе. Впрочем, на мужицкий промысловый аршин Окся была настоящая приисковая баба, лучше которой и не придумать: она обшивала всю артель, варила варево, да в придачу еще работала за мужика. И мужики любили ее, хоть и вышучивали при случае. Работящая баба, настоящая двужильная лошадь, да и здоровье такое, что мужику впору. Яша Малый и Прокопий даже ухаживали за Оксей, которая придавала их промысловому скитанью почти семейный характер, да кроме всего этого и человек-то свой. По вечерам около огонька шли такие хорошие домашние разговоры, центром которых всегда была Окся.

– Корову бы нам, Оксюха, – мечтал Яша. – Корму в лесу сколько угодно… Ловко бы?.. Водили бы ее за собой на прииск, как цыгане…

– И лучше бы не надо… лучше бы не надо… – соглашалась Окся авторитетным тоном настоящей бабы-хозяйки. – С молоком бы были, а то всухомятку надоело…

Окся с собой таскала целый ворох каких-то тряпиц и всю походную кухню. Мужики ругались, когда приходилось перетаскивать с прииска на прииск этот скарб, но зато на стоянках было все свое – и чашки, и ложки, и даже что-то вроде подушек. По праздникам Окся клала бесчисленные заплаты на обносившуюся промысловую одежду и в свою очередь ругала мужиков, не умевших иглы взять в руки. А главное, Окся умела починивать обувь и одним этим ремеслом смело могла бы существовать на промыслах, где обувь – самое дорогое для рабочего, вынужденного работать в грязи и по колена в воде. Все другие рабочие завидовали талантам Окси и не могли ею нахвалиться, так что Матюшка только удивлялся, какой клад, а не баба ему досталась.

– Одного нам теперь недостает, Оксюха, – шутили мужики, – разродись ты нам мальчонкой или

девчонкой… Вполне бы с хозяйством были.

Деньги Матюшки, как он ни крепился, уплывали да уплывали, потому что за все и про все приходилось расплачиваться за всю артель ему. Старательского своего заработка едва хватало на прокорм, а там постоянные прогулы, потому что Матюшке не сиделось подолгу на одном месте. Поработает артель неделю-другую на прииске, а его и потянет куда-нибудь в другое место, про которое наскажут с три короба. Очень уж много таких слухов ходило… Таким образом Матюшка присмотрел местечка три подходящих, которые можно было бы арендовать, но все еще не решался, на котором из них остановиться. В одном просили за прииск прямо сто рублей, в другом отдавали «из половины», то есть половину чистой прибыли хозяину, в третьем, – продавали прииск совсем. Денег у Матюшки оставалось всего рублей триста, и он боялся ими рискнуть. Одним из главных препятствий было еще и то, что в артели никого не было грамотных, а на своем прииске надо было и книги вести и бумагу прочитать.

Все эти сомнения разрешились совершенно неожиданно. Раз вечером появился нежданно-негаданно Петр Васильич. Он с собой привел лакея Ганьку, которому Карачунский отказал.

– Давно не видались, а как будто и не соскучились, – проговорил неприветливо Матюшка, не любивший хитрого мужика.

– Ах, Матюшка, разве мы чужие?.. – ответил Петр Васильич и даже ударил себя в грудь кулаком. – А я-то вас разыскивал по всем промыслам…

Петр Васильич принес с собой целый ворох всевозможных новостей: о том, как сменили Карачунского и отдали под суд, о Кожине, сидевшем в остроге, о Мыльникове, который сейчас ищет золото в огороде у Кожина, о Фене, выкинувшей ребенка, о новом главном управляющем Оникове, который грозится прикрыть Рублиху, о Ермошке, как он гонял в город к прокурору.

– Вот, Оксинька, какие дела на белом свете делаются, – заключил свои рассказы Петр Васильич, хлопая молодайку по плечу. – А ежели разобрать, так ты поумнее других протчих народов себя оказала… И ловкую штуку уколола!.. Ха-ха… У дедушки, у Родиона Потапыча, жилку прятала?.. У родителя стянешь да к дедушке?.. Никто и не подумает… Верно!.. Уж так-то ловко… Родитель-то и сейчас волосы на себе рвет. Ну, да ему все равно не пошла бы впрок и твоя жилка. Все по кабакам бы растащил…

К общему удивлению, Окся заступилась за отца и обругала Петра Васильича. Не его дело соваться в чужие дела. Знал бы свои весы, пока в тюрьму вместе с Кожиным не посадили. Хорошее ремесло тоже выискал.

– Ай да Окся, молодца!.. – хвалили ее рабочие, поднимая на смех смутившегося Петра Васильича. – Носи, не потеряй да другим не сказывай… Хорошенько его, Оксенька, оборотня!

– Ты чего, в самом-то деле, к бабе привязался, сера горючая? – накинулся Матюшка на гостя. – Иди своей дорогой, пока кости целы…

– Да вы, черти, белены объелись? – изумился Петр Васильич. – Я к вам, подлецам, с добром, а они на дыбы… На кого ощерились-то, галманы?.. А ты, Матюшка, не больно храпай… Будет богатого из себя показывать. Побогаче тебя найдутся… А что касаемо Окси, так к слову сказано. Право, черти… Озверели в лесу-то.

Мужики без малого не подрались, если бы не вступилась за Петра Васильича Окся.

– Будет вам вздорить-то!.. Чему обрадовались? Может, и в самом деле мужик-то с делом

пришел…

Во всей этой истории не принимал участия один Ганька, чувствовавший себя как дворовая собака, попавшая в волчью стаю. Загорелые и оборванные старатели походили на настоящих разбойников и почти не глядели на него. Петр Васильич несколько раз ободрял его, подмигивая своим единственным оком. Когда волнение улеглось, Петр Васильич отвел Матюшку в сторону и заговорил:

– Жаль мне вас, Матвей, что вы задарма по промыслам бродите… Ей-богу!.. А дело-то под носом… Мне все одно, а я так, жалеючи, говорю. У Кишкина пустует Сиротка-то: вот бы ее взять? Верно тебе говорю…

– Да ведь она пустая, Сиротка-то? – возражал Матюшка.

– Была пустая, когда Кишкин работал… А чем она хуже Богоданки?.. Одна Мутяшка-то, а Кишкин только чуть ковырнул. Да и тебе ближе знать это самое дело. Места нетронутого еще много осталось…

– Да ты-то о чем хлопочешь, кривой черт?..

– Ах, какой ты несообразный человек, Матюшка!.. Ничего-то ты не понимаешь… Будет золото на Сиротке, уж поверь мне. На Ягодном-то у Ястребова не лучше пески, а два пуда сдал в прошлом году.

– Ты вот куда метнул… Ну, это, брат, статья неподходящая. Мы своим горбом золото-то добываем… А за такие дела еще в Сибирь сошлют.

– А Ганька на что? Он грамотный и все разнесет по книгам… Мне уж надоело на Ястребова работать: он на моей шкуре выезжает. Будет, насосался… А Кишкин задарма отдает сейчас Сиротку, потому как она ему совсем не к рукам. Понял?.. Лучше всего в аренду взять. Платить ему двухгривенный с золотника. На оборот денег добудем, и все как по маслу пойдет. Уж я вот как теперь все это дело знаю: наскрозь его прошел. Вся Кедровская дача у меня как на ладонке…

Петр Васильич по пальцам начал вычислять, сколько получили бы они прибыли и как все это легко сделать, только был бы свой прииск, на который можно бы разнести золото в приисковую книгу. У Матюшки даже голова закружилась от этих разговоров, и он смотрел на змея-искусителя осовелыми глазами.

– Я тебе скажу пряменько, Матвей, что мы и Кедровскую дачу не тронем, ни одной порошины золота не возьмем… Будет с нас Балчуговского. Он, Оников-то, как поступил, и сейчас старателям плату сбавил… А ведь им тоже пить-есть надо. Ну, и несут мне… Раньше-то я на наличные покупал, а теперь и в долг верят. Только все-таки должен я все это золото травить Ястребову ни за грош… Понял? А самому мне брать прииск на себя тоже неподходящая статья, потому как слава-то уж про меня идет. Понял теперь, для чего мне тебя-то надо?

Матюшка колебался, почесывая в затылке. Тогда Петр Васильич проговорил совершенно другим тоном.

– Ну, видно, не сойдемся мы с тобой, Матвей… Не пеняй на меня, ежели другого верного человека найду.

Этот маневр произвел надлежащее действие. Матюшка и Петр Васильич ударили по рукам.

– Давно бы так… Только никому, смотри, ни гу-гу!..

– А я тебе скажу одно: ежели чуть что замечу – башку оторву.

– Да ты и сейчас это показывай, для видимости, будто мы с тобой вздорим. Такая же модель и у меня с Ястребовым налажена… И своя артель чтобы ничего не знала. Слово сказал – умер…

«Видимость» устроена была тут же, и Матюшка прогнал Петра Васильича вместе с Ганькой. Старатели надрывались от смеха, глядя, как Петр Васильич улепетывал с прииска.

Через несколько дней Матюшка отправился на Богоданку. Кишкин его встретил очень подозрительно, а когда зашла речь о Сиротке, сразу отмяк.

– Охота Оксины деньги закопать? – пошутил он. – Только для тебя, Матюха, потому как раньше вместе горе-то мыкали… Владей, Фаддей, кривой Натальей. Один уговор: чтобы этот кривой черт и носу близко не показывал… понимаешь?..

– Да ведь ты меня знаешь, Андрон Евстратыч, – клялся Матюшка, встряхивая головой. – Я ему ноги повыдергаю…

Сейчас же было заключено условие, и артель Матюшки переселилась на Сиротку через два дня. К ним присоединились лакей Ганька и бывший доводчик на золотопромывальной фабрике, Ераков. Народ так и бежал с компанейских работ: раз – всех тянуло на свой вольный хлеб, а второе – новый главный управляющий очень уж круто принялся заводить свои новые порядки.

– Все уйдут… – рассказывал Ераков. – Пусть чужестранных рабочих наймут. При Карачунском куда было лучше… С понятием был человек.

Ганька благоговел перед Карачунским и уверял всех, что Оников только временно, а потом «опять Степан Романыч наступит». Такого другого человека и не сыскать.

На Сиротке была выстроена новая изба на новом месте, где были поставлены новые работы. Артель точно ожила. Это была своя настоящая работа, – сами большие, сами маленькие. Пока содержание золота было не велико, но все-таки лучше, чем по чужим приискам шляться. Ганька вел приисковую книгу и сразу накинул на себя важность. Матюшка уже два раза уходил на Фотьянку для тайных переговоров с Петром Васильичем, который, по обыкновению, что-то «выкомуривал» и финтил.

Скоро все дело разъяснилось. Петр Васильич набрал у старателей в кредит золота фунтов восемь да прибавил своего около двух фунтов и хотел продать его за настоящую цену помимо Ястребова. Он давно задумал эту операцию, которая дала бы ему прибыли около двух тысяч. Но в городе все скупщики отказались покупать у него все золото, потому что не хотели ссориться с Ястребовым: у них рука руку мыла. Тогда Петр Васильич сунулся к Ермошке.

– Дурак ты, Петр Васильич, – вразумил его кабатчик. – Зазнамый ты ястребовский скупщик, кто же у тебя будет покупать… Ступай лучше с повинной к Никите Яковличу, может, и смилуется…

Раздумал Петр Васильич. Ежели на Сиротку записать, так надо и время выждать и с Матюшкой поделиться. Думал-думал и решил повести дело с Ястребовым начистоту.

– Это не на твои деньги куплено золото-то, так уж ты настоящую цену дай, – торговал вперед Петр Васильич.

– Ладно, разговаривай… По четыре с полтиной дам, – решил Ястребов.

Цена подходящая. Петр Васильич принес мешочек с золотом, передал Ястребову, а тот свесил его и уложил к себе в чемодан.

– Ну, а теперь прощай, – заговорил Ястребов. – Кто умнее Ястребова хочет быть, трех дней не проживет. А ты дурак…

– А деньги?!

Ястребов только засмеялся, погрозил револьвером и вытолкал Петра Васильича в шею из избы. Он не в первый раз проделывал такую штуку.

Результатом этого было то, что Ястребов был арестован в ту же ночь. Произведенным обыском было обнаружено не записанное в книге золото, а таковое считается по закону хищничеством. Это была месть Петра Васильича, который сделал донос. Впрочем, Ястребов судился уже несколько раз и отнесся довольно равнодушно к своему аресту.

– Пожалеете меня, подлецы! – заметил он собравшейся толпе, когда его под конвоем увозили с Фотьянки в город. – Благодетеля своего продали…

Второй крупной новостью было то, что Карачунский застрелился. Он сдал все дела Оникову, сжег какие-то бумаги и пустил пулю в висок. Феню он обеспечил раньше.

# Часть пятая

## I

Новый главный управляющий Балчуговскими золотыми промыслами явился той новой метлой, которая, по пословице, чисто метет. Он сразу и везде завел новые порядки, начиная со своей конторы. Его любимой фразой было:

– У меня – не у Степана Романыча… Да…

Да… Служащим было убавлено жалованье, а некоторым и совсем отказано в видах экономии. Уцелевшим на своих местах прибавилось работы. «Монморанси», конечно, остались по-прежнему: реформатор не был им страшен. На фабрике были увеличены рабочие часы, сбавлена плата ночной смене, усилен надзор и «сокращены» два коморника, карауливших старательские кучки золотоносного кварца. На Дернихе вводились тоже новые строгости, причем Оников особенно теснил конных рабочих. Но главное внимание обращено было на хищничество золота: Оников объявил непримиримую войну этому исконному промысловому злу и поклялся вырвать его с корнем во что бы то ни стало. Одним словом, новый управляющий налетел на промыслы весенней грозой и ломал с плеча все, что попадало под руку.

В первое время все были как будто ошеломлены. Что же, ежели такие порядки заведутся, так и житья на промыслах не будет. Конечно, промысловые люди не угодники, а все-таки и по человечеству рассудить надобно. Чаще и чаще рабочие вспоминали Карачунского и почесывали в затылках. Крепкий был человек, а умел где нужно и не видеть и не слышать. В кабаках обсуждался подробно каждый шаг Оникова, каждое его слово и наконец произнесен был приговор, выражавшийся одним словом:

– Чистоплюй!..

Кто придумал это слово, кто его сказал первый – осталось неизвестным, но оно было сказано, и все сразу почувствовали полное облегчение. Чистоплюй – и делу конец. Остальное было понятно, и все вздохнули свободно. Сказалась способность простого русского человека одним словом выразить целый строй понятий. Все строгости реформы нового главного управляющего были похоронены под этим словом, и больше никто не боялся его и никто не обращал внимания. Пусть его побалуется и наведет свою плевую чистоту, а там все образуется само собой. Люди-то останутся те же. Могли пострадать временно отдельные единицы, общее останется, то общее, которое складывалось, вырастало и копилось десятками лет под гнетом каторги, казенного времени и своего вольного волчьего труда. Объяснить все это понятными, простыми словами никто бы не сумел, а чувствовали все определенно и ясно, – это опять черта русского человека, который в массе, в артели, делается необыкновенно умен, догадлив и сообразителен.

Пока реформы нового управляющего не касались одной шахты Рублихи, где по-прежнему «руководствовал» один Родион Потапыч, и все с нетерпением ждали момента, когда встретятся старый штейгер и новый главный управляющий. Предположениям и догадкам не было конца. Все знали, что Оников «терпеть ненавидел» Рублиху и что он ее закроет, но все-таки интересно было, как все это случится и что будет с Родионом Потапычем. Старик не подавал никакого признака беспокойства или волнения и вел свою работу с прежним ожесточением, точно боялся за каждый новый день. Вассер-штольня была окончена как раз в день самоубийства Карачунского, и теперь рудная вода не поднималась насосами наверх, а отводилась в Балчуговку по новой штольне. Это дало возможность начать углубление за тридцатую сажень.

Встреча произошла рано утром, когда Родион Потапыч находился на дне шахты. Сверху ему подали сигнал. Старик понял, зачем его вызывают в неурочное время. Оников расхаживал по корпусу и с небрежным видом выслушивал какие-то объяснения подштейгера, ходившего за ним без шапки. Родион Потапыч, не торопясь, вылез из западни, снял шапку и остановился. Оников мельком взглянул на него, повернулся и прошел в его сторожку.

– Ну что, как дела? – спросил он, не глядя на старика.

– Ничего, можно хоть сейчас закрывать шахту, – спокойно ответил старик.

У Оникова выступили красные пятна на лице, но он сдержался и проговорил с деланной мягкостью:

– Мне нужно серьезно поговорить… Я не верю в эту шахту, но бросить сейчас дело, на которое затрачено больше ста тысяч, я не имею никакого права. Наконец, мы обязаны контрактом вести жильные работы… Во всяком случае я думаю расширить работы в этом пункте.

Родион Потапыч опустил голову. Он слишком хорошо понимал политику Оникова, свалившего вперед все неудачи на Карачунского и хотевшего воспользоваться только пенками с будущего золота. Из молодых да ранний выискался… У старика даже защемило при одной мысли о Степане Романыче, которого в числе других причин доконала и Рублиха. Эх, маленько бы обождать – все бы оправдалось. Как теперь видел Родион Потапыч своего старого начальника, когда он приехал за три дня и с улыбочкой сказал: «Ну, дедушка, мне три дня осталось жить – торопись!» В последний роковой день он приехал такой свежий, розовый и уже ничего не спросил, а глазами прочитал свой ответ на лице старого штейгера. Они вместе опустились в последний раз в шахту, обошли работы, и Карачунский похвалил штольни, прибавив: «Жаль только, что я не увижу, как она будет работать». Потом выкурил папиросу, вышел, а через полчаса его окровавленный труп лежал в конторке Родиона Потапыча на той самой лавке, на которой когда-то спала Окся. Вот это был человек, а не чистоплюй… Старик понимал, что

Оников расширением работ хочет купить его и косвенным путем загладить недавнюю ссору с ним, но это нисколько не тронуло его старого сердца, полного горячей преданности другому человеку.

– Ну, что же вы молчите? – спросил наконец Оников, обиженный равнодушием старого штейгера.

– Что же тут говорить, Александр Иванович: наше дело подневольное… Что прикажете, то и сделаем. Будьте спокойны: Рублиха себя вполне оправдает…

– Есть хорошие знаки?..

– Будут и знаки…

Одним словом, дело не склеилось, хотя непоколебимая уверенность старого штейгера повлияла на недоверчивого Оникова. А кто его знает, может все случиться, чем враг не шутит! Положим, этот Зыков и сумасшедший человек, но и жильное дело тоже сумасшедшее. Родион Потапыч проводил нового начальника до выхода из корпуса и долго стоял на пороге, провожая глазами знакомую пару раскормленных господских лошадей. И тот же кучер Агафон, а то, да не то… От постоянного пребывания под землей лицо Родиона Потапыча точно выцвело, и кожа сделалась матово-белой, точно корка церковной просвиры. Живыми остались одни глаза, упрямые, сердитые, умные… Он тяжело вздохнул и побрел в свою конторку необычно вялым шагом, точно его что придавило. Раньше он трепетал за судьбу Рублихи, а когда все устроилось само собой – его охватило какое-то обидное недовольство. К чему после поры-времени огород городить? Он даже с какой-то ненавистью посмотрел на отверстие шахты, откуда медленно поднималась железная тележка с «пустяком».

– «Нет, брат, я тебя достигну!.. – сердито думал Родион Потапыч, шагая в свою конторку. – Шалишь, не уйдешь».

Это враждебное чувство к собственному детищу проснулось в душе Родиона Потапыча в тот день, когда из конторки выносили холодный труп Карачунского. Жив бы был человек, если бы не продала проклятая Рублиха. Поэтому он вел теперь работы с каким-то ожесточением, точно разыскивал в земле своего заклятого врага. Нет, брат, не уйдешь…

Вообще старик чувствовал себя скверно, особенно когда оставался в своей конторке один. Перед ним неотвязно стояла вся одна и та же картина рокового дня, и он повторял ее про себя тысячи раз, вызывая в памяти мельчайшие подробности. Так он припомнил, что в это роковое утро на шахте зачем-то был Кишкин и что именно его противную скобленую рожу он увидел одной из первых, когда рабочие вносили еще теплый труп Карачунского на шахту. В переполохе это обстоятельство как-то выпало из памяти, и потом Родион Потапыч принужден был стороной навести справки у рабочих, что делал Кишкин в этот момент на шахте и не имел ли какого-нибудь разговора с Карачунским.

– Он, Кишкин-то, у котлов сидел, когда Степан Романыч приехал… – рассказывал кочегар. – Ну, Кишкин сидел уж дивно[6] времени… Сидит, лясы точит, а что к чему – не разберешь. Известный омморок! Ну, как увидел Степан Романыча, и даже как будто из лица выступил… А потом ушел куды-то, да и бежит: «Ох, беда… Степан Романыч порешил себя!..» Он ведь не впервой захаживает, Шишка: то спросит, другое. Все ему надо знать, чтобы у себя на Богоданке наладить. Одним словом, омморошной черт.

Все эти объяснения ничего не разъяснили, и Родион Потапыч смутно догадывался, что Шишка

караулил Карачунского для каких-то переговоров. Дело было гораздо проще. Кишкин действительно несколько раз «наведывался» на Рублиху, чтобы посмотреть кое-что для себя, но с Карачунским встречаться он совсем не желал, а когда случайно наткнулся на него, то постарался незаметно скрыться. Говоря проще, спрятался… Уходить ни с чем Кишкину не хотелось, и он решился выждать, когда черт унесет Карачунского. Выбравшись из главного корпуса, старик несколько времени бродил среди других построек. Управительская пара оставалась у него все время на глазах. Но, к удивлению Кишкина, Карачунский с шахты прошел не к лошадям, стоявшим у ворот ограды, а в противоположную сторону, прямо на него. «Вот черт несет…» – подумал Кишкин, пойманный врасплох. Он никак не ожидал такого оборота и стоял на месте, как попавшийся школьник. Карачунский прошел мимо него в двух шагах, и даже взглянул на него, но таким пустым, ничего не видевшим взглядом, что у Кишкина даже захолонуло на душе. Очевидно, он не узнал его и прошел дальше. Это заинтересовало Кишкина. Старик вскарабкался на свалку добытого из шахты свежего «пустяка» и долго следил за Карачунским, как тот вышел за ограду шахты, как постоял на одном месте, точно что-то раздумывая, а потом быстро зашагал в молодой лесок по направлению к жилке Мыльникова. В еловой заросли несколько раз мелькнула высокая фигура Карачунского, а потом глухо гукнул револьверный выстрел. Кишкин сразу понял все и бросился на шахту объявить о случившемся.

При самоубийце оказалась записка, нацарапанная карандашом в конторе Родиона Потапыча: «Умираю, потому что, во-первых, нужно же когда-нибудь умереть, а во-вторых, мой номер вышел в тираж… Уношу с собой сознание, что сознательно никому не сделал зла, а если и делал ошибки, то по присущей всякому человеку слабости. Друзей не имел, врагов прощаю». Первым прочел эту записку Кишкин, и у него затряслись руки; от этой записки пахнуло на него холодом смерти. Уезжая утром на шахту, Карачунский отправил Феню в город. Он вручил ей толстый пакет, который просил никому не показывать, а распечатать самой. В пакете были процентные бумаги и коротенькая записочка, в которой Карачунский оставлял Фене все свое наличное имущество, заключавшееся в этих бумагах. Феня плохо разбирала по письменному, и ей прочитал записку Мыльников, которого она встретила в городе.

– Табак дело… – решил Мыльников, крепко держа толстый пакет в своих корявых руках. – Записку-то ты покажи в полиции, а деньги-то не отдавай. Нет, лучше и записку не показывай, а отдай мне.

Феня полетела в Балчуговский завод, но там все уже было кончено. Пакет и записку она представила уряднику, производившему предварительное дознание. Денег оказалось больше шести тысяч. Мыльников все эти две недели каждый день приходил к Фене и ругался, зачем она отдала деньги.

– Пенцию табе оставил Степан-то Романыч, дуре, а ты уряднику…

– Отстань, сера горючая…

– Дело тебе говорят. Кабы мне такую уйму деньжищ, да я бы… Первое дело, сгреб бы их, как ястреб, и убежал, куда глаза глядят. С деньгами, брат, на все стороны скатертью дорога…

Изумлению Мыльникова не было границ, когда деньги через две недели были возвращены Фене, а «приобщена к делу» только одна записка. Но Феня и тут оказала себя круглой дурой: целый день ревела о записке.

– Мне дороже записка-то этих денег, – плакалась Феня. – Поминать бы стала по ней Степана Романыча.

Искреннее всех горевал о Карачунском старый Родион Потапыч, чувствовавший себя виноватым. Очень уж засосала Рублиха… Когда стихал дневной шум, стариковские мысли получали болезненную яркость, и он даже начинал креститься от этого навождения. Ох, много и хороших и худых людей он пережил, так что впору и самому помирать.

На Рублиху вечерами завертывали старички с Фотьянки и из Балчуговского завода, чтобы поговорить и посоветоваться с Родионом Потапычем, как и что. Без меры лютовал чистоплюй, особенно над старателями.

– Умякнет, – отвечал старый штейгер. – Не больно велик в перьях-то.

– Утихомирится?.. Дай бы Бог, кабы по твоим-то словам. Затеснил старателев вконец… Так и рвет, так и мечет.

– Утишится!

– Упыхается… Главная причина, что здря все делает. Конечно, вашего брата, хищников, не за что похвалить, а суди на волка – суди и по волку. Все пить-есть хотят, а добыча-то не велика. Удивительное это дело, как я погляжу. Жалились раньше, что работ нет, делянками притесняют, ну, открылась Кедровская дача – кажется, места невпроворот. Так? А все народ беднится, все в лохмотьях ходят…

– Погоди, Родион Потапыч, дай время, поправятся… На Фотьянке народ улучшается на глазах: там изба новая, там ворота, там лошадь… Конечно, много еще малодушия в народе, особливо когда дикая копейка навернется. Тоже ведь и к деньгам большую надо привычку иметь, а народ бедный, необычный, ну, осталось у него двадцать целковых – он и не знает, что с ними делать. Все равно, голодный: дай ему вволю поесть, он точно пьяный сделается. Так и с деньгами бывает… Вот купцы, кажется, уж привычны к деньгам, а тоже дуреют. Как-то Затыкин – он на Генералке прииск заявил – в неделю четыре фунта намыл золота и пошел чертить. Едет из города с деньгами, кучера всю дорогу хересом поит, из левольверта палит. Дня через три едва очувствовался… А уж где же старателю совладать, когда у него сроду четвертной бумажки в руках не бывало!

**II**

Баушка Лукерья в каких-нибудь два года так состарилась, что ее узнать было нельзя: поседела, сгорбилась и пожелтела, как осенний лист. Живыми остались одни глаза. И Петр Васильич тоже поседел от заботы и разных треволнений, сделался угрюмым и мало с кем разговаривал. Соседи говорили, что они состарились от денег, которые хлынули дуром. Петр Васильич начал было строить новую избу, но поставил сруб и махнул на него рукой. Его заела какая-то недомашняя дума. Пропадал он по неделям на промыслах, возвращался домой мрачный и непременно приставал к матери:

– Мамынька, а где у тебя деньги… а?.. Скажи, а то, неровен час, помрешь, мы и не найдем опосле тебя…

– Тьфу! Тоже и скажет, – ворчала старуха. – Прежде смерти не умрем… И какие такие мои деньги?..

– А вот те самые, какие Кишкину стравила?..

– Ничего я не знаю…

– Не отдаст он тебе, жила собачья. Вот попомни мое слово… Как он меня срамил-то восетта, мамынька: «Ты, грит, с уздой-то за чужим золотом не ходи…» Ведь это что же такое? Ястребов вон сидит в остроге так и меня в пристяжки к нему запречь можно эк-ту.

– А ты сколько фунтов Ястребову-то стравил? – язвила баушка Лукерья. – Ловко он тебя тогда обезживотил.

– Мамынька, не поминай… Нож это мне самое дело. Тяжеленько досталось мое-то золото Ястребову, да и мне не легче…

– Дураком ты себя оказал, и больше ничего… Пошутил с тобой тогда Ястребов-то, а ты и его и себя утопил.

– Медведь тоже с кобылой шутил, так одна грива осталась… Большому черту большая и яма, а вот ты Кишкину подражаешь для какой такой модели?.. Пусть только приедет, так я ему ноги повыдергаю. А денег он тебе не отдаст…

– Не твоя печаль… Ты сходи к Ястребову в острог, да и спроси про свои-то капиталы, а о моих деньгах и собаки не лают.

– Ах, мамынька…

– Два года ходил с уздой своей по промыслам, да сразу все и профукал… А еще мужик называешься! Не тебе, видно, мои-то деньги считать…

Эти ядовитые обидные разговоры повторялись при каждой встрече, причем ожесточение обеих сторон доходило до ругани, а раз баушка Лукерья бегала даже в волость жаловаться на непокорного сына. Волостные старички опять призвали Петра Васильича и сделали ему внушение.

– Ты смотри, кривой черт… Тогда на Ястребова лез собакой, а теперь мать донимаешь, изъедуга. Мы тебя выучим, как родителев почитать должон… Будет тебе богатого показывать!..

Петр Васильич сгоряча нагрубил старикам и попал в холодную… Он здесь только опомнился, что опять свалял дурака. Дело было совсем не в том, что он ссорился с матерью, – за это много-много поворчали бы старики. А ему теперь косвенно мстили за Ястребова… Вся Фотьянка знала, из-за кого попал в острог знаменитый скупщик, и кляла Петра Васильича на чем свет стоит, потому что в лице Ястребова все старатели лишились главного покупателя. Смелый был человек и принимал золото со всех сторон, а после него остались скупщики-мелкота: купят золотник и обжигаются. Одним словом, благодетель был Никита Яковлич, всех кормил… Общественное мнение было против Петра Васильича, который из-за своей глупости подвел всех. Зачем отдавал золото Ястребову дуром, кривая собака? Умеючи каждое дело надо делать… Теперь вся Фотьянка бедует из-за кривого черта. Посаженный в холодную, Петр Васильич понял, что попался, как кур во щи, и что старички его достигнут своим волостным средством. И действительно, старички охулки на руку не положили. Сначала выдержали в холодной три дня, а потом вынесли резолюцию:

– Ты в жилетке ноне щеголяешь, Петр Васильич, так мы тебе рукава наладим к жилетке-то…

Действительно, Петр Васильич незадолго до катастрофы с Ястребовым купил себе жилетку и щеголял в ней по всей Фотьянке, не обращая внимания на насмешки. Он сразу понял угрозу старичков и весь побелел от стыда и страха.

– Старички, есть ли на вас крест? – взмолился он. – Ежели пальцем тронете, так всю Фотьянку выжгу.

– А, так ты вот какие слова разговариваешь… Снимай-ка жилетку-то, мил-сердечный друг, а рукава мы тебе на обчественный счет приставим. Будешь родителев уважать…

Без дальних разговоров Петра Васильича высекли… Это было до того неожиданно, что несчастный превратился в дикого зверя: рычал, кусался, плакал и все-таки был высечен. Когда экзекуция кончилась, Петр Васильич не хотел подниматься с позорной скамьи и некоторое время лежал, как мертвый.

– Перестань дурака-то валять, а ступай да помирись с матерью, – посоветовали старички.

– Куды я теперь пойду? – застонал Петр Васильич.

– А уж это твое дело, милаш…

Петр Васильич сел, посмотрел на своих судей своим единственным оком и заскрежетал зубами от бессильной ярости. Что бы он теперь ни сделал, а бесчестья не поправить…

– Выжгу… зарежу… – бормотал он, сжимая кулаки. – Будете меня помнить, ироды…

– А ты с миром не ссорься, голова. Лучше бы выставил четвертную бутылочку старичкам да поблагодарил за науку.

Первой мыслью, когда Петр Васильич вышел из волости, было броситься в первую шахту, удавиться, – до того тошно ни душе. Теперь глаз показать никуда нельзя… Худая-то слава везде пробежит. Свои, фотьянские, проходу не дадут. Его взяло такое горе, стыд, отчаяние, что он присел на волостное крылечко и заплакал какими-то ребячьими слезами. Вся жизнь была погублена… Куда теперь идти?.. Что делать?.. А главное, он понимал, что все против него, и волостные старички только выполнили волю «мира». Прохожие останавливались, смотрели на него, качали головами и шли дальше. Несколько раз раздавалось проклятое слово «жилетка», которое приводило Петра Васильича в отчаяние: в нем вылилась тяжелая мужицкая ирония, пригвоздившая его именно этим ничего не значащим словом к позорному столбу. Потом Петр Васильич поднялся и, как говорили очевидцы, погрозил кулаком всей Фотьянке. Домой он не зашел, а его встретили старатели около Маяковой слани.

Вечером этого рокового дня у баушки Лукерьи сидел в гостях Кишкин и удушливо хихикал, потирая руки от удовольствия. Он узнал проездом о науке Петра Васильича и нарочно завернул к старухе.

– Давно бы тебе догадаться, баушка, – повторял Кишкин. – Шелковый будет… хе-хе!.. Ловко налетел с кривого-то глаза. В лучшем виде отполировали…

– А ты-то чему обрадовался? – напустилась на него старуха. – От чужого безвременья тебе лучше не будет…

– А не скупай чужого золота! Вперед наука… Теперь куда денется твой-то Петр Васильич?

– И то, слышь, грозится выжечь всю Фотьянку… Ох, и не рада я, что заварила кашу. Постращать думала, а оно вон что случилось… Жаль мне.

– Да ведь не за тебя его драли-то, а за Ястребова. Не беспокойся… Зуб на него грызли, ну, а он

подвернулся.

Старуха всплакнула с горя: ей именно теперь стало жаль Петра Васильича, когда Кишкин поднял его на смех. Большой мужик, теперь показаться на людях будет нельзя. Чтобы чем-нибудь досадить Кишкину, она пристала к нему с требованием своих денег.

– Отдай, Андрон Евстратыч… Покорыстовался ты моей простотой, пора и честь знать. Смертный час на носу…

– Тебя жалеючи не отдаю, глупая… У меня сохраннее твои деньги: лежат в железном сундуке за пятью замками. Да… А у тебя еще украдут, или сама потеряешь.

– Ты мне зубов не заговаривай, а подавай деньги.

– А где у тебя расписка?

– На совесть даваны…

– Ха-ха… Тоже и сказала: на совесть. Ступай-ка расскажи, никто тебе не поверит… Разве такие нынче времена?

Когда остервенившаяся старуха пристала с ножом к горлу, Кишкин достал бумажник, отсчитал свой долг и положил деньги на стол.

– Вот твои деньги, коли не понимаешь своей пользы…

– Да ведь я так… У тебя все хи-хи да ха-ха, а мне и полсмеха нет.

– Ко мне же придешь, поклонишься своими деньгами, да я-то не возьму… – бахвалился Кишкин. – Так будут у тебя лежать, а я тебе процент заплатил бы. Не пито, не едено огребала бы с меня денежки.

Баушка бережно взяла деньги, пересчитала их и унесла к себе в заднюю избу, а Кишкин сидел у стола и посмеивался. Когда старуха вернулась, он подал ей десятирублевую ассигнацию.

– Это твой процент, получай…

Руки у старухи дрожали, когда она брала несчитанные деньги, – ей казалось, что Кишкин смеется над ней, как над дурой.

– Бери, баушка, не поминай меня лихом… Найди другого такого-то дурака.

– Да ведь я так, Андрон Евстратыч… по бабьей своей глупости. Петр Васильич уж больно меня сомущал… Не отдаст, грит, тебе Кишкин денег!

– Ты ему отдай, так он тебе и спасибо не скажет, Петр-то Васильич, а теперь ему деньги-то в самый раз…

– Старая я стала… глупа…

– Ну, ладно, будет нам с тобой делиться. Посылай-ка помоложе себя, чтобы мне веселее было, а то нагнала тоску… Где Наташка?

– А куды ей деваться?.. Эй, Наташка… А ты вот что, Андрон Евстратыч, не балуй с ней:

девчонка еще не в разуме, а ты какие ей слова говоришь. У ней еще ребячье на уме, а у тебя седой волос… Не пригожее дело.

– А у меня характер веселый, баушка… Люблю с молоденькими пошутить.

– Шути с Марьей, коли такая охота напала…

– У Марьи свой шутник есть. Погоди, вот женюсь, возьму богатую купчиху в городе, тогда и остепенюсь.

– В годы еще не вошел жениться-то, – пошутила старуха. – А Наташку оставь: стыдливая она, не то, что Марья. Ты и то нынче наряжаешься в том роде, как жених… Форсить начал.

– Недавно на триста рублей всякого платья заказал, – хвастался Кишкин. – Не все оборвышем ходить… Вот часы золотые купил, потом перстень…

– Ох, мотыга, мотыга…

С Кишкиным действительно случилась большая перемена. Первое время своего богатства он ходил в своем старом рваном пальто и ни за что не хотел менять на новое. Знакомые даже стыдили его. А потом вдруг поехал в город и вернулся оттуда щеголем, во всем новом, и первым делом к баушке Лукерье.

– Сватать Наташку приехал, – шутил он. – Наташка, пойдешь за меня замуж? Одними пряниками кормить буду…

Наташка, живя на Фотьянке, выравнялась с изумительной быстротой, как растение, поставленное на окно. Она и выросла, и пополнела, и зарумянилась – совсем невеста. А глазами вся в Феню: такие же упрямо-ласковые и спокойно-покорные. Кишкина она терпеть не могла и пряталась от него. Она даже плакала, когда баушка посылала ее прислуживать Кишкину.

– Ну, недотрога-царевна, пойдешь за меня? – повторял Кишкин. – Лучше меня жениха не найдешь… Всего-то я поживу года три, а потом ты богатой вдовой останешься. Все деньги на тебя в духовной запишу… С деньгами-то потом любого да лучшего жениха выбирай.

Девушка только отрицательно качала головой и смотрела на жениха исподлобья. Впрочем, потом она стала смелее и даже потихоньку начала подсмеиваться над смешным стариком. Всего больше Кишкину нравилась наташкина коса, тяжелая да толстая. У крестьянских девок никогда таких кос не бывает. Кишкин часто любовался красавицей и начинал говорить глупости, совсем не гармонировавшие с его сединами. В сущности, он серьезно влюбился в эту дикарку и думал о ней день и ночь. Эта старческая запоздалая страсть делала его и смешным и жалким. Баушка Лукерья раньше других сметила, в чем дело, и по-своему эксплуатировала стариковское увлечение, подсылая Наташку за подарками. Только Кишкин не любил давать деньги, потому что знал, куда они пойдут, а привозил разные сласти, дешевенькие бусы, лежалого ситцу.

– Ты ей приданое сделай, – советовала старуха. – Сирота не сирота, а в том роде. Помрешь – поминать будет.

– Эх, баушка, баушка… Помереть все помрем, а лиха беда в том, что мысли-то у меня молодые. Пусть меня уважит Наташка, и приданое сделаю… Всего-то в гости ко мне на Богоданку приехать.

– Ишь чего захотел, старый пес… Да за такие слова я тебя и в дом к себе пущать не буду. Охальничать-то не пристало тебе…

– Шутки шучу…

Странные дела творились в дому у баушки Лукерьи. Наташкой она была довольна, но целый ряд недоразумений выходил из-за маленького Петруньки и отца, Яши Малого. Старуха видеть не могла ни того, ни другого, а Наташка убивалась по ним, как большая женщина. Дело кончилось тем, что она перетащила к себе Петруньку и в свободное время пестовала братишку где-нибудь в укромном уголке. Старуха выходила из себя и поедом ела Наташку. Она возненавидела ребенка какой-то слепой ненавистью и преследовала его на каждом шагу. Много слез пролила Наташка из-за этой ненависти и сама возненавидела старуху.

– Объедаете меня… – корила баушка каждым куском. – Не напасешься на вас!.. Жил бы Петрунька у дедушки: старик побогаче нас всех.

– Баушка, да ведь у дедушки и Анна с ребятишками и Татьяна тоже. А мне ничего не надо: только Петрунька бы со мной.

– А ты поразговаривай… Самоё кормят, так говори спасибо. Вон какую рожу наела на чужих-то хлебах…

Петрунька чувствовал себя очень скверно и целые дни прятался от сердитой баушки, как пойманный зверек. Он только и ждал того времени, когда Наташка укладывала его спать с собой. Наташка целый день летала по всему дому стрелой, так что ног под собой не слышала, а тут находила и ласковые слова, и сказку, и какие-то бабьи наговоры, только бы Петрунька не скучал.

– Большим мужиком будешь, тогда меня кормить станешь, – говорила Наташка. – Зубов у меня не будет, ходить я буду с костылем…

– Я старателем буду, как тятька… – говорил Петрунька.

Настоящим праздником для этих заброшенных детей были редкие появления отца. Яша Малый прямо не смел появиться, а тайком пробирался куда-нибудь в огород и здесь выжидал. Наташка точно чувствовала присутствие отца и птицей летела к нему. Тайн между ними не было, и Яша рассказывал про все свои дела, как Наташка про свои.

– Боюсь я, тятенька, этого старичонки Кишкина, – жаловалась Наташка. – Больно нехорошо глядит он… Уставится, инда совестно сделается.

– Наплюй на него, Наташка… Это он от денег озорничать стал. Погоди, вот мы с Тарасом обыщем золото… Мы сейчас у Кожина в огороде робим. Золото нашли… Вся Тайбола ума решилась, и все кержаки по своим огородам роются, а конторе это обидно. Оников-то штейгеров своих послал в Тайболу: наша, слышь, дача. Что греха у них, и не расхлебать… До драки дело доходило.

– Это все Тарас… – говорила серьезно Наташка. – Он везде смутьянит. В Тайболе-то и слыхом не слыхать, чтобы золотом занимались. Отстать бы и тебе, тятька, от Тараса, потому совсем он пропащий человек… Вон жену Татьяну дедушке на шею посадил с ребятишками, а сам шатуном шатается.

– И то брошу, – соглашался уныло Яша. – Только чуточку бы поправиться…

**III**

Петр Васильич прошел прямо на Сиротку. Там еще ничего не знали о его позоре, и он мог хоть отдохнуть, чтобы опомниться и очувствоваться. Он был своим человеком здесь, и никто не обращал внимания на его таинственные исчезновения и неожиданные появления. После истории с Ястребовым он вообще сделался рассеянным и разговаривал только с Матюшкой. Добравшись до прииска, Петр Васильич залег в землянку, да и не вылезал из нее целых два дня. Чего только он ни передумал, а выходило все скверно, как ни поверни. Ясно было только одно: на Фотьянке ему больше не жить. Мальчишки задразнят: драный! драный!.. И перед своими тоже совестно. Нужно было уходить, куда глаза глядят. Мало ли золотых промыслов на севере, на Южном Урале, в «оренбургских казаках» – везде с уздой можно походить. Эта мысль засела у него гвоздем, и Петр Васильич лежал и думал:

«Ах, и жаль только свое родное место бросать, насиженное…»

– Да ты что лежишь-то? – спросил наконец Матюшка. – Аль неможется?..

– Весь немогу… – глухо отвечал Петр Васильич.

О своих планах и намерениях он, конечно, не желал говорить никому, а всех меньше Матюшке.

На Сиротке догадывались, что с Петром Васильичем опять что-то вышло, и решили, что или он попался с краденым золотом, или его вздули старатели за провес. С такими-то делами все равно головы не сносить. Впрочем, Матюшке было не до мудреного гостя: дела на Сиротке шли хуже и хуже, а оксины деньги таяли в кармане, как снег…

Главной ошибкой было то, что Матюшка не довольствовался малым и затрачивал деньги на разведки. Ведь один раз найти золото-то, так думают все, а так же думал и Матюшка. Он сильно похудел от забот и неудач, а главное, от зависти: каких-нибудь десять верст податься по Мутяшке до Богоданки, а там золото так и валит. В хорошую погоду ясно можно было слышать свисток паровой машины, работавшей на Богоданке, и Матюшка каждый раз вздрагивал. Да, там богатство, а здесь разорение, нищета… Петр Васильич тогда подтолкнул взять Сиротку, теперь с ней и не расхлебаешься. Бывший лакей Ганька, «подводивший» приисковые книги, еще больше расстраивал Матюшку разными наговорами – там богатое золото объявилось, а в другом месте еще богаче, а в третьем уж прямо «фунтит», то есть со ста пудов песку дает по фунту золота. Положим такого дикого золота еще никто не видал, но чем нелепее слух, тем охотнее ему верят в таком азартном и рискованном деле, как промысловое.

– И чего ты привязался к Мутяшке, – наговаривал Ганька. – Вон по Свистунье, сказывают, какое золото, по Суходойке тоже… На одну смывку с вашгерда по десяти золотников собирают. Это на Свистунье, а на Суходойке опять самородки… Ледянка тоже в славу входит…

– Везде золота много, только домой не носят. Супротив Богоданки все протчие места наплевать… Тем и живут, что друг у дружки золото воруют.

Между прочим Петр Васильич заманил на Сиротку и тем, что здесь удобно было скупать всякое золото – и с Богоданки и компанейское. Но и это не выгорело, потому что Петр Васильич влетел в историю с Ястребовым и остался без гроша денег, а на скупку нужны наличные. До поры до времени Матюшка ничего не говорил Петру Васильичу, принимая во внимание его злоключение, а теперь хотел все выяснить, потому что денег оставалось совсем мало. Рассчитывать рабочих приходилось в обрез. Хорошо, что свой брат, – потерпят, если и «недостача» случится. Даже даром будут робить, ежели в пай принять. Все промысловые на одну колодку: ничего не жаль.

Выждав время, когда никого не было около избушки, Матюшка приступил к Петру Васильичу с серьезным разговором.

– Нету денег-то, Петр Васильич… – начал Матюшка издали.

– Ненастье перед вёдром бывает.

– Людей рассчитывать нечем. Кабы ты тогда не захвалился, так я ни в жисть бы не стал робить на Сиротке…

– За волосы тебя никто не тащил! Свои глаза были… Да ты что пристал-то ко мне, смола? Своего ума к чужой коже не пришьешь… Кабы у тебя ум… что я тебе наказывал-то, оболтусу? Сам знаешь, что мне на Богоданку дорога заказана…

Матюшка привык слышать, как ругается Петр Васильич, и не обратил никакого внимания на его слова, а только подсел ближе и рассказал подробно о своих подходах.

– Захаживал я не одинова на Богоданку-то, Петр Васильич… Заделье прикину, да и заверну. Ну, конечно, к Марье – тоже не чужая, значит, мне будет, тетка Оксе-то.

– Вся сила в Марье…

– Дура она, вот что надо сказать! Имела и силу над Кишкиным, да толку не хватило… Известно, баба-дура. Старичонка-то подсыпался к ней и так и этак, а она тут себя и оказала дурой вполне. Ну много ли старику нужно? Одно любопытство осталось, а вреда никакого… Так нет, Марья сейчас на дыбы: да у меня муж, да я в законе, а не какая-нибудь приисковая гулеванка.

– Да уж речистая баба: точно стреляет словами-то. Только и ты, Матюшка, дурак, ежели разобрать: Марья свое толмит, а ты ей свое. Этакому мужику да не обломать бабенки?.. Семеныч-то у машины ходит, а ты ходил бы около Марьи… Поломается для порядку, а потом вся чужая и сделается: известная бабья вера.

– Было и это… – сумрачно ответил Матюшка, а потом рассмеялся. – Моя-то Оксюха ведь учуяла, что я около Марьи обихаживаю, и тоже на дыбы. Да ведь какую прыть оказала: чуть-чуть не зашибла меня. Вот как расстервенилась, окаянная!.. Ну, я ее поучил малым делом, а она ночью-то на Богоданку как стрелит, да прямо к Семенычу… Тот на дыбы, Марью сейчас избил, а меня пообещал застрелить, как только я нос покажу на Богоданку.

– Ну, теперь твоя вся Марья, – решил Петр Васильич. – Тоже умеючи надо и баб учить. Марья-то со злости что хошь сделает.

– И то сделает… Подсылала уж ко мне, – тихо проговорил Матюшка, оглядываясь. – А только мне она, Марья-то, совсем не надобна, окромя того, чтобы вызнать, где ключи прячет Шишка… Каждый день, слышь, на новом месте. Потом Марья же сказывала мне, что он теперь зачастил больше к баушке Лукерье и Наташку сватает.

– Так, дурит… Комариное-то сало, разыгралось.

– Марья и говорит, что иначе нельзя, как через Наташку…

После короткой паузы Матюшка опять засмеялся и прибавил:

– Окся ужо до тебя доберется, Петр Васильич… Она и то обещает рассчитаться с тобой

мелкими. «Это, грит, он, кривой черт, настроил тебя». То-то дура… Я и боялся к тебе подойти все время: пожалуй, как раз вцепится… Ей бы только в башку попало. Тебя да Марью хочет руками задавить.

Дальше разговор пошел уже совсем шепотом. Матюшка сидел, опустив в раздумьи свою кудрявую голову, а Петр Васильич говорил:

– Чего ждать-то?.. Все одно пропадать… а старичонке много ли надо: двинул одинова, и не дыхнет…

Голова Матюшки сделала отрицательное движение, а его могучее громадное тело отодвинулось от змея-искусителя. Землянка почти зашевелилась. «Ну нет, брат, я на это не согласен», – без слов ответила голова Матюшки новым, еще более энергичным движением. Петр Васильич тяжело дышал. Он сейчас ненавидел этого дурака Матюшку всей душой. Так бы и ударил его по пустой башке чем попадя…

– Эй, кто жив человек в землянке? – послышался веселый голос.

Петр Васильич вздрогнул, узнав по голосу Мыльникова. Матюшка отскочил от него и сделал вид, что поправляет каменку. А Мыльников был не один: с ним рядом стоял Ганька.

– Здесь… – шептал Ганька, показывая головой на землянку. – Третий день пластом лежит.

Ганька только что узнал от Мыльникова пикантную новость и сгорал от нетерпения видеть своими глазами драного Петра Васильича. Это было жадное лакейское любопытство. Мыльников тоже был счастлив, что первым принес на Сиротку любопытную весточку.

– Кого там черт принес? – отозвался Матюшка с деланной грубостью.

– Так богоданных родителев принимают? – обиделся Мыльников, просовывая свою голову в дверь. – В гости пришел, зятек…

– Милости просим… Проходите почаще мимо-то, тестюшка…

Мыльников уставился на Петра Васильича, который лежал неподвижно на нарах.

– Чего ощерился, как свинья на мерзлую кочку? – предупредил его Петр Васильич с глухой злобой. – Я самый и есть… Ты ведь за тридцать верст прибежал, чтобы рассказать, как меня в волости драли. Ну, драли! Вот и гляди: я самый… Ты ведь за этим пришел?

Петр Васильич дико захохотал, а голова Мыльникова мгновенно скрылась. Матюшка торопливо вышел из землянки и накинулся на незваного гостя.

– Что тебе здесь понадобилось, Тарас? Уходи добром, пока цел…

– Мне бы Оксю повидать… – бормотал виновато Мыльников. – Больно я по ней соскучился… Сказывают, брюхатая она.

– Не твое дело… Проваливай. А ты, Ганька, тоже с ним можешь идти, коли глянется.

К общему удивлению, показался Петр Васильич и проговорил:

– Матюшка, не тронь, в сам деле, Тараса… Его причины тут нет. Так он, по своему малодушеству…

– Да я тебя-то жалеючи, Петр Васильич! – заговорил Мыльников, набираясь храбрости. – Какое такое полное право волостные старики имеют, напримерно, драть тебя?.. Да я их вот как распатроню… Прямо губернатору бумагу подать, а то в правительственный синод. Найдем дорогу, не беспокойся…

Эта болтовня не встретила никакого ответа. Матюшка упорно отворачивался от дорогого тестюшки, Ганька шмыгал глазами, подыскивая предлог, чтобы удрать, а Петр Васильич вызывающе смотрел на Мыльникова своим единственным оком, точно хотел его съесть.

– Что же, я и уйду, – решил вдруг Мыльников. – Нахлебался у зятя щей через забор шляпой… эх роденька!..

Он прошел на прииск и разыскал Оксю, которая действительно находилась в интересном положении. Она, видимо, обрадовалась отцу, чем и удивила и тронула его. Грядущее материнство сгладило прежнюю мужиковатость Окси, хотя красивей она не сделалась. Усадив отца на пустые вымостки, Окся расспрашивала про мать, про родных, а потом спокойно проговорила:

– Помру скоро, тятя…

– Перестань молоть!.. Это для первого разу страшно, а бабы живущи…

– Нет, помру… Кланяйся мамыньке. Так и скажи ей…

Петр Васильич и Матюшка ушли с Сиротки вместе и так шли до самой Богоданки. В виду самого прииска Петр Васильич остановился и тяжело вздохнул.

– Вот как поворачивает Кишкин, братец ты мой!.. Красота… Помирать не надо. А прежнего места и званья не осталось…

Промысловые волки долго любовались работавшим богатым прииском, как настоящие артисты. Эти громадные отвалы и свалка верховика и перемывок, правильные квадраты глубоких выемок, где добывался золотоносный песок, бутара, приводимая в движение паровой машиной, новенькая контора на взгорье, а там, в глубине, дымки старательских огней, кучи свежего хвороста и движущиеся тачки рабочих – все это было до того близкое, родное, кровное, что от немого восторга дух захватывало. Это настоящая работа, настоящее золото, недосягаемая мечта, высший идеал, до которого только в состоянии подняться промысловое воображение. Дух захватывает, глядя на такую работу, не то, что на Сиротке, где копнуто там, копнуто в другом месте, копнуто в третьем, а настоящего ничего.

Петр Васильич остался, а Матюшка пошел к конторе. Он шел медленно, развалистым мужицким шагом, приглядывая новые работы. Семеныч теперь у своей машины руководствует, а Марья управляется в конторе бабьим делом одна. Самое подходящее время, если бы еще старый черт не вернулся. Под новеньким навесом у самой конторы стоял новенький тарантас, в котором ездил Кишкин в город сдавать золото, рядом новенькие конюшни, новенький амбар – все с иголочки, все как только что облупленное яичко.

А Марья уже завидела гостя, и ее улыбающееся лицо мелькает в окне.

– Наше вам, Марья Родивоновна… Легко ли прыгаете?..

– Не до прыганья, Матюшка; извелась вконец.

– Какая такая причина случилась?

– По одном подлом человеке сохну… Я-то сохну, а ему, кудрявому, и горюшка мало.

– Тоже навяжется лихо…

Марья болтает, а сама смеется и глазами в Матюшку так упирается, что ему даже жутко делается. Впрочем, он встряхивает своими кудрями и подсаживается на завалинку, чтобы выкурить цигарку, а потом уж идет в Марьину горенку; Марья вдруг стихает, мешается и смотрит на Матюшку какими-то радостно-испуганными глазами. Какой он большой в этой горенке, – Семеныч перед ним цыпленок.

– Ну так как же, Марья Родивоновна?

– Да все то же, Матюшка… Давно не видались, а пришел – и сказать нечего. Я уж за упокой собиралась тебя поминать… Жена у тебя, сказывают, на тех порах, так об ней заботишься?..

– Экий у тебя язык, Марья…

Марья наклонилась, чтобы достать какое-то угощенье из-за лавки, как две сильных волосатых руки схватили ее и подняли, как перышко. Она только жалобно пискнула и замерла.

– Черт, отстань…

– Выходи ужо в лес… Выйдешь?..

– Да ты ошалел никак? Ступай к своей-то Оксе и спроси ее, куда мне приходить… Отпусти, медведь!

Марья плохо помнила, как ушел Матюшка. У нее сладко кружилась голова, дрожали ноги, опускались руки… Хотела плакать и смеяться, а тут еще свой бабий страх. Вот сейчас она честная мужняя жена, а выйдет в лес – и пропала… Вспомнив про объятия Матюшки, она сердито отплюнулась. Вот охальник! Потом Марья вдруг расплакалась. Присела к окну, облокотилась и залилась рекой. Семеныч, завернувший вечерком напиться чаю, нашел жену с заплаканным лицом.

– Ты это что? – спросил он участливо.

– Да так… голова болит… скучно.

Семеныч был добрый и обходительный муж. Никогда слова поперечного не скажет. Марье сделалось ужасно стыдно, и она чуть удержалась, чтобы не рассказать про охальство Матюшки. Но, взглянув на Семеныча и мысленно сравнивая его с могучим Матюшкой, она промолчала: зачем напрасно тревожить мужа? Полезет он на Матюшку с дракой, а Матюшка его одним пальцем раздавит. Сама виновата, ежели разобрать. Доигралась… Нет, вперед этого уж не будет. «Выходи в лес», говорит. Тоже нашел дуру! Так и побежала, как собачка… Да как он смеет, вахлак, такие речи говорить?..

До самого вечера Марья проходила в каком-то тумане, и все ее злость разбирала сильнее. То-то охальник: и место назначил – на росстани, где от дороги в Фотьянку отделяется тропа на Сиротку. Семеныч улегся спать рано, потому что за день у машины намаялся, да и встать утром на брезгу. Лежит Марья рядом с мужем, а мысли бегут по дороге в Фотьянку, к росстани.

«Поди, думает леший, что я его испугалась, – подумала она и улыбнулась. – Ах, дурак, дурак… Нет, я еще ему покажу, как мужнюю жену своими граблями царапать!.. Небо с овчинку покажется… Не на таковскую напал. Испугал… ха-ха!..»

Марья поднялась, прислушалась к тяжелому дыханию мужа и тихонько скользнула с постели. Накинув сарафан и старое пальтишко, она, как тень, вышла из горенки, постояла на крылечке, прислушалась и торопливо пошла к лесу.

**IV**

Раз вечером баушка Лукерья была до того удивлена, что даже не могла слова сказать, а только отмахивалась обеими руками, точно перед ней явилось привидение. Она только что вывернулась из передней избы в погребушку, пересчитала там утренний удой по кринкам, поднялась на крылечко и остановилась, как вкопанная; перед ней стоял Родион Потапыч.

– Да ты давно онемела, что ли? – сердито проговорил старик и, повернувшись, пошел в переднюю избу.

Наташка, завидевшая сердитого деда в окно, спряталась куда-то, как мышь. Да и сама баушка Лукерья трухнула: ничего худого не сделала, а страшно. «Пожалуй, за дочерей пришел отчитывать», – мелькнуло у ней в голове. По дороге она даже подумала, какой ответ дать. Родион Потапыч зашел в избу, помолился в передний угол и присел на лавку.

– Случай вышел к тебе… – заговорил старик, добывая из кармана окровавленный платок. – Вот погляди, старуха.

В платке лежали бережно завернутые четыре передних зуба. Баушка Лукерья «ужахнулась» бабьим делом, но ничего не могла понять.

– Где взял-то? – спросила она, чувствуя, что говорит совсем не то.

– Не украл, а свои собственные…

В подтверждение своих слов старик раскрыл рот и показал окровавленные десны. Теперь баушка ахнула уже от чистого сердца.

– Где это тебя угораздило-то?

– В шахте… Заложил четыре патрона, поджег фитиля: раз ударило, два ударило, три, а четвертого нет. Что такое, думаю, случилось?.. Выждал с минуту и пошел поглядеть. Фитиль-то догорел, почитай до самого патрона, да и заглох, ну, я добыл спичку, подпалил его, а он опять гаснет. Ну, я наклонился и начал раздувать, а тут ка-ак чебурахнет… Опомнился я уже наверху, куда меня замертво выволокли. Сам цел остался, а зубы повредило, сам их добыл…

– Ах, батюшки… да как это тебя угораздило-то?

– Вот и пришел… Нет ли у тебя какого средствия кровь унять да против опуха: щеку дует. К фершалу стыдно ехать, а вы, бабы, все знаете… Может, и зубы на старое место можно будет вставить?

– Нет, этого нельзя, а кровь уймем… Есть такая травка.

К особенностям Родиона Потапыча принадлежало и то, что он сам никогда не хворал и в

других не признавал болезней, считая их притворством, то есть такие болезни, как головная боль, лихоманка, горячка, «сердце схватило», «весь немогу» и т. д. Всякая болезнь в его глазах являлась только предлогом не работать. Из-за этого происходили часто трагикомические случаи. Еще при покойном Карачунском одному рабочему придавило в шахте ногу. Его отправили в больницу. Это до того возмутило старика, что он сейчас же заявился к Карачунскому с формальной жалобой:

– Это он нарочно, Степан Романыч.

– Как нарочно? Фельдшер говорит, что кости повреждены и, может быть, придется даже отнять ногу…

– Нарочно, Степан Романыч, ногу подставил, чтобы в больнице полежать, а потом пенсию будет клянчить… Известно, какой наш народ.

В восемьдесят лет у Родиона Потапыча сохранились все зубы до одного, и он теперь искренне удивлялся, как это могло случиться, что вышибло «диомидом» сразу четыре зуба. На лице не было ни одной царапины. Другого разнесло бы в крохи, а старик поплатился только передними зубами. «Все на счастливого», как говорили рабочие.

Старуха сбегала в заднюю избу, порылась в сундуках и натащила разного старушечьего снадобья: и коренья, и травы, и наговоренной соли, и еще какого-то мудреного зелья, завернутого в тряпочку. Родион Потапыч принимал все с какой-то детской покорностью, точно удивился самому себе, что дошел до такого ничтожества.

– А вот это к ночи прими, – наставительно повторяла старуха, – кровь разбивает… Хорошее пособие от бессонницы, али кто нехорошо задумываться начинает.

Родион Потапыч улыбнулся.

– И то меня за сумасшедшего принимают, – заговорил он, покачав головой. – Еще покойничек Степан Романыч так-то надумал… Для него-то я и был, пожалуй, сумасшедший с этой Рублихой, а для Оникова и за умного сойду. Одним словом, пустой колос кверху голову носит… Тошно смотреть-то.

– Все жалятся на него… – заметила баушка Лукерья. – Затеснил совсем старателей-то… Тоже ведь живые люди: пить-есть хотят…

– И старателей зря теснит и своего поведения не понимает.

Оглядевшись и понизив тон, старик прибавил:

– А у меня уж скоро Рублиха-то подастся… да. Легкое место сказать, два года около нее бьемся, и больших тысяч это самое дело стоит. Как подумаю, что при Оникове все дело оправдается, так даже жутко сделается. Не для его глупой головы удумана штука… Он-то теперь льнет ко мне, да мне-то его даром не надо.

Еще более понизив голос, старик прошептал на ухо баушке Лукерье:

– Приходил ведь ко мне Степан-то Романыч…

– С нами крестная сила!..

– Верно тебе говорю… Спустился я ночью в шахту, пошел посмотреть штольню и слышу, как он идет за мной. Уж я ли его шаги не знал!..

– А-ах, ба-атюшки… Да я бы на месте померла.

– Ну, раньше смерти не помрешь. Только не надо оборачиваться в таких делах… Ну, иду я, он за мной, повернул я в штрек, и он в штрек. В одном месте надо на четвереньках проползти, чтобы в рассечку выйти, – я прополз и слушаю. И он за мной ползет… Слышно, как по хрящу шуршит и как под ним хрящ-то осыпается. Ну, тут уж, признаться, и я струхнул. Главная причина, что без покаяния кончился Степан-то Романыч, ну, и бродит теперь…

– Почему же около шахты ему бродить?

– А почему он порешил себя около шахты?.. Неприкаянная кровь пролилась в землю.

– Ну, так что дальше-то было? – спрашивала баушка Лукерья, сгорая от любопытства. – Слушать-то страсти…

– Дальше-то вот и было… Повернулся я, а он из штрека-то и вылезает на меня.

– Батюшки!.. Угодники… Ой, смертынька!

– А я опять знаю, что двигаться нельзя в таких делах. Стою и не шевелюсь. Вылез он и прямо на меня… бледный такой… глаза опущены, будто что по земле ищет. Признаться тебе сказать, у меня по спине мурашки побежали, когда он мимо прошел совсем близко, чуть локтем не задел.

Родион Потапыч перевел дух. Баушка Лукерья вся дрожала со страху и даже перекрестилась несколько раз.

– Ну и бесстрашный ты человек, Родион Потапыч!

– Ты слушай дальше-то: он от меня, а я за ним… Страшновато, а я уж пошел на отчаянность: что будет. Завел он меня в одну рассечку да прямо в стену и ушел в забой. Теперь понимаешь?

– Ничего я не понимаю, голубчик. Обмерла, слушавши-то тебя…

– А я понял: он мне показал, где жила спряталась.

– А ведь и то… Ах, глупая я какая!..

– Ну, я тут на другой день и поставил работы, а мне по первому разу зубы и вышибло, потому как не совсем чистое дело-то…

– А что ты думаешь, ведь правильно!.. Надо бы попа позвать да отчитать хорошенько…

В этот момент под окнами загремел колокольчик, и остановилась взмыленная тройка. Баушка Лукерья даже вздрогнула, а потом проговорила:

– Погляди-ка, как наш Кишкин отличается… Прежде Ястребов так-то ездил, голубчик наш.

Родион Потапыч только нахмурился, но не двинулся с места. Старуха всполошилась: как бы еще чего не вышло. Кишкин вошел в избу совсем веселый. Он ехал с обеда от горного секретаря.

– Передохнуть завернул, баушка, – весело говорил он, не снимая картуза. – Да и лошадям надо подобрать мыло. Запоздниlся малым делом… Дорога лесная, пожалуй, засветло не доберусь до своей Богоданки.

– Здравствуй, Андрон Евстратыч… Разбогател, так и узнавать не хочешь, – заговорил Зыков, поднимаясь с лавки.

– Ах, Родион Потапыч! – обрадовался Кишкин. – А я-то и не узнал тебя. Давненько не видались… Когда в последний-то раз мы с тобой встретились? Ах, да, вот здесь же у следователя. Еще ты меня страмил…

– Мало страмил-то, Андрон Евстратыч, потому как по твоему малодушеству не так бы следовало…

– Правильно, Родион Потапыч, кабы знал да ведал, разе бы довел себя до этого, а теперь уже поздно… Голодный-то и архирей украдет.

– Претит, значит, совесть-то? Ах, Андрон Евстратыч, Андрон Евстратыч…

– От бедноты это приключилось, – объяснила баушка Лукерья, чтобы прекратить неприятный разговор. – Все мы так-то: в чужом рту кусок велик…

– Через тебя в землю-то ушел Степан Романыч, – наступал старый штейгер. – Истинно через тебя… Метил ты в других, а попал в него.

– Так уж случилось… – смущенно повторял Кишкин. – Разе я теперь рад этому?.. И то он, Степан-то Романыч, как-то привиделся мне во сне, так я напринялся страху. Панихиду отслужил по нем, так будто полегче стало…

Родион Потапыч и баушка Лукерья переглянулись, а потом старик проговорил:

– Старинные люди, Андрон Евстратыч, так сказывали: покойник у ворот не стоит, а свое возьмет… А между прочим, твое дело – тебе ближе знать.

Наступило неловкое молчание. Кишкин жалел, что не вовремя попал к баушке Лукерье, и тянул время отъезда, – пожалуй, подумают, что он бежит.

– Ты бы переночевал? – предлагала баушка Лукерья. – Куда, на ночь глядя, поедешь-то?

– А мне пора, в сам деле!.. – поднялся Кишкин. – Только-только успею засветло-то… Баушка, посылай поклончик любезному сынку Петру Васильичу. Он на Сиротке теперь околачивается… Шабаш, брат: и узду забыл и весы – все ремесло.

– Ох, и не говори, – застонала баушка Лукерья. – Домой-то и глаз не кажет. Не знаю, что уж теперь и будет.

– Ничего, обмякнет, дай время, – успокаивал Кишкин. – До свежих веников не забудет…

– А ты напрасно, баушка, острамила своего Петра Васильича, – вступился Родион Потапыч. – Поучить следовало, это верно, а только опять не на людях… В сам-то деле, мужику теперь ни взад ни вперед ходу нет. За рукомесло за его похвалить тоже нельзя, да ведь все вы тут ополоумели и последнего ума решились… Нет, не ладно. Хоть бы со мной посоветовались: вместе бы и поучили.

Когда Кишкин вышел за ворота, то увидел на завалинке Наташку, которая сидела здесь вместе с братишкой, – она выжидала, когда сердитый дедушка уйдет.

– Ты это что, птаха, по заугольям прячешься? – спрашивал Кишкин, усаживаясь в тарантас.

– Дедушки боюсь… – откровенно призналась Наташка, краснея детским румянцем.

– Ну, страшен сон, да милостив Бог… Поедем ко мне в гости!..

Когда лошади тронулись и дрогнули колокольчики под дугой, торопливо выскочила за ворота баушка Лукерья.

– Постой-ка, Андрон Евстратыч!.. – кричала она задыхавшимся голосом. – Возьми ужо деньги-то от меня…

– Ага… а где ты раньше-то была? Нет, теперь ты походи за мной, а мне твоих денег не надо…

Тарантас укатил, заливаясь колокольчиками, а баушка Лукерья осталась со своими деньгами, завязанными в старенький платок. Она постояла на месте, что-то пробормотала и, пошатываясь, побрела назад. Заметив Наташку, она ее обругала и дала тычка.

– Вот дармоеды навязались!.. – ворчала раздосадованная старуха. – Богадельня у меня, что ли?..

Родион Потапыч против обыкновения засиделся у баушки Лукерьи. Это даже удивило старуху: не таковский человек, чтобы задарма время проводить.

– И впрямь, надо полагать, с ума схожу, – печально проговорил старик, разглаживая бороду. – Никак даже не пойму, что к чему… Прежнее-то все понимаю, а нынешнее в ум не возьму. Измотыжился народ вконец…

– Ох, и не говори!..

– Что мужики, что бабы – все точно очумелые ходят. Недалеко ходить, хоть тебя взять, баушка. Обжаднела и ты на старости лет… От жадности и с сыном вздорила, а теперь оба плакать будете. И все так-то… Раздумаешься этак-то, и сделается тошно… Ушел бы, куда глаза глядят, только бы не видать и не слыхать про ваши-то художества.

Баушка Лукерья угнетенно молчала. В лице Родиона Потапыча перед ней встал позабытый старый мир, где все было так строго, ясно и просто и где баба чувствовала себя только бабой. Сказалась старая «расейка», несшая на своих бабьих плечах всяческую тяготу. Разве можно применить нонешнюю бабу, особенно промысловую? Их точно ветром дует в разные стороны. Настоящая беспастушная скотина… Не стало, главное, строгости никакой, а мужик измалодушествовался. Правильно говорит Родион-то Потапыч.

Старики разговорились про старину и на время забыли про настоящее, чреватое непонятными для них интересами, заботами и пакостями. Теперь только поняла баушка Лукерья, зачем приходил Родион Потапыч: тошно ему, а отвести душу не с кем.

Родион Потапыч ушел уже в сумерках. Ему не хотелось идти через Фотьянку при дневном свете, чтобы не встречаться с галдевшим у кабака народом. Фотьянка вечером заживала лихорадочной жизнью. С ближайших промыслов съезжались все рабочие, и около кабака была настоящая давка. Родион Потапыч обошел подальше проклятое место, гудевшее пьяными

голосами, звуками гармоний, песнями и ораньем, спустился к Балчуговке и только ступил на мост, как Ульянов кряж весь заалелся от зарева. Оглянувшись, он подумал, что горит кабак… Вечер был тихий, и пламя поднималось столбом.

– Да ведь это баушка Лукерья горит! – вскрикнул старик, бегом бросаясь назад.

Действительно, горел дом Петра Васильича, занявшийся с задней избы. Громадное пламя так и пожирало старую стройку из кондового леса, только треск стоял, точно кто зубами отдирал бревна. Вся Фотьянка была уже на месте действия. Крик, гвалт, суматоха и никакой помощи. У волостного правления стояли четыре бочки и пожарная машина, но бочки рассохлись, а у машины не могли найти кишки. Да и бесполезно было: слишком уж сильно занялся пожар, и все равно сгорит дотла весь дом.

– Сам поджег свой-то дом!.. – галдел народ, запрудивший улицу и мешавший работавшим на пожарище. – Недаром тогда грозился в волости выжечь всю Фотьянку. В огонь бы его, кривого пса!..

– Сказывают, девчонка его видела!.. Он с огородов подкрался и карасином облил заднюю-то избу.

Родион Потапыч никак не мог найти в толпе баушку Лукерью.

– Да она, надо полагать, того… – объяснил неизвестный мужик. – В самое пальмо попала. Бросилась, слышь, за деньгами, да и задохлась.

Старик в ужасе перекрестился.

**V**

На другой же день после пожара в Фотьянку приехала Марья. Она первым делом разыскала Наташку с Петрунькой, приютившихся у соседей. Дети обрадовались тетке после ночного переполоха, как радуются своему и близкому человеку только при таких обстоятельствах. Наташка даже расплакалась с радости.

– Тетя, родная, что только и было, – рассказывала она, припадая к Марье. – И рассказывать-то – так одна страсть…

– Дедушка-то зачем был?

– А так навернулся… До сумерек сидел и все с баушкой разговаривал. Я с Петрунькой на завалинке все сидела: боялась ему на глаза попасть. А тут Петрунька спать захотел… Я его в сенки потихоньку и свела. Укладываю, а в оконце – отдушинка у нас махонькая в стене проделана, – в оконце-то и вижу, как через огород человек крадется. И вижу, несет он в руках бурак берестяной и прямо к задней избе, да из бурака на стенку и плещет. Испугалась я, хотела крикнуть, а гляжу: это дядя Петр Васильич… ей-богу, тетя, он!..

– Уж это ты врешь, Наташка. Тебе со страху показалось… Да и как ты в сумерки могла разглядеть?.. Петр Васильич на прииске был в это время… Ну, потом-то что было?

– А потом я хотела позвать баушку, да побоялась. Ну, как дедушка ушел, я только к баушке, а она, как на меня зыкнет… Целый день она сердилась на меня за Петруньку. Ну, я со страху и замолчала. А тут баушка погнала в погреб… Выскочила я из погреба-то, а на дворе дым и огонь в задней избе… Я забежала в сенки, схватила Петруньку и не помню, как выволокла на улицу

сонного… А баушки нет… Я опять в сенки, а баушка на моих глазах в заднюю избу бросилась прямо в огонь. Она за сундуком это… Там ее и нашли, около сундука… Обгорела вся… ничего не узнать…

Наташка в заключение так разрыдалась, что Марье пришлось отваживаться с ней.

– Народ-то все Петра Васильича искал, – продолжала Наташка, – все хотели его в огонь бросить.

– А ты бы еще больше болтала, глупая!.. Все из-за тебя… Ежели будут спрашивать, так и говори, что никого не видала, а наболтала со страху.

– Да я видела…

– Молчи, дура!.. Из-за твоих-то слов ведь в Сибирь сошлют Петра Васильича. Теперь поняла?.. И спрашивать будут, говори одно: ничего не знаю.

Пожарище представляло собой страшную картину. За ночь точно языком слизнуло целых три дома. Торчали печные трубы да обгорелые столбы. Около места, где стояла задняя изба баушки Лукерьи, толкался народ. Там среди обгорелых бревен лежало обуглившееся, неузнаваемое «мертвое тело» самой баушки Лукерьи. Чья-то добрая рука прикрыла его белым половиком. От волости был наряжен сотский, который сторожил мертвое тело до приезда станового. От этой картины даже у Марьи сердце сжалось, особенно когда она узнала валявшиеся около баушки Лукерьи железные скобы от ее заветного сундука… Вероятно, старуха так и задохлась на своем сокровище. Народ усиленно галдел. Все ругали Петра Васильича. Марья попробовала было заступиться за него, но ее чуть не прибили.

– Мы его, пса, еще утихомирим!.. Его работа… Сам грозился в волости выжечь всю Фотьянку.

Вообще народ был взбудоражен. Погоревшие соседи еще больше разжигали общее озлобление. Ревели и голосили бабы, погоревшие мужики мрачно молчали, а общественное мнение продолжало свое дело.

– Надо его своим судом, кривого черта!.. А становой что поделает… Поджег, а руки-ноги не оставил. Удавить его мало, вот это какое дело!..

Таким образом Петр Васильич был объявлен вне закона. Даже не собирали улик, не допрашивали больше Наташки: дело было ясно, как день.

На пожарище Марья столкнулась носом к носу с Ермошкой, который нарочно пришел из Балчуговского завода, чтобы посмотреть на пожарище и на сгоревшую старуху…

– Приказала баушка Лукерья долго жить, – заметил он, здороваясь с Марьей. – Главная причина – без покаяния старушка окончание приняла. Весьма жаль… А промежду протчим, очень древняя старушка была, пора костям и на покой, кабы только по всей форме это самое дело вышло.

– Все под Богом ходим, Ермолай Семеныч… Кому уж где Господь кончину пошлет.

– Это точно-с. Все мы люди-человеки, Марья Родивоновна, и все мы помрем… Сказывают, старушка на сундучке так и сгорела? Ах, неправильно это вышло…

– Мало ли что зря болтают! Просто опахнуло старушку дымом, ну и обеспамятела… Много ли

старому человеку нужно! А про сундучок это зря болтают.

– Конечно, зря, а я только к слову. До свиданья, Марья Родивоновна… Поклон Андрону Евстратычу. Скоро в гости к нему приеду.

– Милости просим…

Ермошка отошел, но вернулся и, оглядываясь, проговорил:

– А моя-то Дарья пласт-пластом лежит… Не сегодня-завтра кончится. Уж так-то она рада этому самому…

Поймав улыбку Марьи, он смущенно прибавил:

– Вы не думайте, чтобы через мои руки она помирала… Пальцем не тронул. Прежде случалось, а теперь ни боже мой…

– Жениться будете?

– Как сорочины минуют, подумываю… Вот вы-то меня не дождались, Марья Родивоновна!..

– Сватайте Наташку: она лицом-то вся в Феню. Я ее к себе на Богоданку увезу погостить…

– А ведь оно тово, действительно, Марья Родивоновна, статья подходящая… ей-богу!.. Так уж вы, тово, не оставьте нас своею милостью… Ужо подарочек привезу. Только вот Дарья бы померла, а там живой рукой все оборудуем. Федосья-то Родивоновна в город переехала… Я как-то ее встретил. Бледная такая стала да худенькая…

Марье пришлось прожить на Фотьянке дня три, но она все-таки не могла дождаться баушкиных похорон. Да надо было и Наташку поскорее к месту пристроить. На Богоданке-то она и всю голову прокормит и пользу еще принесет. Недоразумение вышло из-за Петруньки, но Марья вперед все предусмотрела. Ей было это даже на руку, потому что благодаря Петруньке из девчонки можно было веревки вить.

– Я твоего Петруньку тоже устрою, – говорила Марья, испытующе глядя на свою жертву. – Много ли парнишке надо. Покойница-баушка все взъедалась на него, а я так рада: пусть себе живет. Не чужие ведь…

Наташка точно оттаяла от этих слов, хотя раньше и не любила Марьи. Марья, не теряя времени, сейчас же увезла ее на прииск и улещала всю дорогу разными наговорами, как хороший конокрад. Нужно заметить, что приезжала она на Фотьянку настоящей барыней, на лошадях Кишкина и в его долгушке. Наташку дорогой взяло раздумье относительно надоедавшего ей старика, но Марья и тут сумела ее успокоить, а кому же верить, как не Марье. Когда она жила еще дома, так все под ее дудку плясали: и сама Устинья Марковна, и тетка Анна, и Феня.

– Старичок ежели пошутит, так не велика беда, – наговаривала Марья. – Это не то, что молодые парни зубы скалят…

Таким образом, Марья торжествовала. Она обещала привезти Наташку и привезла. Кишкин, по обыкновению, разыграл комедию: накинулся на Марью же и долго ворчал, что у него не богадельня и что всей Марьиной родни до Москвы не перевешать. Скоро этак-то ему придется и Тараса Мыльникова кормить и Петра Васильича. На Наташку он не обращал теперь никакого

внимания и даже как будто сердился. В этой комедии ничего не понимал один Семеныч и ужасно конфузился каждый раз, когда жена цеплялась зуб за зуб с хозяином.

– Очень уж ты свободно разговариваешь с ним, Маша, – усовещивал он жену. – От места еще мне откажет…

– Не откажет, старый черт!.. А откажет, так и без него местов добудем.

Устроив Наташку на прииске в своей горенке, Марья опять склалась и погнала на Фотьянку хоронить баушку Лукерью, а оттуда в Балчуговский завод проведать своих. Она уже слышала стороной, что отец не совсем тверд в разуме, и, того гляди, всем имуществом завладеет Анна. Она и то разжалобила отца своими ребятишками. Яша Малый, конечно, ничего не получит, да и Татьяна тоже, – разе удобрится мамынька Устинья Марковна да из своей части отвалит. Старушка тоже древняя и тоже не очень тверда разумом-то… А главная причина поездки заключалась в желании видеться с Матюшкой, который по уговору должен был ее подождать у Маяковой слани. Марья уезжала одна, в приисковой тележке, в каких ездили все старатели.

– Смотри, не пообидел бы кто-нибудь дорогой, – говорил Семеныч, провожая жену, – бродяги в лесу шляются…

– Ты вот за Наташкой-то не очень ухаживай, – огрызнулась Марья.

Она раньше боялась мужа, потом стыдилась, затем жалела и, наконец, возненавидела, потому что он упорно не хотел ничего замечать. И таким маленьким он ей казался… Вообще с Марьей творилось неладное: она ходила как в тумане, полная какой-то странной решимости.

– Наташка, будешь убираться в конторе, так пригляди, куда прячет Андрон Евстратыч ключ от железного сундука, – наказывала она перед отъездом. – Да возьми припрячь его при случае…

Наташка не поняла, для чего нужно было прятать ключ. Марья окончательно обозлилась и объяснила:

– Надоел он мне, как горькая редька… Пусть поищет, старая крыса. За тебя с Петрунькой поедом съел. Положи ключик-то на полочку под образа. Поняла?

Наташка теперь поняла и даже ухмыльнулась. Ей понравилась мысль испугать противного старичонку, который опять начал поглядывать на нее маслеными глазами.

Семеныч «ходил у парового котла» в ночь. День он спал, а с вечера отправлялся к машине. Кстати сказать, эту ночную работу мужа придумала Марья, чтобы Семеныч не мешал ей пользоваться жизнью. Она сама просила Кишкина поставить мужа в ночь.

– Играешь, Марьюшка, – посмеялся Кишкин. – Ну, ну, я ничего не вижу и ничего не знаю… Между мужем и женой Бог судья. Ты мне только тово…

– А вот я уеду в Балчуговский завод, так вы уж сами тут промышляйте. В конторе одна Наташка останется… Ну что, довольны теперь?..

– Озолочу, Марьюшка.

Около полуночи, когда Семеныч дремал у своей машины, прибежал кто-то и сказал, что в конторе неладно. Все бросились туда. Там произошло нечто ужасное… В самой конторе лежал зарезанный Кишкин. Он был в одном белье и, видимо, отчаянно защищался, потому что руки

были страшно изрезаны. В горенке Семеныча оказалось целых три трупа: в своей постели на полу лежал убитый Петрунька, – видимо, его убили сонного, Наташка лежала в самых дверях с размозженным черепом, а на крылечке сама Марья. Все было залито кровью. Цель убийства была ясна: касса оказалась пустой… У всех мелькнула одна и та же мысль при виде этой картины: некому этого сделать, кроме все того же Петра Васильича. Пошел мужик на отчаянность. Конечно, его работа. Кому же больше? Оставалось непонятным только одно, как Марья опять вернулась в свою горенку? Все видели, как она еще днем уехала на Фотьянку. Лошадь нашли на дороге, – она была привязана к дереву в стороне от дороги. Подозрение на Петра Васильича увеличилось еще тем, что его видели именно в этот день недалеко от прииска, а потом он вдруг точно в воду канул. Конечно, его дело… С Сиротки он ушел после обеда. Матюшка лежал больной у себя в землянке. Он защищал Петра Васильича. Мало ли по лесу бродяг шляется: подглядели и прикончили всех.

Приехали на Богоданку следователь, урядник, понятые. Произвели следствие, которое подтвердило общее подозрение: за кассой нашли шапку Петра Васильича, которую все признали. Очевидно, он забыл ее второпях. Следователь уже составил полный план, как совершилось преступление: Петр Васильич встретил Марью на дороге и под каким-то предлогом уговорил вернуться домой. Может быть, он ей сказал, что Кишкин и Наташка убиты, а когда она вернулась, он убил и ее, чтобы скрыть всякие следы. В сущности, это было очень неясное объяснение, но пока единственное.

– Когда следователь уехал уже домой, раскрылось новое обстоятельство, перевернувшее все: недалеко от Маяковой слани нашли убитого Петра Васильича. Очевидно, он был убит на дороге, а затем уже стащен в болото.

**VI**

Дела у компании шли тихо. Старательские работы сведены были на нет, и этим самым уничтожено было в корне хищничество, но вместе с тем компания лишилась и главной части своих доходов, которые получались раньше от старателей. Но Оников хотел быть последовательным и решился вести дело исключительно компанейскими работами. Во-первых, был расчет на Рублиху, а потом немного пониже Фотьянки отводили течение реки Балчуговки в другое русло, – нужно было взять россыпь, по которой протекала эта река, целиком. Уже второй год устраивалась громадная плотина, отводившая реку в новое русло. Целую зиму велась эта грандиозная работа, стоившая десятков тысяч. Когда вода была отведена, приступили к вскрыше верхнего пласта, покрывавшего россыпь. Вместе с наступлением весны должна была открыться и промывка этой россыпи, для чего поставлено было несколько бутар и две паровые машины. Новый прииск лежал немного пониже Ульянова кряжа, так что, по всем признакам, россыпь образовалась из разрушившихся жил, залегавших именно в этом кряже так, что золото зараз можно было взять и из россыпи и из коренного месторождения.

– Мы возьмем золото с хвоста и с головы, – повторял Оников, встречаясь с Родионом Потапычем.

– Что же, ваши бы слова да Богу в уши, – уклончиво отвечал старик, окончательно возненавидевший Оникова.

Положение Фотьянки было отчаянное. Кедровское золото кое-кого поманило, кое-кого даже помазало по губам, но в общем масса бедствовала хуже прежнего, потому что кончились старательские работы собственно в Балчуговской даче. Эти работы давали крохи, но эти крохи и были дороги, потому что приходились главным образом на голодное зимнее время. Нерасчетливый промысловый рабочий не умел сберегать на черный день, а добытые на

приисках гроши пели петухами. Отдельные случаи более или менее случайного обогащения совершенно терялись в общей массе рабочей бедности.

Уничтожение старательских работ в компанейской даче отразилось прежде всего на податях. Недоимки были и раньше, а тут они выросли до громадной суммы. Фотьянский старшина выбился из сил и ничего не мог поделать: хоть кожу сдирай. Наезжал несколько раз непременный член по крестьянским делам присутствия вместе с исправником и тоже ничего не могли поделать.

– Как же это так, – удивлялся член, – кругом золото, а вы не можете податей заплатить?..

– Точно так, вашескородие, – отвечал староста. – Кругом золото, а в середке бедность… Все от компании зависит: ежели б объявили старательские работы, оно все же передышка… Не настоящее дело, а из-за хлеба на воду робили.

Переговоры с Ониковым по этому поводу тоже ни к чему не повели. Он остался при своем мнении, ссылаясь на прямой закон, воспрещающий старательские работы. Конечно, здесь дело заключалось только в игре слов: старательские работы уставом о частной золотопромышленности действительно запрещены, но в виде временной меры разрешались работы «отрядные» или «золотничные», что в переводе значило то же самое.

– Я поступаю только по закону, – говорил Оников с упрямством безнадежно помешанного человека. – Нужно же было когда-нибудь вырвать зло с корнем…

– Да… гм… Но апостол Павел сказал, что «по нужде и закону применение бывает». Ваши реформы отзываются на казенных интересах.

– О, это напрасно! Дайте что угодно рабочим, они все пропьют… Что дала Кедровская дача?..

Дело в том, что собственно рабочим Кедровская дача дала только призрак настоящей работы, потому что здесь вместо одного хозяина, как у компании, были десятки, – только и разницы. Пока благодетелями являлись одни скупщики вроде Ястребова. Затем мелкие золотопромышленники могли работать только летом, а зимой прииски пустовали.

Недовольство рабочих новым главным управляющим пережило свою острую форму. Его даже не ругали, а глухое мужицкое недовольство росло и подступало, как выступившая вода из берегов.

– У меня разговор короткий: чуть что, сейчас рабочих из других мест кликну, – хвастался Оников. – Всякое дело необходимо доводить до конца.

Родион Потапыч сидел на своей Рублихе и ничего не хотел знать. Благодаря штольне углубление дошло уже до сорок шестой сажени. Шахта стоила громадных денег, но за нее поэтому так и держались все. Смертельная болезнь только может подтачивать организм с такой последовательностью, как эта шахта. Но Родион Потапыч один не терял веры в свое детище и боялся только одного, что компания не даст дальнейших ассигновок.

Раз ночью старик сидел в конторке и дремал. Его разбудил осторожный стук в окно.

– Кто там, крещеный?

– Можно зайти, дедушка, обогреться?..

– Дня-то тебе не стало? – удивился Родион Потапыч, разглядывая чье-то молодое лицо с окладистой русой бородкой. – Ступай в двери.

Через несколько минут в дверях конторки показался Матюшка, весь засыпанный снегом. Родион Потапыч с трудом признал его.

– Ты что это полуночничаешь? – сердито спросил его старик. – Мало ли тут шляющихся по лесу-то…

– Я с делом, дедушка… – рассеянно ответил Матюшка, перебирая шапку в руках. – Окся приказала долго жить…

– Кончилась?.. – участливо спросил старик, сразу изменившись. – Ах, сердяга… Омманула она меня тогда, ну, да Бог ее простит.

– Цельную неделю, дедушка, маялась и все никак разродиться не могла… На голос кричала цельную неделю, а в лесу никакого способия. Ах, дедушка, как она страждила… И тебя вспомнила. «Помру, грит, Матюшка, так ты сходи к дедушке на Рублиху и поблагодари, что узрел меня тогда».

– Вспомнила?

– И еще как, дедушка… А перед самым концом как будто стишала и поманила к себе, чтобы я около нее присел. Ну, я, значит, сел… Взяла она меня за руку, поглядела этак долго-долго на меня и заплакала. «Что ты, – говорю, – Окся: даст Бог, поправишься…» – «Я, грит, не о том, Матюшка. А тебя мне жаль…» Вон она какая была, Окся-то. Получше в десять раз другого умного понимала…

Постоял Матюшка у порога, рассказал еще раз о смерти Окси и начал прощаться. Это опять удивило Родиона Потапыча.

– Да ты чего это ночью-то хочешь идти? – проговорил старик. – Оставайся у нас на шахте переночевать.

Матюшка переминался с ноги на ногу, а потом вдруг у него по лицу посыпались быстрые молодые слезы.

– Тошно мне, дедушка… – шептал он задыхавшимся голосом. – Ах, как тошно…

Старик нахмурился: разве модель мужику реветь?..

Матюшка так и не остался ночевать. Он несколько раз нерешительно подходил к двери конторки, останавливался и опять отходил. Вообще с Матюшкой было неладно, как заметили все рабочие.

В другой раз он спустился в самую шахту и отыскал Родиона Потапыча в забое, где он закладывал динамитные патроны для взрыва.

– Эк ты напугал меня, – рассердился Родион Потапыч. – Ну чего опять?..

Матюшка молчал. Старик с удивлением посмотрел на него. Этакий молодчага-парень, ежели бы не дурь. Руки одни чего стоят. Вот бы в забой поставить!

Когда взрыв был произведен и Родион Потапыч взглянул на обвалившиеся куски камня, то

даже отшатнулся, точно от наваждения. Взрывом была обнажена прекрасная жила толщиной в полтора аршина, а в проржавевшем кварце золотыми слезами блестел драгоценный металл.

– Что же это такое? – изумлялся старик, глядя на Матюшку. – Сколь бились мы над ней, над жилой, а она вон когда обозначилась… На твои счастки, Матюшка, выпала она!..

Матюшка опять молчал, а у Родиона Потапыча блестели слезы на глазах. Это было его последнее золото… Выломав несколько кусков получше, старик велел забойщикам подняться наверх, а западню в шахту запер на замок собственноручно… Оно меньше греха.

Открытие жилы в Ульяновом кряже произвело настоящий переполох. Оников прискакал сломя голову и расцеловал Родиона Потапыча из щеки в щеку. Спустившись в шахту, он долго любовался жилой и вслух делал примерные вычисления. На худой конец оправдаются все произведенные расходы, да столько же получится дивиденда.

– Надо деньги-то считать, когда они в карман положены, – строго заметил Родион Потапыч.

– Ничего, сосчитаем и не в кармане…

Старик молча торжествовал свою победу: Рублиха не обманула, хотя и стоила страшно дорого. Да, он показал, какое золото в Ульяновом кряже старые штейгеры открывают… Вот только голубчик Степан Романыч не дожил.

Приехал любоваться Рублихой и сам горный секретарь Илья Федотыч. Спустился в шахту, отломил на память кусок кварцу с золотом и милостиво потрепал старого штейгера по плечу.

– Молодые-то хоть и поют петухами, а без нас, стариков, дело, видно, тоже не обойдется. Так, Родион Потапыч?

– Молодых-то гусей по осени считают, Илья Федотыч…

На Рублихе пока сделана была передышка. Работала одна паровая машина, да неотступно оставался на своем месте Родион Потапыч. Он, добившись цели, вдруг сделался грустным и задумчивым, точно что потерял. С ним теперь часто дежурил Матюшка, повадившийся на шахту неизвестно зачем. Раз они сидели вдвоем в конторке и молчали. Матюшка совершенно неожиданно рухнул своим громадным телом в ноги старику, так что тот даже отскочил.

– Дедушка, голубчик, тошно мне, а силы своей не хватает… Отвези ты меня к следователю в город. Мое дело…

– Да ты рехнулся, парень?.. Какое дело?..

– А на Богоданке?.. Я всех троих порешил. Петр Васильич подбил: ограбим да ограбим Кишкина. Ну, я и соблазнился и Марью настроил, чтобы ключ добыла, а она через Наташку… Я ее на дороге встретил, ну, вместе на прииск ночью и пришли. Петр Васильич в сторожах сперва стоял, а я в горницу к Марье прошел. Ключ-то Наташка у старика выкрала… Ну, я захожу в контору из Марьиной горницы, а Кишкин и проснись на грех… Как закричит… Все у меня в голове перемешалось… ударил я его и сразу заморил, а Петр Васильич уже около кассы с ключом и какие-то бумаги себе за пазуху сует… Потом Наташка очнулась; ну, мы всех прикончили разом, чтобы никакого следа. Деньги захватили – и в лес. Ночью около огонька принялись делить… Вижу, Петр Васильич обманывает меня, а потом, думаю, уйдет он с деньгами-то куды глаза глядят, а на меня все свалят… Ну, тут я и его прикончил. Все равно выдал бы… На него все улики были. Ночью же пришел я домой и сказался больным, а Окся-то

и догадалась, что неладное дело. Так ничего и не сказала, а только перед самой смертью говорила все… «За твой, грит, грех помираю!» И так мне стало тошно с того самого время: легче вот руки наложить на себя… места не найду…

Родион Потапыч молча его выслушал, молча взял веревку и молча связал ему крепко руки.

– Повремени малость… – сказал старик, не глядя на Матюшку. – Я тебя представлю куды следует.

Захватив с собой топор, Родион Потапыч спустился один в шахту. В последний раз он полюбовался открытой жилой, а потом поднялся к штольне. Здесь он прошел к выходу в Балчуговку и подрубил стойки, то же самое сделал в нескольких местах посредине и у самой шахты, где входила рудная вода. Земля быстро обсыпалась, преграждая путь стекавшей по штольне воде. Кончив эту работу, старик спокойно поднялся наверх и через полчаса вел Матюшку на Фотьянку, чтобы там передать его в руки правосудия.

В ту же ночь Рублиху залило водой, а старый штейгер сидел наверху и смеялся теперь уже сумасшедшим смехом.

Залитую водой Рублиху возобновить было, пожалуй, дороже, чем выбить новую шахту, и найденная старым штейгером золотоносная жила была снова похоронена в земле. Да и компании теперь было не до нее. Устроенная плотина на Балчуговке была размыта весенней водой, и все работы, подготовленные с громадными затратами, были покрыты речным илом. Эти две больших неудачи отозвались в промысловом бюджете очень сильно, так что представленные Ониковым сметы не получили утверждения, и компания прекратила всякие работы за их невыгодностью. И это в такой местности, где при правильном хозяйстве могло благодействовать стотысячное население и десяток таких компаний…

Родион Потапыч действительно помешался. Это было старческое слабоумие. Он бредил каторгой и ходил по Балчуговскому заводу в сопровождении палача Никитушки, отдавая грозные приказания. За этой парой всегда шла толпа ребятишек.

Феня ушла в Сибирь за партией арестантов, в которой отправляли Кожина: его присудили в каторжные работы. В той же партии ушел и Ястребов. Когда партия арестантов выступала из города, ей навстречу попалась похоронная процессия: в простом сосновом гробу везли из городской больницы Ермошкину жену Дарью, а за дрогами шагал сам Ермошка.

Матюшка повесился в тюрьме.

[1] Неравный брак. – Ред.

[2] Восетта – в прошлый раз.

[3] На золотник выйти – найти золотоносный пласт с содержанием золота в 100 пудах песку 1 золотник.

[4] Якшить – от татарского слова якши: да, поддакивать, дружить.

[5] Галиться – насмехаться.

[6] Дивно – порядочно, достаточно.

Спасибо, что читаете вместе с «Азбукой веры».

Другие материалы раздела – azbyka.ru/fiction

Поддержать портал – azbyka.ru/kak-pomoch